

А. И. Розанов

Записки сельского священника.

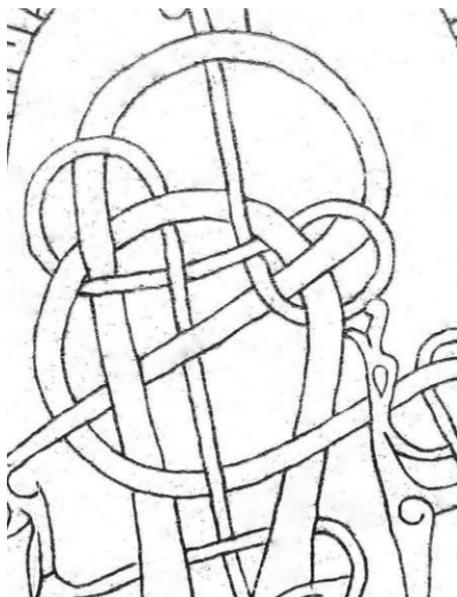
Быт и нужды современного
духовенства

материалы по истории позднеимперской России
том 05

Издательство Упыря Лихого
2022

Наше издательство названо именем **Упыря Лихого** (Эпир Неробкий, Öpir Ofeigr), первого русского переписчика книг, имя которого мы знаем.

Соратник нормано-русских князей, священник, переписчик книг и рунорезец, Упырь Лихой своим примером напоминает нам о том, как важно без робости распространять знания и красоту среди варварства и тьмы.



орнамент на камне U-104 в Уппланде, созданном Упырем Лихим

А. И. Розанов

Записки сельского священника
Быт и нужды современного духовенства

Издательство Упыря Лихого

2022

Второе издание (в современной орфографии и в новой верстке).

Книга полностью повторяет оригинальное издание (Санкт-Петербург: Издание исторического журнала «Русская старина», 1882), которое, однако, было выпущено без указания имени автора.

Все книги из серии Материалы по истории позднеимперской России предназначены для свободного распространения и размещены на сайте library6.com

library6@yandex.ru

I

Литература наша, в последнее время, стала нередко касаться духовенства. Много является повестей и лёгких рассказов, а есть статьи и с явными претензиями на серьёзность. Но, к сожалению, многое, что пишется о духовенстве, пишется односторонне, без знания дела, а иногда и с явным желанием унижить духовенство в глазах читающего мира.

В одном уважаемом и распространённом журнале о духовенстве однажды писалось так: «духовенство наше неразвито, тупо, глупо и даже безнравственно. Оно не удовлетворяет требованиям современного общества. Оно, своим умственным развитием, стоит гораздо ниже даже среднего уровня современного общества. Дети духовенства, видя грязное, отупелое и безнравственное состояние отцов, не хотят быть в этой тине и вылазят из неё во что бы то ни стало, подвергаясь всевозможным лишениям», и пр., и пр.

А так как известно, что многие из так называемых высших слоёв общества гораздо лучше знают каких-нибудь зулусов, чем своего русского мужичка, и лучше знают Париж, Неаполь и Ниццу, чем Москву, Новгород и Казань, то, читая такие отзывы о своём русском духовенстве, невольно подумают: «Да что же это за народ такой — это наше православное духовенство? Зачем терпят его? Почему не заменят его людьми умными, развитыми, свежими, чистыми от всякой плесени и грязи, нравственными, с благородным направлением? Людьми, имеющими сильное влияние на всё общество, пользующимися всеобщей любовью, людьми из другой, чистой сферы, из светского общества? Стоит ли возиться с этой изгарью, когда в запасе целые десятки миллионов сил свежих, могущих и желающих, по первому знаку, заменить это отупелое племя?

Что это за отупелое племя, которое, живя среди просвещённого, чистого, благородного, высоконравственного общества, при всех усилиях общества к облагорожению его, коснеет в своём невежестве и никакие меры не действуют на него?»

Явление это было бы и грустно и даже непонятно, если бы духовенство было действительно таким, какой даёт о нём отзыв наша литература. Читая такие отзывы о духовенстве, я думал, что духовная наша литература скажет своё правдивое слово. В особенности я надеялся, что она ответит на тот отзыв о духовенстве одного из уважаемых и наиболее распространённых журналов, из которого я сейчас сделал выписку; но ни в одном из духовных журналов ответа не было. А человеку, встречающему часто такие отзывы о духовенстве в светской литературе и не встречающему опровержений со стороны литературы духовной, естественно должно придти убеждение, что всё, что пишется о духовенстве в светской литературе, есть неоспоримая и неотразимая истина. А отсюда неизбежны презрение к духовенству и холодность к великому делу его служения.

Правда, в «Церковно-общественном Вестнике», весьма почтенном издании А.И.Поповицкого, очень часто помещаются небольшие статейки в защиту духовенства; но из них всё-таки нельзя составить полного понятия ни о жизни духовенства в самом себе, ни об отношениях его к обществу и ни об отношениях самого общества к духовенству.

На статью, из которой я делаю небольшую выдержку, я долго ждал, как я уже сказал, ответа от духовной литературы; не дождался и, наконец, забыл о ней сам. Но недавно, случайно, она попалась мне опять и мне вздумалось ответить на неё. При этом я нахожу не лишним сказать, что я живу не в столице, где иногда пишутся идеальные проекты для деревень

людьми, не бывшими дальше какого-нибудь Парголова или Кушелевки и совершенно не знающими быта и жизни народа. Я и не фельетонист, зачастую описывающий деревенскую жизнь, сам не бывши нигде, во весь свой век, дальше какой-нибудь Коломаги. Я родился в деревне, вырос в деревне, и живу в деревне священником более 30-ти лет. Кроме того, будучи сельским священником сам, я имею особенные случаи всматриваться в жизнь моих собратий, других священников. Имею нередкие, и частные и официальные, сношения с людьми светскими всех сословий; имею честь быть знакомым лично со многими лицами так называемого лучшего общества нашего многолюдного города; бывал в городах и кроме своего. Могу сказать, поэтому, что людей я видывал, и потому смотрю на жизнь, как мне кажется, так, какова она есть, без всяких предубеждений, и, следовательно, могу сказать правдивое слово. Защищать духовенство я совсем не имею надобности.

Хроникёр того же журнала, из которого я привёл выписку, говорит: «наше духовенство не удовлетворяет требованиям современного общества». Но при этом он не потрудился сказать: кого понимает он под словом: «общество» и «какие его требования», что сказать, однако ж, было бы необходимо. Ведь наша матушка Россия велика и общество — её население — слишком разнообразно и по званию, и по состоянию, и по образованию, и по характеру, и по образу жизни, и даже по роду и племени. Какую массу вы встретите тут разнообразнейших вкусов и характеров, талантов и бездарности, труда и лености, простоты и чванства, прямодушия и подлости, разума и нелепости, мотовства и скряжничества, доброты и злости, горя и радости, довольства и нищеты, прогресса и отсталости, добродетели и порока, благородства и цинизма!... Чему тут прикажете подражать и чьим вкусам прикажете «удовлетво-

рять»? Ведь всё это присуще «современному обществу»! По нашему мнению, дело было бы осмысленнее, если бы было сказано, что духовенство не удовлетворяет требованиям современного известного класса людей, положим — дворян, вместо того, чтобы говорить огулом: «общество». Дворяне-де и по образованию, и по нравственности, и по влиянию на остальных членов общества, и пр., и пр., выше всех других сословий. Оно всеми другими сословиями уважаемо и любимо; берите пример с него и старайтесь удовлетворять его требованиям. Но так ли это на самом деле?... Много лиц из дворян, пред которыми, за их благородство души, ум, государственную и общественную деятельность, невольно с благоговением преклоняешь свою голову; но ещё более и таких, которые не стоят не только подражания, но и никакого уважения, по их необразованности и непорядочности жизни. Значит, что дворяне, всем своим сословием, не могут служить идеалом совершенства и быть образцом для духовенства. Следовательно, духовенству и не следует стараться удовлетворять требованиям современного сословия дворян. Притом дворяне — не «общество», — они только небольшая крупница в нашем обширном государстве; за ними ещё много миллионов лиц других сословий. Притом, никто и никогда не требовал и не потребует, чтобы духовенство удовлетворяло требованиям только дворян.

Если дворяне не могут быть идеалом для духовенства, то может быть — чиновники? Опуская многое-многое из их быта, мы спросили бы г. хроникёра: случалось ли ему, как говорится, ходить по судам? Имел ли он дела в департаментах, окружных судах, полицейских управлениях, консисториях?... Если он не имел к ним лично соприкосновений и близко не знает их, то

мы скажем ему: от таких идеалов да сохранит Господь и ваших и наших!

Может быть — купцы? Но если взять газеты хоть только за последние три года, то и не перечесать одних только злостных банкротств, не говоря уже о других добродетелях.

Идеал, стало быть, и здесь плохой и подражать им — дело неподходящее.

Может быть, хроникёр представит нам интеллигенцию своего круга — литераторов, журналистов, фельетонистов и прочий мыслящий и пишущий люд? Но на это мы скажем ему: если только десятая доля того верна, что они друг о друге пишут и печатают во всеобщее сведение, то согласитесь, что хорош же этот круг и есть с чего брать образец!

После этого укажите мне на сословие, которое бы, всем своим составом, удовлетворяло всем требованиям всего остального общества, — во всех концах России. Укажите, что такое-то сословие дошло до такого состояния, что усовершенствований более уже не требует. Указать этого нельзя. Укажите хоть на одно лицо в свете, из времён минувших и настоящего, которым были бы довольны все. Не укажете и этого. Укажите, наконец, на два лица, которые были бы довольны друг другом во всём. Конечно, не укажете и этого. Если всё это невозможно, то как же возможно то, чтобы несколько десятков тысяч личностей, разнообразных и по образованию и по характеру, и по образу жизни, удовлетворяли требованиям миллионов людей, ещё более разнородных и разнообразнейших между собою и с бесчисленно разнообразнейшими их требованиями!

Между тем, среди духовенства, лиц высокообразованных и высоконравственных, по относительному количеству, несравненно больше, чем во всех других сословиях. Возьмите

петербургское духовенство и сравните с остальными гражданами столицы — низший класс оставьте даже в покое — и вы увидите, что перевес на стороне духовенства. Возьмите в любой губернии духовенство, дворян, чиновников и купцов и сравните, опять, конечно, по относительному их количеству. В каждой губернии вы непременно найдёте человек 700 священников и псаломщиков с полным образованием среднего учебного заведения, есть с образованием академическим, и из всего количества 40% окончивших полный курс средних и высших заведений есть непременно. Переберите, потом, всех служащих чиновников во всех переполненных ими присутственных местах и вы увидите много ли там окончивших полный курс гимназий. А на служащих и неслужащих дворян и купцов придётся, просто, рукой махнуть. Журналов и учёных исследований у нас, опять, разумеется, сравнительно с количеством лиц, несравненно больше. Учёные произведения наши не уступят любому произведению светскому. О нравственном же содержании всей духовной литературы и говорить нечего. У нас нет ни ругательств, ни перебранок, ни глупых и едва ли нравственных романов и повестей, ни унижающих человеческое достоинство пасквилей друг на друга. Точно также, не в упрёк, а в видах исторической правды, мы можем спросить: кем населены Сибирь, Сахалин? кто их каторжники? кем переполнены тюремные замки? чьи ведутся процессы в мировых учреждениях, окружных гражданских и уголовных судах? Участвовал ли хоть один, не только что священник, но даже хоть последний пономарь, в государственных преступлениях?... Этого никогда не было, и можем ручаться головой за всё православное духовенство России, что никогда этого не будет.

В статье г. Минцлова, помещённой в ноябрьской книжке «Юридического Вестника» за 1881 год находим следующее, не

лишённое интереса, при современных толках о духовенстве, сведение: «по уголовно-статистическим сведениям, изданным министерством юстиции, за 1873–77 гг. получается 36 осуждённых на 100.000 крестьян; между тем, другие сословия дают гораздо большие цифры; так дворяне осуждаются в числе 910 на 100.000 дворян; почетные граждане и купцы дают 58 осуждённых на 100.000; мещане — 110; отставные нижние чины и их семейства также 110; духовенство осуждается лишь в размере 1,71 (т. е. менее двух человек) на 100.000 духовных лиц и относится к крестьянам в этом отношении приблизительно как крестьяне к дворянам».

Я нимало не говорю, что духовенство свято. В консисториях наших часто производятся дела о беспорядочной жизни кого-либо из причта. Но в чем эта беспорядочность? Духовенство судится, почти исключительно, за нетрезвую жизнь. И это опять не потому, чтобы духовенство безобразничало по-купечески, или как, в былое время, провинциалы-дворяне, — нет, у нас преследуется и то малое, на что в других сословиях не обращается и внимания. Притом, если вникнуть в нашу сельскую жизнь и всю её обстановку, то нужно ещё удивляться, что пьянства так мало. Из того, что будет мною сказано ниже, я надеюсь, что читатель ясно увидит, что сельскому духовному лицу нужен твёрдый-твёрдый характер, чтоб не сделаться пьяницей. Поэтому духовенство должно бы было пользоваться большим уважением и большими симпатиями общества, нежели как это есть на самом деле.

После этого сам собою следует вопрос: почему же общество недовольно духовенством, беспрестанно печатно осуждает его и требует, чтобы оно «удовлетворяло всем требованиям его», не требуя этого от других сословий?

Дело просто: общество разделяется на известные группы: дворян, военных, чиновников, купцов, крестьян и пр. Каждая группа поставлена в известные, определённые рамки; того что усвоила себе известная группа, она уже не потребует от другой; например, никто не потребует, чтобы дворянин сам лично пахал, сеял и проч.; от мужика никто не потребует учёности, чтоб он ходил во фраке, лайковых перчатках и под. Группы эти так определились, что все они живут собственной, самостоятельной жизнью, с собственными достоинствами и недостатками, не прикасаясь одна к другой. Духовенство составляет тоже отдельную группу, но она стоит в середине этих разнороднейших групп. Не принадлежа ни к одной, она, в то же время, составляет со всеми ими одно. Миссия духовенства: соединить разнороднейшие части общества в одно целое, вселить общее друг к другу доверие, любовь и быть руководителем в любви к Богу и ближним. Поэтому оно ко всем группам должно соприкасаться в одинаковой степени и на все иметь сильное влияние. Так — по идее. Но на деле — в самой жизни — делается наоборот: оно само находится под влиянием общества. Все его жизненные силы, даже последний кусок хлеба, находятся в руках общества и общество производит на него такое сильное давление, что влияние на него духовенства остаётся едва заметным. Вследствие такого неестественного положения дела, каждый член общества считает духовенство зависимым от него, а себя — в праве не только желать, но даже требовать от духовенства всего, что присуще его характеру и направлению. Духовенство или, точнее, священника разрывают на части во все стороны: всякий требует своего, нимало не обращая внимание на то, кто он и чем он должен быть на самом деле. Поэтому все разнороднейшие члены общества возлагают на него такую массу обязанностей и требования эти

до того разнообразны и часто несовместимы одни с другими, и до того иногда нелепы и дики, что выполнить их нет никакой возможности. Эта масса требований, эта несовместимость их одних с другими и эта нелепость и дикость их — и бывают причиною таких бесцеремонных и беспощадных порицаний, каким подвергается духовенство. Духовенство если и имеет слабое влияние на общество, то оно проявляется только в низших слоях общества; но там, что считает себя хоть чем-нибудь выше мужика, и это слабое крайне сомнительно. Но за то тут претензий и требований от священника несравненно больше, и требования эти, большей частью, одно другого нелепее.

Для ясности сказанного мною укажу на жизнь священника, у которого большинство прихожан крестьяне, но где, тут же в приходе, есть и дворяне, и одни из них — вообще как господа сельские помещики; другие — дворяне, что-нибудь читающие; третьи — между которыми есть барыни старые и барыни молодые; есть люди учёные, чиновники, купцы, раскольники; где есть земская школа, врач и сельские власти и, как типун на языке, свой пьяный причт. Посмотрите на их требования от священника! После этого взгляните на жизнь священника за пределами его прихода: у него есть общее — государственное правительство, при котором, между прочим, как метеоры, блуждают ещё неопределившиеся различные статистические комитеты; у него есть непосредственный начальник — епископ, есть консистория. Взгляните и на их требования!!...

Я выставляю немногих, с кем соприкасается священник, но посмотрите на массу и на разнообразие их требований.

II

Крестьяне летом, большей частью, работают и в праздники. Но им желательно и в церкви помолиться, и работы не опустить. Поэтому они желают, чтобы обедни служились рано. Они любят священника, когда тот живёт точно так же, как живут они сами, — чтоб у священника был такой же простой дом, как и у мужика; если мужик может придти к нему во всякое время; если священник не прогневается, когда тот затопчет и загрязнит у него полы; час — два потолкует с ним об урожае, скотинке, недоимках, рекрутчине, и вместе с ним выпьет; если священник сам потом пойдёт к нему на крестины, свадьбу, поминки, и вместе с ним напьётся там пьян; наденет мужицкий кафтан и поедет вместе пахать, косить, в лес, и т. п. Про таких священников, обыкновенно, крестьяне говорят: «Наш поп — душа! Он настоящий наш брат — мужик: работает с нами вместе, даром что поп; к нему иди запросто за всякое время; он и сам выпьет и тебе поднесёт». Такие отзывы мне не раз приходилось слышать от крестьян о своих батюшках. Значит: чтобы удовлетворять «требованиям современного общества» — крестьян, **священник должен быть мужиком.**

Но представьте, что в этом же приходе живёт барин, да, на беду, ещё из «крупных». От священника он требует совсем уже не того, что требует мужик: до девяти часов барин, обыкновенно, выспаться не успевает; поэтому он, при каждом удобном случае, выразит непременно сожаление, что обедни служатся рано. Для него священник должен быть всегда чисто одет, а тем более его семейные. Он желал бы, чтоб у священника был хороший дом, с хорошей мебелировкой; чтоб у священника была всегда приличная закуска и сервировка; чтоб с мужиком он не только не имел коротких сношений, но чтоб и

близко не подпускал к себе этого, пропитанного дёгтем и овчиной, хамского отродья; чтобы все манеры в обращении были самые изысканные, барские, и сохрани Бог, если от попа хоть чуточку пахнет мужицким духом, словом: чтоб у священника всё было по-барски, — чтоб для его барского достоинства не было унижительно, когда он осчастливит священника своим посещением, — зайдёт к нему, после обедни, на стакан чаю и рюмку водки. Стало быть: чтобы удовлетворять «требованиям современного общества» — дворян, **священник должен быть барин**ом.

Если барин что-нибудь читает — хоть местную газетку, или из столичных газет¹ то не всегда высказывает мысли свои положительно, безапелляционно, но иногда соглашается с мнениями и других. Вести беседу с таким господином ещё сносно. Но все разговоры с господами помещиками, обыкновенно, ведутся на одну тему: о лености мужиков, стеснительном состоянии помещиков-землевладельцев, о потворстве крестьянам мировых судей и, к концу-концов, разговор сойдёт непременно на карты и собак. Карты и собаки для множества

1 Мне лично коротко знакомы: один землевладелец, имеющий до 5.000 дес. и до 250.000 руб. в банках, выписывает только местную газетку; другой, имеющий 1.000 дес. и до 200.000 руб. в банках, выписывает один московский журнал, и всегда за прошлый год — подешевле; третий в 30,000 руб. годового дохода, не выписывает и не читает ровно ничего; один занимавший видное место по выборам, выписывает местный листок; другой — занимает теперь это видное место и выписывает местный листок и карикатурный листок из столицы. И это — из «крупных». А о мелочи и говорить нечего. Значит, то, что я говорю, не есть намеренный, ложный отзыв о сельских помещиках.

помещиков составляют и теперь ещё душу их жизни, и снискать уважение и расположение к себе у таких господ можно только картами и собаками. Однажды мне пришлось ехать в одном вагоне с господами помещиками, ехавшими на охоту. Я сидел на диване в углу и на меня, конечно, никто не обратил внимания. Но в разговорах их я слышал, однажды, слово «поп». Это меня заинтересовало и мне вздумалось, от скуки, пошутить над ними и пощупать много ли у них мозгов. Я подсел к ним поближе. Господа толковали о собаках. Я вмешался в их разговор и постарался высказать им всё своё собаководение: я стал говорить им, что сетер имеет такие-то хорошие качества, а понтер такие-то; что напрасно они в эти места взяли сетеров, а что гораздо лучше было бы взять понтеров и проч. И знаете ли? Я не мог досыта налюбоваться с какою жадностью они слушали меня и как впивались в каждое моё слово! В каких-нибудь 20–30 минут мы сделались искренними друзьями. При искренних рукопожатиях на прощаньи, я заслужил от всех аттестацию умного и образованного священника, каких им не приводилось ещё встречать в жизни. А из этого и выходит, что священник, чтобы «удовлетворить требованиям современного общества» — его собеседников-дворян, из пастыря церкви **должен сделаться псарём.**

Старая барыня будет чтить своего приходского батюшку-священника выше святителя, если он зайдёт иногда к ней выпить чашечку кофейку с цикорием, поиграет с ней в гранпасьянс, посудит о лёгкости нравов нынешних молодых людей и будет иметь терпение слушать её обыденные сплетни. Стало быть: священник **должен быть салонницей.**

Молодая барыня будет занимать вас разговором о новом романе, который она только что прочла или читает; об опере и театре, где вы никогда не бываете; о несостоявшемся браке

лиц, которых вы не знаете; в сотый раз выслушаете о необыкновенных талантах её птенцов, и т. под. Правда, бывают разговоры иногда о церковных службах и о священниках, но какого рода? «Ах, — воскликнет иная барыня, — какой NN. славный и образованный священник! Как он хорошо служит, настоящий архиерей! И как он скоро служит! Да и к чему морить народ? Я всегда езжу к нему». Или: «Какой NN. славный священник! Он даже вовсе не похож на священника — настоящий светский! С ним всегда приятно провести время». Но если и вы, при этом скажете, для потехи, какое направление дано, по последнему журналу, шиньону — вздёрнут ли он на макушку, или откинут назад; какие в моде ныне шляпки, дипломаты, ротонды и проч., то вы, во мнении барыни, уж непременно будете и достойнейшим, и современным, и образованным священником. А из этого и следует: чтобы «удовлетворять требованиям современного общества» — барынь, священник **должен быть модисткой.**

Лиц, служащих в каком-нибудь присутственном месте, вы расположите к себе только тогда, когда вы выразите ваше сочувствие, что оклад жалованья слишком недостаточен по их трудам; когда вы знакомы хоть сколько-нибудь с делами их службы; знаете немного общие чиновнические интриги и городские новости; верите, вместе с ними, всяким слухам; зайдёте вечером к этим «вечным труженикам» выпить чаю с коньячком, а, пожалуй, тут же и попеть. Значит: священник **должен быть чиновником.**

Встречаешься иногда с человеком довольно много читающим. «Ах, вы читали?» — спрашивает он. — Нет, не читал ещё. — «Прочитайте непременно!» Или слышишь: «Какой NN. умный священник! Как он много читает!» Значит: хоть бы для

того, чтоб не клеймили дураком, священник **должен много читать.**

Есть семейства, для которых карты составляют жизнь. Если священник не играет, то он никогда не будет пользоваться расположением этого семейства. Правда, в глаза ему, из приличия, полебезят; но за то переберут его по косточке, лишь только он переступит порог их дома. Напротив, все милости изливаются на того, кто способен жертвовать своей честью и совестью и бывает неразлучным их партнёром. Стало быть: священник **должен быть картёжником.**

Купцы — статья иная: они религиознее многих других сословий, но при этом набожность их до того перепутана с барышничеством, что вероятно, большинство из них и сами не определяют себе, кто они — плуты, или люди благочестивые. Употребляя все способы и пользуясь всяким случаем к наживе, они любят читать книги религиозного содержания. Не особенно заботясь о чистоте своей нравственности, они строго соблюдают посты — по крайней мере в глазах других. Вздувши кого-нибудь при подряде или продаже, на сколько хватило мочи, — они ставят в церкви рублёвые свечи. Иной воротило пустит по миру целые десятки чужих сирот, но за то потом сольёт большой колокол, или построит высокую колокольню. От священника они требуют солидности, точности в церковной службе, строгого соблюдения постов, словом — святости. Но действительно купца расположите к себе только тогда, когда вы знаете хорошо биржевые колебания различных акций и облигаций; досконально знаете все торговые обороты по его операции; кольнёте, хоть слегка, его соперника и скажете, что у него дела идут не особенно бойко. Если же вы скажете, что такого-то купца или барина можно, легко, по их выражению,

объегорить начистую, то он готов вложить в вас всю свою душу. А следовательно: **священник должен быть торгашом.**

Люди высокопоставленные, или считающие себя высокопоставленными и богатыми, приглашают, иногда, к себе священника, особенно после домашних требоисправлений, на закуску и даже на обед. Но немного, вероятно, и городское духовенство помнит в своей жизни случаев, чтобы высокопоставленное лицо зашло к священнику в дом, так себе, попросту — из расположения к нему, хотя между городскими священниками и протоиереями есть люди, бесспорно, достойные полного уважения. Из этого естественное заключение, что на нас смотрят свысока, считают нас ничтожеством, бывать у нас считают для себя унижительным, а эти закуски и обеды, которыми удостаивают нас, есть не более, как подачки — из приличия, и они, по моему мнению, только унижают нас в глазах общества. А следовательно: **священник должен считать себя недостойным и нестоящим расположения и даже уважения лица, считающего себя высокопоставленным.**

Раскольники требуют, чтобы священник вёл жизнь совершенно уединённую. Чтобы табаку он не только не курил сам, но и не имел бы с табачниками никакого общения и не бывал бы в их обществе, дабы не вдыхать в себя этого зелья; чтобы церковные службы отправлялись «истово» — не торопясь, точно, — и пелось и читалось без пропусков всё — по уставу; чтобы священник читал книги исключительно духовного содержания и древние, «мирской» же книги не брал бы и в руки; чтобы одежда, пища, образ жизни и пр., и пр., всё было «по древнему благочестию». Как бы ни были нелепы требования раскольников, но не обращать внимания на их требования нельзя: раскольники живут среди народа: здесь их и дети, и

братья, и весь их род, и все они, более или менее, люди состоятельные и потому имеющие большое влияние на бедняков. Высасывая последние соки из беднейших и выставя себя единственными блюстителями «древнего благочестия», они наблюдают за каждым шагом священника и, потому, малейшее отступление, по их понятию, от «древнего благочестия» выставляется на показ народу и ставится в укор и священнику и самому православию. А из этого и следует, что священник **должен строго держаться «древнего благочестия», церковную службу отправлять продолжительно, не торопясь, — всё петь и вычитывать по уставу церкви.**

При известных болезнях доктор требует, чтобы больной ел в пост скоромную пищу; больной не решается и доктор требует подтверждения своему определению от священника. Многие православные желали бы, на сколько возможно, чаще бывать при богослужениях; но они не могут выносить продолжительности службы, а потому просят священника «служить поскорее». В сельских церквях, зимой, холод и сырость страшные. Не только бедные и плохо одетые крестьяне, но даже мы, хорошо одетые, не можем выносить продолжительной службы. У меня, например, не проходит ни одного Великого поста, чтобы во время говения не простудилось и не перехворало несколько человек. Даже мой собственный сын, в 1879 году, сделался жертвой простуды и помер после говения. Следовательно: священник **должен служить скоро и быть нарушителем устава церкви.**

В тех особенно местах, где земские врачи живут не между крестьянами, а в городах, крестьяне не видят их никогда и потому, в совершенной своей беспомощности, беспрестанно обращаются за советами к своему батюшке-священнику. Поэтому: священнику необходимо, на сколько это возможно,

изучать медицину и иметь маленькую аптечку, чтоб оказывать нуждающимся хоть какую-нибудь помощь.

Земцы, чтобы не выказаться перед обществом ничего не делающими для народа, ассигнуют небольшие суммы на народные школы. Училищные советы разрешают открытие школ; более деятельные члены совета по разу в год бывают и в самых школах своего уезда; по разу года в три бывают в них и инспекторы народных училищ; но ни одной школы никогда и нигде не отрывалось и не существовало без непосредственного и деятельного участия местного священника. Священнику приходится убедить крестьян изъявить желание открыть школу; он должен найти помещение, приискать средства на отопление, прислугу, учебные пособия и содержание учителя; убедить отцов и матерей отпускать детей своих в школы, убедить самых детей — ходить в них; сам должен учить и наблюдать за преподаванием других, словом: он **должен быть попечителем и учителем народной школы.**

Между крестьянами, как и между другими сословиями, очень нередки семейные неприятности: то сын нагрубит своей матери, то отец выгонит из дому своего сына, то пьяница-муж искалечит свою жену... Где искать защиты и помощи несчастным?! Единственное лицо — это местный священник. Он непременно **должен быть умиротворителем семейных неприятностей.**

В народе усиливаются пьянство, безнравственность, азартные игры, воровство; местные же власти всегда пьяны прежде других. Единственное лицо — это приходской священник, который есть и **должен быть наставником и блюстителем народной нравственности.**

Иногда, в приходе получается такое начальственное распоряжение, что крестьяне считают его притеснительным и

обременительным для себя; местным же своим властям они не всегда доверяют, и потому недоумевают, что им делать — исполнять его, или нет. И они идут к своему батюшке-священнику за беспристрастными и справедливым словом. Стало быть: **священник должен быть руководителем в делах общественных.**

Крестьяне крайне небрежны в обращении с огнём и не предпринимают никаких предосторожностей против пожаров. Сельские власти, из тех же крестьян, рождённые и воспитанные среди беззаботливого, в этом отношении, народа, относятся к этому делу так же небрежно, как и их подчинённые. Поэтому, единственное лицо в приходе, которое может что-нибудь сделать полезное, — это приходской священник. И действительно, многие священники приказывают, чтоб при каждом доме были постоянно наготове кадки с водой, осматривают пожарные инструменты, велят чинить старые и покупать новые, и по несколько раз в течение лета осматривают все дома по деревням и все пожарные сараи.

Во время падежа скота опять только один священник может повлиять, чтобы были предпринимаемы необходимые предосторожности и исполнялись предписанные врачом меры.

В настоящее время, в нашей губернии устроилось несколько ссудосберегательных касс по селениям; но в каждом таком учреждении главным деятелем — опять непременно священник. Поэтому: священник **есть блюститель благосостояния народа.**

Сколько в народе различных так называемых колдунов, знахарей, ворожей, лекарей и лекарок; сколько различных суеверий, вредных для религии, нравственности, благосостояния и здоровья!... **На священнике лежит обязанность**

истреблять суеверия народа и быть охранителем народного благополучия.

Крестьянин днём, особенно летом, занят работой и приглашать священника к больному днём ему нет времени; поэтому он едет за ним, большей частью, ночью, не обращая внимания ни на какую погоду. А то, что выше мужика по какому бы то ни было отношению, допекает священника, хотя и не тем, но ещё больше. Там не пошлют за вами в полночь, но за то продержат вас, ни за что, ни про что, 3–4 часа, и вытянут всю вашу душу всевозможными привередничаньями: привезут вас к себе в дом, например — крестить, а там окажется, что то кум ещё не пришёл, то кума не приехала, а вы сидите и ждите, хотя у вас дорога, может быть, каждая минута; но на это никто и не подумает обратить внимания; пять раз опустят термометр в купель; пять раз выразят опасения, чтобы вы не утопили ребёнка, чтоб не упали на него свечи, не помяли бы грудки, рёбер, не привить бы болезней от прежде крещённых младенцев в этой купели и... без конца. И священник **должен попусту тратить дорогое время, сидеть и слушать всякую глупость.**

Вы простудились, вам нужно только вылежаться и вспотеть. Но вы не можете употреблять никаких потогонных средств, потому что вы хорошо знаете, что за вами могут приехать из дальней деревни и вы должны рисковать тогда простудиться уже насмерть... Поэтому священник, **во всякое время дня и ночи и во всякую погоду, должен быть готовым для требоисправлений, не смотря на собственную болезнь.**

Требоеисправления по приходу, по-видимому, есть одна из самых лёгких обязанностей — работа чисто-механическая, но на самом деле, ни одна должность в свете, кроме разве докторской, не донимает, так сказать, человека, как требоисправле-

ния, именно чем? — своей **безвременностью**. Во всякой должности есть определённый час труда и определённый час отдыха. У священника этого определённого часа нет. Иногда 5–10 раз оторвут вас, пока вы напишете каких-нибудь поллиста; 20–30 раз оторвут, пока вы прочтёте какую-нибудь книгу. Вы не знаете покоя ни днём, ни ночью, ни в какое время года и ни в какую погоду. **При беспрестанных перерывах мысль совершенно теряется для всякой умственной работы и вы доходите, наконец, до апатии ко всякому умственному труду.**

Все лица, состоящие на государственной службе, пользуются каникулами — месячными и двухмесячными отпусками; но священнику таких каникул не полагается, — он должен быть на месте его службы неотлучно весь свой век.

Чиновник может числиться больным четыре месяца и получать полное своё жалование; священник же, с первого дня его болезни, должен отдать половину своего содержания исправляющему его должность. Стало быть: **священнику и хворать не полагается.**

Таким образом, священник, от начала своей жизни до гробовой доски есть полный раб общества; но общество не довольствуется этим; оно требует, вдобавок ко всему, ещё и совершенств чистоангельских. Общество знать не хочет, что священник есть такой же человек, вышедший из того же общества и живущий среди общества, где на каждом шагу он видит не только обыкновенные слабости, но и самые грубые пороки; что священник имеет те же жизненные потребности и, следовательно, те же слабости, и потому всякий мало-мало предосудительный поступок карает беспощадно. За священником наблюдают каждый его шаг: что он ест, что пьёт, сколько времени и даже на чём он спит, чем занимается, как живёт с

семейством, кто у него прислуга — словом, в его жизнь входят до мельчайших подробностей. И всё это служит темой к самым беспощадным пересудам. То, что делают все, общество никак не хочет допустить, чтоб это делал и священник. Например, очень многие из православных едят в постные дни скоромное; но попробуй есть, хоть с ними же только, священник, — Боже мой, сколько пойдёт пересудов! Как будто не тот же церковный закон лежит на каждом православном, как и на священнике. Нет, убеждены все: мне можно, а попу нельзя. Или, мне не очень давно пришлось быть в обществе дворян, где был один из предводителей дворянства. Предводитель начал говорить об одном господине: «О! у него отличный выезд, в доме прекрасная мебель, красавица экономка, ну, вообще, он живёт, как порядочный человек!» И это говорит предводитель дворянства — блюститель народной нравственности! Об экономке он говорит публично, нимало не стесняясь, хладнокровно, как будто он говорит, что у этого господина есть цилиндр-шляпа или енотовая шуба. Держать у себя красавицу он считает делом не только обыкновенным, но и необходимым, чтоб считаться порядочным человеком. Но впади в несчастье священник — овдовой и, Боже мой, сколько вдруг посыплется на него со всех сторон всевозможных сплетен!... Живи он хоть ангелом, но от гадостей и сплетен не уйти. Но если он ещё к тому наймёт кухарку, к своему горю, не совсем уroda и не старую, то, просто от сплетен зарывайся живым в землю.

Но что всего страннее, чего понять даже нельзя, — так это то, что от священника требуют и святости и, пожалуй, порока в одно и то же время. Приходит, например, священник, в пост в православный дом и ему предлагают закуску или обед вместе с собой и говорят: «Батюшка! просим покорно! Мы надеемся что вы старых предрассудков не держитесь, чтоб не кушать ныне

мяса. Вы человек образованный, вас нельзя сравнивать с другими». Если священник садится и ест, то ясно может заметить удовольствие и радушие на всех лицах, — священник делается душою общества. И тут же начинают рассказывать: «Вот у нас в Петербурге были крестины постом; батюшка церкви N. обедал вместе с нами и как-то кушал, что любо, и забыл, что пост». И это говорят самым саркастическим тоном, со всевозможными вымышленными прикрасами. И священник церкви N. делается предметом общего разговора и самых беспощадных пересудов, хотя всё это говорится, конечно, в самых приличных формах. «А в прошлом году, — говорит хозяин, — к нам в деревню приехал архиерей; повар наш сварил сперва две курицы, потом в бульон пустил рыбки и владыка, ничего, скушал. Уж конечно, он видел, что это не рыбий суп, а ел, потому что он умный человек, без старых предрассудков. Да и к чему?» Тут и пойдут перебивать все косточки архиереев. Священника приглашают играть в карты. Если он сядет, то, видимо, бывают все довольны. Но тут же переберут по суставчику какого-нибудь священника, с которым они до этого времени играли, конечно, с таким же удовольствием. И всё в этом роде в жизни священника. Нам кажется, что общество само не установило ещё положительного, определённого понятия о том, что ему нужно от священника. А из этого следует, что **священник должен быть в высшей степени строг к себе, ни на минуту не забывать, что он священник, и не увлекаться добродушием каждого.**

Вот требования прихожан от своего священника! Но он имеет сношения не с одними своими прихожанами, — с не меньшими требованиями к нему относятся и из-за пределов его прихода.

III

Всевозможные статистические комитеты за сведениями всех возможных родов непременно обращаются к священнику. Так, губернский статистический комитет ежегодно требует сведений о числе родившихся вообще, о родившихся по временам года, о числе незаконнорожденных, двойней, тройней, уродов; о брачующихся холостых с девицами, холостых со вдовами и пр.; умерших по возрастам и временам года.

Другие комитеты требуют сведений этнографических, топографических и метеорологических, — о направлении господствующих ветров, средней температуры зимы и лета, времени вскрытия рек, количества выпадающей влаги и пр.; священник должен, стало быть, иметь и барометры, и термометры, и дождемеры и пр.; наблюдать, вести журналы и сообщать сведения.

Нередко случается, что из столицы командируют какого-нибудь господина для собрания сведений по известной отрасли науки. Самому ему потрудиться лень, да и немного поделает он, не зная края, в который отправлен; поэтому он благоразумно и рассудит, что для него гораздо легче собрать нужные ему сведения чрез местных попов. Но и с попами связываться ему, великому барину, низко. Тогда он, не церемонясь много, высылает свою программу в консисторию и просит, чтобы духовенство доставило нужные ему сведения. Консистория, обыкновенно, без рассуждений: приказали, и делу конец. Есть у вас время, или нет, — кому до этого дело, — собирай сведения и посылай, потому что те, которые приказали, сами лично никогда этого не писали и умеют только приказывать.

А „Вольное Экономическое общество“ что делает! Я боюсь даже утомить читателя только перечнем одних тех сведений,

какие оно требует, — такая их масса. От священника оно требует:

Количество ревизских душ — мирских или окладных, наличных по последнему семейному списку; число рабочих 50–60 лет; в каком году кто отделился; сколько имеет усадебной земли, сколько имеет земли казённой или надельной, наследственной или четверной, купленной самим хозяином, артелью, общиной; сколько земли нанимает пахотной, луговой, огородной; сколько за какую платит; сколько удобряет земли и по сколько вывозит навозу на полевую землю; сколько продаёт земли, т. е. отдаёт в наймы; сеет ли лён, коноплю, табак и пр., сколько засеивает этими растениями и по сколько пудов на десятину высевает; сколько четвертей и какого хлеба продал и на какую сумму; сколько скота: рабочих лошадей и волов, сколько молодых и гулевых, рогатого скота, лошадей и коров, сколько овец и свиней, сколько держит скота на чужой земле и по какой цене платит за каждую штуку; сколько пало скота от чумы; украдено лошадей в 5 лет; сколько грамотных и учащихся; каким промыслом занимаются — отхожим или кустарным, сколько средним числом зарабатывается в год; сколько человек было из семьи в заработках — в своей деревне, на стороне, сколько времени пробыли в заработках; сколько членов семьи кабалилось и на какие сроки; сколько членов семьи нищенствовало; сколько платится на душу повинностей: выкупного платежа или оброчного за землю сбора, подушного или государственного земского сбора, земских сборов, волостных сборов, сельских сборов за пастьбу скота, сторожам на школу, пожарные инструменты и под., всего сколько со двора; сколько недоимок;

до какого времени хватило своего хлеба на продовольствие в прошлом году и проч., и проч., и проч.

Не правда ли, что масса сведений страшная! Прошу, при этом, иметь в виду, что эти сведения требуются по каждому дому отдельно. А у меня, например, в приходе до 600 домов. Где собрать все эти сведения? Нужно раз по пяти сходить: в волостное правление, к волостным и сельским писарям, старостам, сборщикам податей, объехать все деревни и обойти все дома. А тут: то того не застанешь дома, то другого, то третьего; в иной деревне и доме побываешь 4–5 раз и даже более. Сколько тут нужно употребить труда, сколько написать листов цифр и сколько потратить, может быть, самого дорогого времени! Как ни мечись, а в один месяц этой работы не сделаешь.

Предполагается, например, в губернии издать «Сборник материалов для описания губернии», в который должны войти исторические очерки городов, сёл, деревень, местностей, отдельные исторические эпизоды, биографии замечательных лиц, документы, мемуары; описания этнографические: описания народностей, расселения, быт, нравы, обычаи, одежда, занятия, верования, и пр., и пр., география, статистика, описания, библиография и пр.. За всеми сведениями обращаются — к священникам.

Устраивается, например, местный городской музей — священникам опять рассылаются циркуляры с подробными наказами.

Есть известное правило: «не делай ничего сам, что могут сделать за тебя другие». Господа статистики и держатся крепко этого правила: вали на попов — сделают; не то — опять в консисторию. А консистории суть такое учреждение, где, во

многих из них, квиетизм развит до крайних пределов. По второму требованию консистория предпишет «строжайше» и сделает выговор **«за обременение»** епархиального начальства излишней перепиской. Следовательно: священник **должен бросать все свои и служебные и домашние дела и заниматься статистикой, этнографией, историей, археологией, и проч., и проч.**

Всё это, однако же, мелочи: но есть дела покрупнее этих. В делах, например, государственных первой важности — в делах, где правительство мощную свою силу сознаёт как бы несостоятельною и нуждается в пособии другой силы, — оно обращается к содействию священников. Некогда, например, оспа свирепствовала ужасно и была страшным бичом для народа; народу гибло множество. Оспопрививание и теперь многими считается делом богопротивным и печатью антихриста, а в то время — и совсем делом даже страшным. **Священникам** были выданы поучения и наставления, которые они должны были читать в церквах и на базарах. Читал ли мой батюшка в церкви — я этого не помню, но помню хорошо, как он читал их на своём сельском базаре. Взберётся, бывало, батюшка, к какому-нибудь мужичку на телегу, да и начнёт махать бумагой во все стороны: «Эй, православные, эй, православные, — кричит, бывало, — идите сюда, слушайте что я читать буду!» На первый раз к нему сдвинулся чуть не весь базар; во второй раз подошло уж очень мало, а на третий и четвёртый — ни одной души. И батюшка перестал читать. «Воспа — наслание Божие, — говорили мужики батюшке, — об ней нечего вычитывать; а вот кабы ты вычитал, чтобы господа у нас дней не отымали, так за это мы тебе спасибо бы сказали».

Манифест об объявлении крымской войны читался **священниками** в церквах. Самая война — была война жестокая:

народу погибло множество, много легло там и отцов, и братьев, и мужей, и детей; новые рекрутские наборы были часты, налоги тяжелы; враги были сильны и многочисленны; лучшие наши военачальники пали, флот уничтожен, войска наши гасли десятками тысяч, — народ приуныл. Возбудить надежду на Бога, поднять сильно упавший дух народа и усилить ненависть к врагу — поручено было **священникам**. И они читали воззвания к народу в церквах, молились вместе с народом и употребляли все способы возбудить нравственные силы народа к перенесению тяготы, вызванной войной.

Настала великая реформа — освобождение крестьян от крепостной зависимости, — манифест 19-го февраля 1861 года читался в церквах **священниками**.

Заворошились славяне, потянулись в Сербию наши голые добровольцы, понадобились всевозможные пособия и им и тем, кого они защищать ушли, опять, — к **священникам**, и они собирали пособия.

Объявляется новая турецкая война, — манифест о ней опять читался в церквах **священниками**. Война и эта затянулась, — народ упал духом. Поддержать веру в промысл Божий, укрепить надежду на Его милосердие, — с полной любовью к царю и отечеству, **священники** молились вместе с народом.

Явилась нужда в добровольном флоте; потребовались пособия воинам, — **священники** и здесь были в числе первых жертвователей от себя лично и сборщиками жертвований по приходам.

В последнее время министерство народного просвещения пришло к убеждению, что «успехи народной школы, по самой задаче её, состоящей в утверждении религиозных и нравственных понятий среди народа, естественно обуславливаются сте-

пенью участия, какое в ведении её принимает наше православное духовенство». «Нет сомнения, говорится в министерском распоряжении, — что сословие сие, призываемое на поприще народного образования и долгом пастырства, и волей Монарха, и историческим значением православной церкви в судьбах отечественного просвещения, обязанного ей высокими заслугами, может, по своему умственному развитию и по близости к народу, при должном на него влиянии, оказать в сём отношении большие заслуги». А если и волей Монарха, и распоряжением министерства народного просвещения религиозно-нравственное воспитание народа вверяется **священникам**, и они доказали уже пользу, приносимую их трудами, и вновь призываются к этому тяжёлому труду, то, стало быть, **государство возлагает на них большие надежды и уверено, что они могут принести большие заслуги государству.**

Св. Синод запретил преподавание закона Божия светскими лицами в учебных заведениях и вверил преподавание его исключительно только священникам.

Наконец, в середине 1879 года «распространились лживые слухи и толки о предстоящем, будто бы, общем переделе земель». Министр внутренних дел издал циркуляр, где он объясняет, что «ни теперь, ни в последующее время, никаких дополнительных нарезок к крестьянским участкам не будет и быть не может». Дело это, кажется, чисто гражданское. От дележа имений уклонился и сам Господь (Лук. XII, 14). Для этого есть и губернаторы, и полиция, и все власти; но, однако же, правительство нашло необходимо нужным подкрепить это объявление авторитетом церкви и, конечно, при участии **священников**. Объявление министра читалось в церквях священниками. А это всё значит, что **представители и служите-**

ли церкви, пред правительством и народом, имеют великое значение в делах государственных первой важности.

IV

Не легко, как нам кажется, священнику выполнить и те «требования общества», какие нами указаны; но всё это ничто пред теми обязанностями его, какие лежат на нём — собственно как на священнике.

Кто такой священник, по учению слова Божия, и какие его обязанности не по «требованию современного общества», а по требованию того же слова Божия?

Священниками мы делаемся совсем не так, как чиновник из писца делается столоначальником. Между теми и другими большая разница, как в отношении их обязанностей, так и в самом определении на должность. Там дело просто: начальник черкнул два слова, и стал писец столоначальником, и сделался Ванюшка — Иваном Ивановичем. У него только немного выпрямится горб, да на вершок поднимется подбородок; прежде он **писал**, а теперь стал **подписывать**, — вот и вся перемена. У нас это не так; у нас дело это совсем не шуточное. У нас дело это совершается не в кабинете и не за карточным столом, а во св. храме. При поставлении во священника совершается особый обряд и особое таинство рукоположения. Готовящийся к рукоположению накануне ещё с вечера исповедуется и читает молитвы, положенные пред св. причащением. Утром читает молитвы опять и готовится к св. причащению. Сам епископ, имеющий рукоположить его, и вечером и утром читает молитвы и готовится к св. причащению. Утром, большею частью в праздник, епископ торжественно совершает литургию. В средине богослужения рукополагаемого торжественно, чрез царские врата, вводят в Святая-Святых — в св. алтарь. Здесь после известных обрядов, совершается таинство рукоположения: рукополагаемый становится пред престолом на колени,

епископ возлагает на него руки и призывает на него благодать Св. Духа, которая освятила бы рукополагаемого и дала ему силу и помощь к достойному прохождению великого его служения. Сам епископ молится о ниспослании благодати и громогласно призывает к молитве всех присутствующих во храме.

После этого, рукоположенный, по слову Божию, есть: **ангел Бога Вседержителя; ангел церквей; свет мира; сын земли; пастырь стада Христова; Споспешник Божий; архитектор здания Божия; друг жениха Христа; земледельец; жатель; воин; страж дому Господню.**

От него требуется, поэтому, чтобы сам он был: непорочен, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, целомудрен, честен, станнолюбив, любящий добро, справедлив, благочестив, воздержен, чадо имущь в послушании, свой дом добре правящъ, силен наставлять в здоровом учении и противящихся обличать, держался правды, веры, мира и любви, словом — он должен вести себя так, чтобы другие, видя его добрые дела, прославляли Отца, иже есть на небесах.

Ему вручается часть стада Христова и говорится: проповедуй слово, настой благовременно и безвременно, обличи, запрети, умоли со всяким долготерпением и учением. Стража дах ты дому... да слышиши слово от уст Моих и возвестиши им от Мене. Когда реку грешнику: смертью умреши, ты же не возвестиши ему, ниже увещаеши, да обратится от пути своего лукавого и жив будет: грешник убо погибнет во гресе своем, крове же его от руки твоя взыщу. Будь внимателен к себе самому и всему стаду, в котором Дух Святой поставил тебя блюстителем пасти церковь Господа Бога, которую Он приобрел своею кровию.

Священник должен, поэтому, хорошо знать всех живущих в его приходе — лично: домохозяев, их семейства, прислугу, жильцов; должен со всеми беседовать, испытывать их в знании догматов веры и правил христианской нравственности; должен знать и испытывать всех живущих в самых отдалённых местах, относящихся к его приходу; всех научать и наблюдать потом за каждым, точно ли он блюдет догматы веры и исполняет правила христианской нравственности. Заразившихся ересью, расколом, вольнодумством, нерадивых, холодных и порочных должен научить, обличить, умолить, потому что каждая душа дана ему на сохранение и он ответит за каждую душу своей собственной душой.

Чтобы прихожане его имели возможность выполнить закон Божий, священник должен убеждать их принимать св. таинства: крещение, миропомазание и пр., через которые благодать Божия возраждает и укрепляет к жизни святой и непорочной, к жизни вечной.

Чтобы Господь даровал силу к достойному прохождению этого трудного служения, укрепил его и пасомых в вере и благочестивой жизни и простил прегрешения, священник **должен непрестанно молиться и один, и вместе с пасомыми им.**

Итак: вся жизнь священника, вся деятельность, все мышления, вся душа его — должны быть всецело посвящены религиозно-нравственному состоянию его прихожан.

Но приложите пастырские обязанности священника к нравственному состоянию «современного общества». При явной недобросовестности и беспорядочности кого-либо из прихожан, не легко делать внушения и простому мужику; однако же, все-таки возможно. Но попробуй священник делать внушения лицу высокопоставленному!... Мыслимое ли дело, чтобы кто-нибудь допустил, чтобы священник делал ему вну-

шения, хотя бы тот, кому необходимы эти внушения, был отъявленный негодяй?! Допустит ли это лицо даже самое степенное и понимающее пастырские обязанности священника?! А между тем пред Богом равны все, и пастырские обязанности простираются на всех одинаково: **«грешник погибнет, крове же его от руки твоя взыщу»...**

По слову Господню, священник должен увещевать сперва наедине; если согрешающий не послушает, то взять с собой двоих или троих и увещевать его при них. Ну, и попробуй священник придти с троими к кому бы то ни было: один, просто, прогонит и отомстит потом; а другой, без церемонии, отопрёт тебя к мировому, а приведенных тобою поставит свидетелями против тебя же в взведённой на него клевете. Всё это как бы шутка; но на самом деле — всё это так. Поэтому я, как священник, говорю, что крайне бывает иногда грустно и тяжело, когда видишь безобразия в приходе... Особенно бывает всегда грустно при погребениях. Совершаешь обряд и думаешь: где же душа твоя, усопший?! Не я ли виновен в твоей гибели, если ты отвержен Господом? Не я ли виновен, что я тебя не научил, не умолил, не обличил?!...

Епископство — учреждение божественное. Епископ требует от священников, чтобы они были примером и руководителями для прихожан своих в жизни христианской; заботились о религиозно-нравственном состоянии прихожан и о благолепии храмов Божиих; часто и благоговейно совершали богослужение; неупустительно удовлетворяли духовным нуждам прихожан в требоисправлениях; поучали народ закону Божию; читали, как современные религиозно-нравственные сочинения и журналы, так и древние сочинения, в особенности те, которые служат основанием сектаторам в их толках; вели возможно-частые беседы и со своими православными прихо-

жанами и с сектаторами, излагали беседы свои на бумаге и представляли их на рассмотрение установленной цензуры.

Консистория — это учреждение не божественное, но имеет власть над пастырями Христовой церкви, если не по праву, то в действительности, более епископской. Есть консистории, которые, при прикосновении к ним кого бы то ни было, — духовного или светского лица, — смотрят не только на важность дела, но и на то, насколько это лицо состоятельно. Епископу в несколько раз более дела, чем всему ареопагу консистории и, между тем, ни в одной епархии, какие нам известны, не было примера, чтобы он выражал обременение делами: при Божией помощи, он трудится безропотно. В иных же консисториях не проходит и дня, чтобы не было наложено несколько штрафов и не было сделано несколько выговоров только «за обременение епархиального начальства перепискою». Эти консистории с духовенством поступают по-отечески — по «Домострою»: они «не бьют ни по уху, ни по лицу, ни кулаком под сердце, ни пинком, ни посохом не колют, ни железом, ни деревом не бьют, а только, соймя рубашку, вежливоенько плетью с наказанием», — они штрафуют за каждую безделицу, и штрафуют рублей по 20–25-ти. Это опять, знаете, по «Домострою»: «и разумно, и больно, и страшно, и здорово».

Высшая духовная власть употребляет все усилия, чтобы хотя сколько-нибудь улучшить материальный быт духовенства. Между прочим, она сделала распоряжение, чтобы епархиальная власть употребила все силы на то, чтобы духовенство имело церковные квартиры. Духовенство стало продавать в церкви свои дома, разумеется, по оценке посторонних лиц. Но в одной из известных нам консисторий дело это шло так: церковь, например, не имеет никакой нужды в ремонтировке и имеет в банках капитал настолько достаточный, что после

уплаты за дома у неё остался бы ещё достаточный капитал. Чтобы совсем уже не обременять церкви, духовенство разлагало платёж лет на десять. И консистория отказывала. Другая церковь — совсем бедная: у неё не было наличного капитала — требовала сама ремонтровки и при покупке должна была сделать долги, по крайней мере в 8%, — и консистория разрешала. Вот тут и узнай её механику!...

При ремонтровках церквей, постройках и починках квартир причтов, от благочинного и местного священника требуется смета, надзор за производством работ и точная отчётность. Стало быть: священник **должен быть и инженером, и техником, и знать работы: каменные, плотничные, столярные, малярные, и пр., и пр.**

При межевании церковной земли или смежной с ней, благочинный или ближайший священник должны быть депутатами. Следовательно: он **должен быть и землемером.**

Очень нередко поручается священникам делать дознания или производить следствия. Консистории, при этом, господам следователям спуску не дают и карают их штрафами за самый малый недосмотр или недоразумение. Стало быть: священник **должен основательно изучить следственную часть**, чтоб не остаться виновным из-за чужого дела, и вообще **изучать законы.**

Теперь покорнейше прошу: все «требования современного общества» и все обязанности, лежащие на священнике, — соединить вместе и отнести их к одному лицу, хотя перечень мой далеко и далеко ещё не полон. Общество требует от священника слишком многого и мы думаем, что нет в свете лица, от которого требовалось бы так много, и так разнообразны были бы эти требования.

Что же даёт священнику само общество?

Нанимая прислугу, мы даём ей помещение, стол, жалование, требуем от неё только известного, определённого рода службы и даём ей все средства выполнять этот род службы. Какие же средства к выполнению всего даёт священнику общество?

Я изложу мою собственную биографию, — и она будет ответом на этот вопрос.

V

По окончании семинарского курса, правление семинарии определило послать меня в академию; но врачебная управа нашла, что я, по слабости здоровья, продолжать дальнейшие науки не могу, почему преосвященный и дал мне священническое место в селе N.

Женившись на сироте, мне, после рукоположения, нужно было отправиться в приход, отстоящий от города вёрст на 150. Вдова, матушка-тёща, могла дать мне деньгами в приданое за дочерью только тридцать рублей. Но они, почти все, рассорились по консистории, по протодиаконам, иподиаконам, певчим и подобному люду, при посвящении. Епархиальная власть не обеспечила, да и не могла обеспечить своего нового иерея ни прогонеми до прихода, ни квартирою там, ни отоплением, ни хлебом, ни прислугой, — она не дала ему ровно ничего. Ему дали приход, посветили и сказали: ступай и живи, как знаешь, но только с непременною обязанностью возвышать религиозно-нравственное состояние своих прихожан, — послание было апостольское: «Ни сапог, ни жезла, ни пиры в путь»... Из полученных мною от матушки денег у меня осталось всего три рубля. С этими тремя рублями мы должны были добраться до прихода и существовать там первое время. С неделю мы ходили с матушкой по постоялым дворам, и искали попутчиков-мужиков. Наконец, мы нашли целый обоз мужиков, привозивших сено. На нескольких дровнях мы уложили своё имущество, а на одних мы с женой пристроились сами. Мне было тогда 21 год, а жене 16. Жена моя, как ребёнок, не видевший деревни и не знавший быта сельского священника, не понимала ничего и отъезжала без особенного горя; но за то матушка не могла скрыть горя, раздиравшего её душу.

Первая деревня, куда мы заехали отогреться и покормить лошадей, была деревня мордовская. Мы выбрали получше избу и заехали. Но оказалось, что изба устроена была, как называется у них, «по-чёрному», и в это время топилась. Избы, которые топят «по-чёрному», строятся не у одних мордвов, но и у многих русских, в захолустьях. Избы эти устраиваются: из глины сбивается огромная печь, но без дымовой трубы, потому весь дым, при топке, идёт в избу. Несмотря на то, что дверь на это время отворяют, изба наполняется дымом до того, что чистого местечка остаётся всего четверти на две от полу. В это время ни стоять, ни сидеть и ни прилечь негде, — нет дыму только у самого пола, но так как дверь отворяется, то прилечь нельзя и там от холода отворенной двери. От ежедневной копоти, с потолка, полатей и полок висят сосульки, как сталактиты. Падающие капли копоти образуют снизу всюду сталагмиты. Побывать в такой избе и не выпачкаться донельзя нет никакой возможности. Полов и лавок крестьяне эти не моют никогда и только раз 5–10 в год подчищают скребками; самые даже столы грязны до невозможности. Сквозь густой дым людей едва видно, но между тем ребятишки лежат себе на полатах, свесив головы, и — ничего. Тут же под столом лежало несколько собак, а в углу телёнок и свинья с поросятами. Мы измучились, передрогли ещё более, чем в дороге, одежду всю перепачкали и не чаяли выбраться. Так тащились мы три дня; таких остановок у нас было несколько и мы пришли в совершенное изнеможение.

Наконец, приезжаем в приход, в своё село. О нём я и не имел понятия. «Куда же мы въедем? — спрашиваю. — Въезжая квартира есть здесь?» — «Нет.» — «Постоялые дворы?» — «Нет.» — «Где живёт диакон?» Мне указали лачугу. — «Дьячок, пономарь?» Мне указали лачуги ещё хуже. «Поедем в церковную

сторожку!» Приезжаем и видим: небольшая каменная церковь облияла, ограда развалилась; церковная сторожка — это маленькая, гнилая, покосившаяся, полуоткрытая избёнка. Мы вошли: пол земляной, два полуаршинных оконца покрылись слизью, стены мокрые, углы загнили и заросли плесенью. Что мы, — думаю, — будем тут делать?! Сейчас разнеслась молва, что приехал молодой поп, и сбежался народ. Всё, что было лучшего, нам снесли в сторожку, другое внесли в сени, а гардероб, комод, диван и стулья расставили по ограде. К нам налезло зевак, — и баб, и ребятишек, со всевозможною своею атмосферою, — столько, что ни стоять, ни сидеть и ни дышать не было возможности. Это были настоящие дикари: одна молодая баба дотронется к жене до шеи, другая пощупает косу, третья чуть не уткнётся носом в лицо и выпялит свои буркалы, и тут же, вслух передают одна другой свои замечания: «Ах, а ты глянь-ко, какая у ней коса-то, с мою руку!» — «А какая белая-то! Она, смотри, набелена»...

Пришёл мой причт. Первым делом дьячок выгнал всех, потом стали судить как и где нам пристроиться. Посудили, порядили и порешили, — что в сторожке зиму не проживёшь; что нужно искать избу у мужиков, но что во всём селе у мужиков свободных изб нет; что если есть у некоторых по две избы, через сени, то эти семейства многолюдны и обе избы заняты; что нужно просить стариков, чтобы они согнали какую-нибудь подобную семью в одну избу, а другую, на время, дали нам. Так мы и покончили.

Подошла ночь, у нас запасной свечи не было, а в селе лавочки не существовало. Сторож зажёг, по обыкновению, лучину и сел у «светца» ковырять лапти. В избёнке набралось столько дыму, что и взглянуть было невозможно. Народ натаскал на пол снегу и натоптал грязи, по крайней мере, на пол-

вершка; стены были мокры, лавки узенькие, — и спать нам совсем было негде. Старик наш нашёл где-то две скамейки и мы пристроились, а старик, как кот, забрался на печку. Утром я послал за старостой, и попросил его, чтоб он отвёл нам уголок, где-нибудь у мужика. Нужно было позаботиться и об обеде; но оказалось, что во всём селе, кроме чёрного хлеба, которого мы с женой, к слову сказать, не ели никогда и не едим до сих пор, — кислой капусты и гречневых круп, нельзя было достать ничего.

Прошёл день, прошёл и другой, а квартиры нам нет да и нет. Я послал опять за старостой, но тот сказал моему старику: «Скажи ему, что у меня с похмелья его голова болит; коль хочет, так, нетрошь, сам придёт». Посланный мой тут же пояснил мне, что староста обиделся, что я не угости его винцом, что ко мне он не пойдёт и квартиры отводить мне не будет. Я пошёл к нему. Долго он ломался со мной! Я едва не плакал, едва не кланялся ему в ноги; а он себе сидит, как пень, как и не слышит меня, и только: «ты мир почитай, ты ещё молод, не знашь, как в миру жить: у нас были попы до тебя, да мир не ломали. Поживёшь зиму в сторожке, а летом свой дом поставишь, а то у старой попадьи купишь». Насилу он согласился собрать сход и пособить мне — дать квартиру. Но всё-таки и после этого я ходил к нему, изо дня в день, целых две недели.

Каждую неделю, по субботам, в селе нашем был базар. В первую же субботу, с раннего утра до позднего вечера, у нас была сутолока невыносимая: то тот, то другой придёт отогреться, а то валит и целая толпа, просто — позевать. Нам наносили снегу, намяли грязи, сторожку настудили, — смерть, да и только! Утром приехал народ к обедне, — и опять сутолока ещё больше. Вдобавок к этому, трое-четверо крестин; кумовья,

кумы, ребятишки: говор, суетня, писк, визг, — ложись и умирай! И мы жили так две недели.

Жена моя не выдержала и захворала. На первый раз ей нужно бы только: сухая и светлая комната, покой, три-четыре ложки хорошего супу и самая ничтожная медицинская помощь; а у нас: сырость, гниль, холод, теснота, беспрестанно народ, беспрестанно хлопают дверью, больную обдают ветром со двора; ей нет уголка — негде ни прилечь, ни присесть; негде и нет человека, который бы приготовил ей хоть что-нибудь поесть; во всей окрестности не было ни доктора, ни фельдшера, посылать же в уездный город, за 40 вёрст, за кем-нибудь из них — у меня не было ни копейки денег. Положение наше было страшное. Мы не знали, как вырваться оттуда.

Две недели, изо дня в день, я ходил к старосте, чуть не каждый день стал ходить ко мне и он, но уже не один, а с тремя-четырьмя мироедами. Придут ко мне мои гости, рассядутся, я пою их чаем, а они: «Ты нас уважай; ты знай только нас; мы тебе всё дадим. Будешь уважать нас, и мы тебя во всём уважим; не будешь — так лучше уходи теперь же. Ты своей спины не жалея. Поклонишься миру, самому слюбится...» После множества просьб, поклонов и болезненных унижений с одной стороны; наставлений и ломанья — с другой, чрез две недели старики прислали за мной десятника звать меня на сход просить мир о квартире. Долго-долго мне пришлось тут толковать с ними и просить, почти каждого поодиночке, чтобы дали мне какую-нибудь особую избёнку. Наконец, все согласились дать. После меня начались перекоры и ссоры между ими самими. Ссоры и крику и тут было немало; но дело уладилось и здесь, и мне велено было перебираться к одному мужику.

У этого крестьянина было две избы, — одна в улицу, другая во двор, с общими сенями и под одной соломенной крышей. В семье были: старик, старуха, три сына женатых и с дюжину ребятишек всех родов и сортов. Нам отвели переднюю. Вся семья перебралась в заднюю, но старик и старуха остались с нами. Изба эта лучше сторожки была немногим, но за то сухая. В ней кругом были лавки, а вверху полати; топились «по белому»; пол дырявый и грязный-прегрязный, с двумя оконцами в улицу и одним во двор. Я спрашиваю: «Моете ли вы когда-нибудь пол?»

— Как же, моем каждый год, к Пасхе!

— Нельзя ли, дедушка, вынуть лавки и полати? Мы поставили бы стулья и диван.

— Когда вы вынесете из избы в гробу меня, тогда выносите хоть всё; а теперь, пока я живу, не трошь.

Мы поставили всё в сени под навес, а в избу взяли только самое необходимое. Вечером нужно было поставить самовар. У хозяев углей не было и я послал в церковную сторожку. Но сторож заворчал на моего посланного: «Две недели поп жёг церковные угли, а теперь и с фатеры будет жечь? На, да скажи ему, что больше не дам». К чаю пришёл к нам дьячок, сильно выпивший, подошёл под благословение и прямо дрюкнулся — сел на постель. «Зачем, — говорю, — ты, Григорьич, сел там, разве тебе нет места на лавке?»

— А почему же и не здесь? Почему же и не посидеть на батюшкиной постельке? Вишь, она какая мягкая! Вы, батюшка, нами не брезгуйте. Мы хоть и пономари, да такие же люди. А со временем и сами пригодимся: пойдёте по приходу собирать хлебцем, я лошадки дам. Мужикам нечего кланяться за всяким делом. Они — музланы, народ необразованный. Да вот, к

примеру, и матушка, как пойдёт собирать шерстью, так с ней и пойдёт моя Федосеевна. А одна-то она кого знает?

— Зачем ты, Григорьич, выпил?

— Вы, батюшка, ещё не обгляделись. Поживите, так хоть с годок к примеру, так будете пить больше моего. Приход наш бедный, а главное — чёрный; рук приложить не к чему; весь век бьёшься, из дня в день, из-за куска хлеба, с ума сходишь, тоска заедает. Ну, и выпьешь у доброго человека рюмочку, как будто всё горе и забудешь. Ну, и вы, к примеру, чашечку чайку налейте.

Вечером, после чаю, мы сидели вдвоём в переднем углу, а старик со старухой — против печки, в другом. Жена вязала кружево, а я, как и в сторожке, сидел без всякого дела: говорить с женой — всё переговорено; со стариками — не о чем; делать нечего, читать нечего, писать не о чем, да и не на чём. Что же делать? Да ничего, — сидеть, да и только. Я думаю, что кто испытал в жизни такое состояние, тот согласится со мною, что самый тяжёлый труд переносить легче чем продолжительное состояние совершенной бездеятельности. Там можно изнеможеть, а здесь — сойти с ума, тем более, что я привык читать.

Старики улеглись спать рано, но нам спать ещё не хотелось и мы сидели долго. Старуха легла на печке, а старик на полатах, над нашей постелью. Когда они захрапели, нам с женой стало как-то отраднее: мы почувствовали, что нам и тепло, и сухо, и свободно, — как камень какой-то свалился с души нашей.

Старики рано легли, рано и выспались. Часа за три до света они поднялись, стали топить печку и готовить завтрак. Со стариками поднялась и вся семья, — и пошло шмыганье мимо нас и хлопанье дверью. К нам налезло ребятишек, поднялся

визг, напустили холоду, крик, смех, слёзы, и то тот подойдёт, посмотрит на нас, то другой; нужно было вставать и нам, но вставать было нельзя, потому что полна изба была набита народом. Я едва мог упросить, чтобы все вышли, хоть на несколько минут, пока мы одеваемся. Просьбы моей никто не мог и понять, потому что одеваться и раздеваться при всех никто не считал стыдом, точно также, как никто не считал там за стыд идти всем кому попало вместе в баню. Неприлично быть одетым днём — стыдно; но идти всем, и своим и чужим, мужчинам и девушкам, вместе в баню — дело обыкновенное.

Утром за мною приехали из деревни звать к больной верст за 18. Это была первая моя поездка в жизни. Больная была мать крестьянина, старушка лет 80-ти. После причастия, пока я одевался, она вынула из подголовья тряпочку, завязанную целым десятком узелков, и морщинистыми и дрожащими руками стала развязывать её. По тому вниманию, с каким она держала тряпочку и развязывала узелки видно было, что тут хранилось всё её сокровище, всё её благосостояние. Я видел, что она хочет заплатить мне за мой труд, но мне тяжело было разлучить её с её сокровищем и я пошёл было из избы; но старушка уцепилась за меня и завопила: «Батюшка, батюшка! Куда ты, кормилец? Вот возьми за труды себе». Я остановился и стал ждать, пока она возилась с узелками. Оказалось, что в узелке было всего два гроша, их-то — своё единственное сокровище — она и отдала мне. Я взял их, но мне совестно было самого себя, мне казалось, что я сделал преступление. С этого момента я положил себе не брать больше никогда и ничего за такие требоисправления, и я держу своё обещание до сих пор. Так памятны мне эти два гроша! Лошадёночка была плохенькая, санишки плохенькие, я проездил целый день и перемёрз до-смерти.

Через три недели после нашего приезда, мы разделили братскую кружку; мне досталось два рубля. Тут мы с женой ожили: мы купили чайку, сахарку, корытце, кадочку, немного рису и четыре калача. Дела наши, значит, поправились. Пришёл рождественский праздник, в церкви я сказал поучение, конечно, без книги и тетрадки. После обедни к нам заехал управляющий именем Ж., с женой, отставной солдат Агафонов, женатый на бывшей экономке барина. Агафонов ходил уже не в сермяге, а по барски, в сюртуках. И он и жена его первым делом стали выговаривать нам, что мы горды, — что не были у них до сих пор и что мы заставили их самих отыскивать нас.

В одной из глав моих «Записок»² я говорил: «Помещик Ж., в имении своём не жил, он приезжал туда только раз в год на некоторое время. К его приезду управляющий составлял список подросшим девкам и вручал ему, при первом своём представлении». Этот-то управляющий и был теперь нашим гостем.

Писарь, из сельских грамотеев, староста и человек 10 стариков тоже пришли ко мне поздравить с праздником. Писарь также сделал внушение моей жене, что она не была ни разу у его жены; а староста и старики прямо потребовали водки. При этом все мои гости, один перед другим наперерыв, стали указывать на свою силу и мою от них зависимость. Пришлось всех усадить, всех выслушивать, всех угощать и угощать из своих рук. А Агафонов выводил из терпения своей наглостью.

Агафонов и писарь похвалили меня за проповедь, а старики потребовали настоятельно, чтоб я таких поучений не

2 См. «Русскую старину» изд. 1890 г., т. XXVII, стр. 77.

говорил. «Наши прежние попы читали нам от Божьего писания, по большой книге; а что говоришь ты — кто тебя знает. Этак-то и всякий говорить умеет, как ты говорил. А ты нам читай».

— Да разве вы не поняли, что говорил я? Я вам и говорил-то от Божьего писания, только что — не по книге.

— Этак-то ты и теперь говоришь; так в церкви не говорят, там только читают. Ты читай по книге, мы и будем знать, что ты читаешь божественное; а то что? Говорит, не знай что, да глядит на людей.

— Из церковной книги вы ничего не поймёте!

— Это всё равно. Мы будем знать, что батюшка говорит нам Божье писание.

Пришлось уступить; после возьмёшь, бывало, с клироса какую-нибудь книгу, положишь на аналой, да и говоришь, что знаешь. И ничего, роптать перестали.

Тотчас после обеда я со всем причтом поехал с крестом к бывшему нашему гостю, управляющему Агафонову. За нами притащились дьяконица, дьячиха и пономарица. Хозяева, при первой же встрече, задали мне выговор, почему не приехала молодая матушка, моя жена. Мне выговаривали, как бы от радушия, но собственно грозили, что гордостью своей я наживу только зло и не заслужу их милостей. Тут мы пропировали долго, до полуночи. Уехал бы, — лошадь чужая, дьячкова, а он не едет, да и хозяева не пускают. К полуночи перепились все, — и гости и хозяева. Сколько нужно было мне нравственной силы, чтобы высидеть в таком обществе, столько времени удержаться и не выпить ни одной капли! Это была настоящая пытка. Тут употреблялось в дело всё: и ласки, и просьбы, и обнимания, и целования, и угрозы, и брань — словом, всё, что

может делать человек, когда во что бы то ни стало хочет заставить другого исполнить его волю. Меня — только что не били. Но я поставил на своём, и выдержал. На прощаньи Агафонов дал нам, на всю честную братию, 40 коп. медью (11 1/2 коп. серебром). На другой день к утрени не пришёл из причта никто. Я хотел было отслужить хоть часы, но и к часам не пришёл никто.

После чаю я пошёл по селу с крестом славить. Идти в одном тёплом кафтане было холодно, а шуба моя была хотя и очень тёплая, но страшно тяжёлая. О тёплых же рясах, в то время, никто из сельских священников и не думал, — их не было тогда ни у кого. Впрочем, это есть одна из самых неудобнейших одежд, а встарину более заботились об удобствах. Я пошёл в шубе. Пришлось, из двора во двор, лазать по сугробам, местами по колёно. Я измаялся, шубу измочил, но к вечеру всё-таки прошёл всё село. Ходить было трудно, невыносимо; но не в пример тяжелее того была та нравственная пытка, которую терпишь при этом. Приходишь в дом, помолишься, пропоешь, дашь приложиться ко кресту и стоишь. Мужик-хозяин не торопясь полезет в карман, не торопясь вынет оттуда кожаный мешочек, бессмысленно посмотрит на него, не торопясь начнёт рассматривать и развязывать кожаный ремешок, засунет в мешок руку, начнёт перебирать там деньги и, наконец, не торопясь вынет и подаст грош. Что чувствуется в то время, когда мужик возится со своим мешком, а ты стоишь, смотришь и ждёшь, — так это непередаваемо. Чтобы понять это, нужно иметь порядочное образование и то безвыходное и безнадежное состояние, в которое поставлены мы. Но до такого состояния не дай Бог дойти никому!...

В этот день я набрал около полутора рубля медью (43 коп.). Домой пришёл я поздно вечером; совершенно обесси-

левший, голодный, изломанный, мокрый и почти без памяти бросился на постель. Жена давно ждала меня с чаем, и упростила поскорее выпить стакан. Я выпил и, действительно, освежился. Старуха выбила шубу и развесила сушить. Отдохнувши немного, я решил не ходить по деревням, а их у меня было девять. Думаю: моя шуба стоит дороже того, что я могу собрать, — не пойду! Но, потом: да чем же мы с женой будем существовать? Ведь у нас нет ни угла, ни хлеба, ни соли, ни чашки, ни горшка — ровно ничего. А ведь всё это надобно покупать, а на какие средства покупать? Люди мы брошенные совершенно на произвол судьбы... Надобно идти! Но, может быть, как-нибудь без всего этого можно будет пока обойтись? Чаю и хлеба на неделю хватит; а там, может быть, случится какой-нибудь доход,- побольше крестин, похороны... Ну, а если не будет ничего, тогда что? Может случиться и это. Надобно идти. Но у меня теперь деньги есть, полтора рубля; чрез неделю достанется из кружки рубля два и — как-нибудь обойдусь. Однако гораздо будет лучше, если я к этим деньгам прибавлю ещё. Тогда мы купим мучки, жена сама испечёт, хлеб будет и чище и вкуснее; купит сито и ещё что-нибудь... Лучше идти. Но в то время, как я колебался, старуха, как нарочно, разбила нашу полоскательную чашку. И я тотчас порешил идти, и обойти весь приход, — все деревни.

Утром я пошёл к своему наречённому благодетелю, Григорьи- чу, просить его съездить со мной в деревню. На рождественский праздник все члены причтов ходят славить Христа порознь один от другого. В деревне я пошёл по одной стороне, а Григорьич по другой. Когда же мы в одном доме встретились с ним, то он был уже сильно выпивши.

— А вы, батюшка, не бойсь нигде и не присели и кусочка не пропустили?

— Нет.

— Так, ей Богу, нельзя. Вот я, по милости добрых людей, и выпил и закусил. А так нельзя. Вы оставите свою молодую матушку сиротой. Пойдёмте к целовальнику, Ивану Федотычу. Предобреющий человек.

Я, конечно, не пошёл, но за то не нашёл потом и своего Гри-горьича, — он где-то пьяный совсем запропастился. Один добрый мужичок довёз меня до дому. В течение недели я обошёл весь приход и собрал одиннадцать с чем-то рублей ассигнациями (3 руб. 15 коп. серебром).

Накануне нового года ко мне пришёл сельский староста и сказал, что старики велели мне созвать их к себе, после обедни, на новоселье.

— Зачем? Я живу в чужой избе, а не в своём доме.

— Да ведь эту избу-то мир же тебе дал, за это и надо мир угостить. Ты человек молодой и старых порядков не рушь. Новоселье не тобой заведено, не тобой оно и рушится. А против миру идти неслед. Коль мир велит созывать, и зови.

— Ну, созову, что же мир будет у меня делать?

— Как что? Ты угости всех водочкой, и они тебе кто мучки, кто пшеница, кто баранинки, а кто и овечку. Ты сделай им только честь, а они наградят тебя на столько, что сам будешь сказывать спасибо. Я тебе и преж говорил, скажу и теперь: спины своей не жалея, — слюбится.

— Сколько же человек придёт?

— Человек тридцать придёт, а может — больше.

— Да у меня тут тридцати и встать негде!

— Ничаво. Пока одним подносишь, другие подождут на дворе. А зови непременно.

— Ну, зови. Сколько же им нужно вина?

— Ведёрко нужно.

Ведёрко! — думаю. Это значит пропойть всё, что я собрал в неделю!

— На ведро-то у меня и денег нет.

— У попа денег нет! У кого же и деньги-то, коль не у попа! Уж не у мужика же! Нет, ты зови.

— Ну, зови.

Проводивши старосту, я задумался: что эта попойка будет значить? Я принял на себя обязанности пастыря Христова стада. Я должен быть руководителем ко спасению прихожан моих. Мне, пастырю, сказано: «когда реку грешнику: смертию умреши, ты же не возвестиши ему, ниже увещаеши да обратися от пути своего лукавого и жив будет: грешник убо погибнет во гресе своем, крове же его от руки твоя взыщу». Мне, пастырю, сказано: «проповедуй слово, настой благовременне и безвременне, обличи, запрети, умоли!» И что же? Я завтра действительно, буду кланяться, настаивать, умолять чад Божиих, души коих вручены моему попечению; но в чём умолять, Боже мой!... Не в том, чтобы бросили пьянство и не прогневляли Господа своим безобразием, а в том, чтобы пьянствовали и ещё более прогневляли Господа. Я, пастырь, должен буду просить, чтобы врученные мне христиане водку пили, пили у меня в доме, из собственных моих рук, купленную на последние мои средства!... Нет, это невозможно! Мне сказано: горе мне, аще не благовествую. Как же я могу преподавать им потом правила нравственности, как могу увещевать их бросить пьянство, когда я завтра сам же повлеку их к пьянству и безнравственности? Как скажу я Господу: се аз и дети, когда я сам добровольно отпадаю и влеку к отпадению тех, для коих я должен быть

руководителем ко спасению?! Мне, пастырю, сказано: «образ буди верным». Какой же я завтра подам образ? К пьянству?... Но, Боже мой! Что же это такое?! И из-за чего всё это? Из-за чего я гублю и себя и других?... Из-за того, чтоб мне не сгнить заживо в сторожке и не умереть с голоду... Но ведь это и глупо и несправедливо! Неужели мне пришла, в самом деле, такая нужда, что я умираю с голоду и неужели Господь не пропитает меня, если я останусь честным человеком, верным его рабом, и исполню свято долг мой? Слово Божие говорит: «не можете искушиться паче еже можете понести», т. е. Господь не посылает искушений выше наших сил. Стало быть, я нужду свою перенести могу. А если могу, то к чему навлекать грех и на себя и на других? Нужду терплю я страшную, это правда; но сколько есть людей на свете, которые терпят много больше, чем я! Чем лучше их я, почему же и мне не терпеть этой нужды! И не глупо ли, из-за куска хлеба, жертвовать спасением и своим, и многих, — целых тысяч! Я, пастырь, буду просить своих пасомых пить вино... Ведь этим я разом и на всю жизнь отнимаю у себя право внушать им правила христианской нравственности! Как скажу я им: не пей, когда буду поить сам?! Да, я терплю крайнюю нужду... Но кто виноват в этом?... Кто виновен в том, что я буду склонять ко греху тех, кого должен отклонять от греха? Конечно, я сам. Кто навязывал мне эту нужду? Я принял её добровольно, как добровольно принял на себя и те страшные обязанности, которые лежат на мне, как на священнике. Нет, не буду поить! Но... как же я выйду из моего крайнего положения, — не могу же я весь век таскаться по крестьянским избам. И теперь хорошо, но что я буду делать, когда мы с женой пообносимся, когда пойдут у нас дети? Во что бы то ни было, надобно приобретать свою избёнку, хоть такую же, как у дьячка. Какова бы она ни была, но всё же нам в

своей будет лучше, чем жить среди мужицкой семьи. А этого можно достигнуть только благосклонностью прихожан и благоволение их можно снискать только потворством всем их слабостям, или наглостью — драть за все требы и с богатого и с бедного. Какой же буду тогда пастырь?! О, если б я знал вперёд, что меня ожидает в жизни, я никогда не принял бы на себя этой страшной обязанности пастыря, без средств выполнить её!... Почему я не вник в жизнь священника? Зачем я не расспросил священников: как и чем они существуют и возможно ли, при их обстановке, выполнение пастырских обязанностей? Теперь я вижу, что крайняя моя бедность и нужда вынуждают меня пренебречь самыми существенными моими обязанностями, — из-за куска хлеба я должен сделаться не пастырем, а каким-то арендатором.

Я дошёл до отчаяния. Поить — думаю — или не поить?... Поить — значит поступить против долга и совести; не поить — значит всех озлобить: ведь я велел уже придти. Велеть придти и потом отказать — это нечестно и значит обидеть. Что тогда будет с нами, если мужики рассердятся и откажут мне в квартире? Идти опять в сторожку? Они и теперь смотрят на меня, как на работника и нищего, а тогда будет ещё хуже... Надобно угостить. Да и погрешу ли я против долга и совести? Меня поставили пастырем; но при этом не дали мне ровно никаких средств к моему существованию. Правда, мне указали на добровольные пожертвования, но как они приобретаются? Почти исключительно ценою пастырского служения? Хорошо, так и быть, теперь я поднесу всем крестьянам, которые придут ко мне, по стакану, по два, — только чтоб расположить их к себе, только ради, так сказать, дружбы. Но это, конечно, будет и первый и последний раз в жизни. Теперь я получу их доверие, любовь; а при любви они дадут мне всё необходимое, а

водки просить постыдятся. Я разьясню им потом, как тяжело мне было поить их вином. Они это поймут, — человек не скотина. Летом, может быть, Господь пошлёт преосвященного в наш приход. Он разьяснит значение пастыря и подкрепит в прихожанах моих уважение и доверие ко мне. Буду надеяться на Господа Бога и архипастыря!...

На новый год, после обедни, у меня было много треб в церкви; я долго не выходил, перемёрз и устал; но мужики давно уже стояли у моей квартиры и ждали меня. Подхожу, они все скинули шапки и закричали: «С праздником поздравляем тебя, батюшка, с новым годом! Да уж и с новосельем-то надо поздравить!» Я поблагодарил; мне хотелось бы сперва отдохнуть, погреться, выпить стакан чаю, и не пригласил к себе никого; но они сами все повалили за мной в избу. Изба моя набилась полнёхонька; одни расселись по лавкам, другие на нашу постель, а остальные стали среди избы плотной массой. Такая же куча стояла на дворе и в сенях. Я дал старосте денег, тот послал десятника за водкой и велел принести от себя хлеба и огурцов на закуску. Принесли водку, я подал стакан и предложил пить. «Нет, — закричали все в один голос, — мы пришли к тебе в гости, так ты сам нас и угощай. Ты прежде выпить должен сам, а там подавай из своих рук и нам. Тогда мы и будем знать, что нас угощал молодой батюшка. Мы тебе дали дом, вот живи, а ты и за это не хочешь уважить мир. Нет, мир уважай. Выпей сперва сам, и сам подноси нам. С миром жить надо так».

— Я водки не пью и пить не буду.

— Не пьёшь, так хоть пригубь (хоть к губам приложи стакан). Не уважишь мир, и мир тебя не уважит: сейчас опять ступай в свою сторожку; а на селе и за деньги тебя никто не пустит, — мир не велит.

После долгих споров, я должен был глоток водки выпить, чтобы, этой жертвой моей совести и здоровья, вымолить у этих простодушных пьяниц какое-нибудь пособие в моём безвыходном положении. Потом почерпнул стакан и подал старосте. Он: «Ты, батюшка, миру угождай; мы тебе всего дадим, что тебе надо. Вот поп Андрей такой казны увёз от нас, что Боже мой!»

- А ты считал его казну?
- Считать — не считал, а у него денег было много.
- Да почему же у него домишко-то нищенский?
- В таком-то теплей.

И староста пустился в рассуждения. Толкует, размахивает руками, а я стою перед ним со стаканом. Раза три я сказал ему, что я стоять перед ним не буду, что коль хочет пить, то чтоб пил, а он, знай себе, толкует. Наконец, натешившись надо мной, выпил. Подношу другому, тот: «Ты, батюшка, иди ко мне завсегда. У меня своя дранка, много не дам, а на кашу крупок завсегда дам». Насилу дождался я пока и этот взял от меня стакан. Так я обошёл всех и по крайней мере четверть из них делали мне наставления и обещания, прежде чем принимали от меня водку. Я одурел совсем. Когда выпили все, — поднялся крик, говор, спор, заговорили разом все. Наконец, староста закричал: «молчать!» «Батюшка! Бери бумаги, пиши, кто что даст тебе, а я буду спрашивать. Я тебе дам овцу.» Я стал писать. Один обещал дать осенью ярку, — осенью, когда ягнята народятся и вырастут; другой пару гусей, — когда гусыни нанесут яиц, выведут гусенят и они вырастут; а там: кто пуд круп, кто тушку баранины, и т. п. Как только переписались все, староста велел понести ещё по рюмке всем, а ему две; велел выходить всем, и прислать тех, которые ждали во дворе. С этими была

почти такая же история. Голодный, измученный и физически и нравственно, я совсем отупел. У меня разгорелась голова, разболелась грудь, заломили ноги. Я почти без чувств бросился на постель и заплакал когда ушёл от меня последний мужик.

На другой день ко мне пришли четыре мужика. Один принёс тушку баранины, другой пару колотых гусей, и двое по пуду муки. «Вот тебе, батюшка, за вчерашнюю хлеб-соль! Да уж и опохмели. Вчера ты только раздражил; ну, староста и купил миру, на наши же мирские, ведёрко, а тут N.N. попался с чужой рожью, — и его обмыли ведёрком. Теперь вот голова-то и болит». Я послал за водкой и поднёс по три рюмки, без всяких уже колебаний. Тех волнений, какие мучили меня третьего дня, не было и в помине. Теперь мне не нравился только самый процесс потчиванья, но и то не особенно, — мне только не хотелось наливать и подносить. Но угостить находил необходимо-нужным, как благоприятелей.

После них пришёл ещё один и тоже что-то принёс. Этот был застенчивее, и водки не просил. Этому я поднёс уже сам. Он понравился мне своей скромностью, и я убедил его выпить другую рюмку. Вечером пришёл ко мне пьяный мужик, тот самый, который попался вчера с краденой рожью, и принёс мне курицу. Я знал, что он украл рожь, поднёс ему водки, но не сказал ему в назидание ни о воровстве, и ни о пьянстве. Поить и молчать я находил уже нужным. Нравственный перелом, значит, уже совершился!...

На третий день я позвал причт и церковного старосту в церковь поверить сумму. Староста отнял печати, отпер замки, выдвинул ящик с главной кассой и мгновенно пересыпал туда месячную выручку.

— Что ты делаешь? — говорю я ему. — Нам нужно поверить валовую сумму и месячную выручку, — нужно знать

сколько выручено от продажи свеч и сколько собрано по кружкам.

— Вот считай, она вся тут.

— Но мы не можем узнать сколько какой суммы.

— Считай, тут вся она.

— Сколько продано свеч? Покажи свечи.

Свеч оказалось больше, чем было их при моём первом осмотре.

— Откуда взялись лишние свечи?

— Я купил.

— Почему ты не спросил меня?

— Зачем? Чай, не ты будешь продавать их. Я продаю, я и покупаю. На то я и староста.

Дьякон: «Батюшка! мы озябли. Староста! Дай-ко нам на полуштофчик, погреться».

Староста тотчас всунул ему полтинник. Дьякон схватил его и с дьячками пошёл из церкви.

— Что вы делаете, отец дьякон? Не уходите и отдайте назад полтинник старосте.

— Пишите, батюшка, книги какие знаете, мы подпишем всё, спорить с вами не будем. — Махнул рукой и с дьячками ушёл из церкви.

— Ты меня хочешь учитывать?

— Учитывать.

— Ты, может, ещё не родился, а я уж был старостой. Не тебе меня учитывать. Я старостой 18 лет. Меня старостой поставил мир, миру я и отчёт дам, а не тебе. Мы хозяева, а ты что? Был да и пошёл. При мне, в 18 лет, вас перебивало у нас до

тебя шестеро, а я всё один. Поди и жалуйся на меня куда знаешь, вот что!

Спорить было не из-за чего. Мы заперли деньги и пошли. На другой день приехал благочинный для отобрания годичного отчёта. Я пересказал всё ему.

— Нет, у вас староста хороший старик, я его давно знаю; и причт хорош; немного только все они выпивают. Ну, да кто не пьёт!

Мы свели по книгам итоги, сосчитали сколько нужно благочинному получить от нашей церкви казённых денег и внесли в ведомости. Благочинный вышел на двор и позвал старосту. Каким-то там словом перекинулись они, и благочинный сию минуту возвратился. Минут через 20 пришёл староста и подал благочинному пачку бумажек. Благочинный отвернулся к окну, пересчитал, положил в карман и сказал старосте: «Хорошо! Ступай домой!»

Через полчаса благочинный уехал. Я позвал старосту и спросил его, сколько он дал благочинному всех денег?

— Это уж наше дело!

— Не ваше, а моё! Пойдём в церковь, пересчитаем что там осталось.

Дьякон в церковь не пошёл, отговариваясь тем, что деньги считаны вчера, что не каждый же день считать их, а дьячки куда-то запропастились совсем. Я пошёл один. Оказалось, что денег недоставало много, но благочинному ли отдал их староста, или взял себе — Господь их ведаёт.

В первую же обедню, по приезде моём в приход, во время пения «херувимской», открылось много «порченных», «кликуш». Как только запели «херувимскую», я слышу: «И! И! А! А!» И — то там хлопнется на пол женщина, то в другом месте, —

местах в десяти. Народ засуетился, зашумел. После обедни, когда я вышел с крестом, я велел подойти ко мне всем «кликушам». Все они стояли до сих пор смирно, но как только я велел подойти, — и пошли ломаться и визжать. Ведут какую-нибудь человек пять, а она-то мечется, падает, плачет, визжит! Я приказываю бросить, не держать, — не слушают: «Она убьётся, — отвечают мне, — упадёт, а пол-то ведь каменный!» — Не убьётся, оставьте, — говорю. Отойдут. Баба помотается-помогаётся во все стороны, да и подойдёт одна. Так все и подошли. Я строго стал говорить им, чтобы они вперёд кричать и бесчинничать в храме Божиим не смели, и наговорил им целые кучи всяких страхов: что я и в острог посажу и в Сибирь сошлю, словом — столько, что не смог сделать и сотой доли того, что наговорил я им. Потом велел им раз по пяти перекреститься и дал приложиться ко кресту. Велел народу расступиться на две стороны и всем кликушам, на глазах всех, идти домой. Я имел в виду настрашать и пристыдить. В следующий праздник закричали две-три только. Я потолковал и с ними. Таким образом к Пасхе у меня перестали кричать совсем.

На Пасху, когда я ходил служить по дворам молебны, причт мой заранее сказывал мне, в котором доме были «порченные». Во время молебна все «порченные» стояли смирно: но как только обернёшься с евангелием к народу, они и начнут хлибать и биться. Я тотчас обернусь опять к иконам и читаю, — уймутся и «порченные». Я перестал оборачиваться с евангелием совсем, — и бабы молчат. После молебна я спрашиваю: «Ты, я слышал, — порченная, что же ты не кричала?» — «Меня схватывает только, когда читают евангелие». — «Вот ты и врешь, — говорю. — Евангелие-то я читал, да ты не поняла, потому что я не оборачивался к вам». Задашь ей ругань, да и семейным накажешь, чтобы не ухаживали за ней, когда она

примется кричать и биться. Прихожу раз в один дом, а баба бьётся на постели и кричит: «Я сам попович, сам попович! Меня N. в стакане пива поднёс: я с пивцом вошёл, я с пивцом вошёл, теперь на сердце верхом сижу»... Родная её мать и свекровь стоят над ней и навзрыд плачут. Я подошёл к ней, стукнул о пол палкой и крикнул: «Молчи! Разве ты не видишь, что в дом принесли святые иконы, я пришёл?» Баба мгновенно примолкла. «Вставай! Я молодой поп, ты меня не знаешь и если хоть чуть пикнешь, то...» Баба встала, утёрла слёзы и я поставил её возле себя. Евангелие читал я, положивши его на её голову, — молчит. После молебна я сделал ей внушение и с тех пор порчи как не бывало.

Прихожу в один дом, — там квартировало семейство цыган. Во время чтения евангелия, молодая сноха начала кричать и биться. Вся семья бросилась держать её. Насилу я могу заставить оставить её и не держать. Баба и тут помоталась-помоталась во все стороны, но не упала. После я, наедине, спрашиваю старика: «По любви она выходила за твоего сына?» — «Да признаться, не совсем. Вот этак, дорогой, схватит её, упадёт с повозки и начнёт биться. Уж чем мы ни лечили её, нет, не даёт Господь лучше». — «Ну, ты вот что сделай, — говорю ему, — если она упадёт когда с повозки, то вы не обращайтесь внимания и ступайте себе, куда едете. Пусть её останется одна в поле. Она полежит-полежит, да и придёт к вам».

— А как умрёт в поле?

— Не бойся, не умрёт.

Чрез год я увидел цыгана опять. «Ну, что, — спрашиваю, — сноха?»

— Благодарим покорно, отец духовный! Мы раз ехали в село N.: её схватило, хлопнулась с повозки и начала биться: а мы так и поехали, и не взглянули на неё. Боялись мы больно, чтоб она не умерла; но, ничего, к вечеру пришла к нам и с тех пор не схватывает, — прошло всё. Теперь мы видим, что она просто озоровала.

Я не объясняю причин явления «порченных»; не говорю и того, хорошо ли я поступал с ними, или нет. Я излагаю только факты и могу сказать, что к концу года в приходе моём не осталось ни одной «порченной». Теперь же о «порченных» нет и помину. За то я тогда прослыл сам колдуном, да таким, что сильнее всех.

Пришло Крещение; нужно было идти опять по приходу со святой водой и на этот раз всем уже причтом вместе. Мы пошли. Нужно было обойти всё село в один день: но не прошли мы и 30 дворов, как причет мой переписался и стал отставать от меня один по одному, так что к половине села я остался один и один окончил село. На другой день мы поехали в одну из деревень. Причет мой опять переписался и опять бросил меня одного. Думаю: когда же все они пьют? Ведь мы нигде не присаживаемся? В следующей деревне я стал настаивать чтоб никто не отставал от меня ни на шаг, — приходил и уходил вместе со мной. Никто, действительно, не отставал, но какими-то судьбами опять переписались все до того, что в службе пошло безобразие и я по неволе должен был велеть оставить меня одного, а им улечься спать. В следующий день я положительно настоял, чтобы все ходили кучкой и ни шагу от меня ни взад, ни вперёд. Выходя из одного дома, я отворил дверь и переступил одной ногой порог; но мне показалось, что причет мой выходит не торопясь. Я оглянулся и говорю: «Пойдёмте, братцы!» Дьячок Григорьич с улыбочкой подмигнул мне и

говорит: «Уж выпил — не досмотрели!» Мне самому смешно стало. — «Как это ты ухитрился?»

— Вы стоите впереди, и не видите, что мы делаем назади. Я подмигнул хозяину, от налил стакан да и поставил возле меня на лавку. После молебна, как только вы прошли мимо меня к двери, я залпом и хватил. Что же делать-то? Вы нигде не присаживаетесь, и сами не пьёте, и нам не даёте: приходится обманывать.

Таким образом причет мой ходил со мной полупьяным. На беду нашу поднялась страшная метель. Вьюга — свету Божьего не видно, — а ты лезешь по колено по сугробам. Снег засыпается за сапоги, по пояс в снегу шуба; поднимешь её кверху — ветер и снег бьют тебе в грудь и за шею; опустишь — путаешься, мокнешь и падаешь. Идти нет сил, но ты всё-таки бьёшься и идёшь, потому что это есть средство к твоему существованию. Пьяные мои сослуживцы: один карабкается в сугробе там; другой на четверинках через гору сугроба перелазит там; третий совсем потерял направление и прёт назад, — и горе и смех! Входишь в избу, — изба тёмная, мокрая, жаркая, полна народу, ягнят, телят; духота и атмосфера — что нет никакой возможности выдержать и пяти минут. Входишь, — тебя разом обдаёт жаром и разом растаивает на тебе весь снег и размокает платье. Весь в поту и мокрому платью, выходишь снова на мороз, и всё опять мгновенно мёрзнет на тебе и лепит нового снегу. В следующем доме опять мгновенно делаешься мокрым.

А каково наше служение? Входишь в избу, начинаешь петь, а штук двадцать ягнят и примутся орать изо всей мочи! Со двора услышат овцы-матери, подбегут к двери, — да и примутся драть глотки, ещё пуще детушек! Что тут бывает!... И тогда и ныне я часто прислушиваюсь к своим словам и голосу и

не могу расслышать никогда ни слова и ни даже звука. Должно быть, очень хорош наш концерт, если послушать нас со стороны. Мы между собой не сбиваемся только потому, что слишком хорошо заучен размер каждой нотки. Кончим петь, оборотимся к хозяевам, и ждём пока мужик возится со своим мешком. Мы уже молчим, смотрим на мешок и ждём подачи, а ягнята валяют, овцы дерут! — Голова трещит!... Долго мужик возится со своей кисой, и — вытащит три-четыре гроша.

Оставить эту ходьбу священник уже не может, потому что в этом доходе участвует весь причт, а он этого не допустит. Дорогою шуба замёрзнет на тебе лубком, сам ты по пояс мокрый, застывший, продрогший, изломанный и измученный, со страшной головной болью, возвращаешься домой — и каждый раз боишься, что вот-вот схватишь горячку. Дома тотчас переменишь бельё и раз пятьсот пробежишь по комнате, чтобы размять свои окоченелые члены. Сам я водки не пью и мне противно смотреть на пьяный причт; но осуждать его строго за пьянство нельзя: такое состояние, какое переносим мы, человек может переносить только в полусознательном состоянии. И из-за чего всё это? После десятидневного мучения и опасности получить горячку, мне досталось из кружки двенадцать рублей медью (3 руб. 43 коп. серебром).

Прошла крещенская ходьба и для меня настала совершеннейшая бездеятельность. Сходишь по временам окрестишь, схоронишь, — и только. Почитал бы хоть что-нибудь, ну, хоть какого-нибудь Бову королевича, хоть что-нибудь, — нет ничего ровно. В церкви нет ни единой книжки. Съездил бы в город, накупил бы книг, выписал бы какой-нибудь журнал, но денег едва достаёт на дневное пропитание. Всё, что получается, идёт на продовольствие и на домашнее обзаведение. Принялся бы учить крестьянских детей грамоте, петь; но у меня в квартире

и без того повернуться негде, в церковной сторожке ещё теснее и сырее, нет подходящего дома и у крестьян. И пошло моё время так: встанешь утром, попьёшь чаю, да и начнёшь шагать по своей саженной комнате. Устанешь, посидишь немного, полежишь, да и опять ходишь. Надоест, — выйдешь на улицу, поглазеешь на занесённые снегом мужицкие избы, поклонись проезжающему мимо тебя мужику, иногда спросишь его куда он едет, — за соломой, или в соседнюю деревню, — и опять в избу. И так протянется до обеда. После обеда сидишь себе, сложа руки, и ждёшь — не дождёшься вечера. Вечером, напьёшься чаю и сидишь против жены, которая, в это время, что-нибудь вяжет. Целый вечер ни звука, ни дела, ни движения!... Видимо и тупеешь и дуреешь. Сидишь и думаешь: к чему и зачем нас учили? Учили, да ещё как учили-то! И психологии, и философии, и физике, и химии, и минералогии и, Бог весть, чему ни учили. И к чему всё это, когда сельскому священнику и нет и не будет никогда возможности приложить всего этого к делу?! К моему большому горю, как я говорил уже, в семинарии я развил в себе потребность читать. Здесь же кроме требника и какой-нибудь церковной mineи, не было ровно ничего. Сколько раз приходило мне на ум тогда: зачем и для чего лицу, которое должно быть послано в сельские священники, дают такое образование? Ведь всякий необразованный пономарь живёт несравненно счастливее образованного священника. Если образованный священник нужен для прихода, то зачем же губить самого-то священника? А всякий мало-мало образованный священник должен гибнуть почти неизбежно. Отчего у нас и выходит теперь, что большинство духовенства живёт совсем не так, как бы следовало. Не отупить, не огрубеть, не оставить своих чисто-пастырских обязанностей и не сделаться пьяницей — почти нет возможности.

Представьте: молодой человек сидит в крестьянской избёнке, среди крестьянской семьи и, против собственного желания, ничего не делает. Но сама природа требует деятельности, требует высказать кому-нибудь свои чувства и послушать другого. С кем же он может поговорить и кого послушать? Общество его — мужики, и больше никого. Предместники его священники были такие же горемыки, и не оставили ему в церкви ни одной книги. Соседи-священники живут в 15–20-ти верстах, да и у них едва ли есть что-нибудь, потому что и они такие же бедняки. И вот молодой священник тоскует от одиночества, нужды и безделья. Но вот его зовут к богатому, умному и почтенному мужику на крестины. Идти ему или нет? Не идти. Но это значит: 1) обидеть честного, трудолюбивого и всеми уважаемого человека, в нравственном отношении стоящего выше многих дворян и нимало невиноватого в том, что он не проходил семинарского курса и не слушал там премудростей какого-нибудь доктора Пакасовского («Русская Старина» 1879 года, том XXVI, стр. 154); 2) обидеть — и, значит, лишиться милостей и его и подобных ему. А это кое-чего стоит. Будут крестьяне делить луга, — тебе не дадут; будут делить лес, — тебе не дадут; церковь требует ремонтной, — крестьяне отговариваются неурожаем и т. д., словом: если священник имеет против себя влиятельных крестьян, то доходу у него не будет и половины; бросят и церковь. Значит: на крестины нужно идти. Там будет много и других крестьян. О чём там говорят? Об урожае, рекрутчине и подобных предметах, положим, самых невинных. Но вот беда: на первом плане непременно водка. Вот где погибель наша!... После мужик этот придёт к вам. Вы не можете уже не посадить его у себя и не угостить, а с этим вместе и не выпить сами. Всё это, мало-помалу обращается в привычку и таким образом священник,

самый благонамеренный, честный и умный, грубеет, мужичится и делается, незаметно для себя самого, пьяницей. Будь у молодого священника, тотчас по поступлении его в приход, отдельное и удобное помещение, и не находишься он в такой безусловной и невыносимо-тяжёлой зависимости от каждого мироеда в средствах к своему существованию, — я уверен, это дознано мною собственным опытом, что он останется тем, чем ему быть должно, — и не падёт. Теперь же состояние священников зависит от их личного характера: с твёрдым характером берёт он за требы то, что ему дадут; но за то и он и дети его терпят страшную нужду; или теснит прихожан своих, насколько возможно. Люди же с характером слабым... спиваются.

По субботам у нас, как говорил я, были базары. Это дало мне возможность познакомиться с ближайшими священниками, потому что все, приезжавшие на базар, заходили ко мне. Первым зашёл ко мне некто о. Василий Тихомиров. После долговременного отсутствия, не более как с месяц, он возвратился в свой приход, и приехал к нам на базар. С ним была такая история: за нетрезвую жизнь он был назначен к посылке в П. монастырь, на два месяца, «**на исправление**». Чтобы быть принятым в монастырь, для этого нужно получить указ из консистории. Отправился о. Василий в консисторию. Месяца два он тёрся около консисторских дверей и — прожил лошадь, прожил упряжь, прожил рясу и насилу-насилу получил указ, чтоб отправиться в монастырь. Проживши там определённый срок, он просит у настоятеля аттестации, но настоятель говорит ему: «Ступай к преосвященному и прости место, а аттестат я завтра же вышлю преосвященному по почте». Явился Василий к преосвященному, но тот говорит ему: «Я не имею аттестации от настоятеля, а потому и места дать тебе не могу». Живёт Василий неделю, живёт другую, живёт и третью, — а

аттестата нет да и нет. Идёт Василий опять в П. к настоятелю; собрался совет и порешил, что Василию хороший аттестат написать можно; но только нужно подмазать, чтобы рука легче ходила, — нужно выпить. Купил о. Василий водки, — выпили; братия и говорит: «Кланяйся, Василий, настоятелю в ноги; чтоб он расхвалил тебя». Поклонился Василий настоятелю, а тот на волосы-то и наступил. Василий и так и сяк, а встать-то нельзя. Он схватил настоятеля за ноги, да и бац оземь. Братия бросилась на Василия, до полусмерти измяла его, да и вытолкала за обитель. После этого настоятель прислал аттестацию самую дурную. И послали несчастного Василия в другой монастырь, уже бессрочно, — до **исправления**. Здесь настоятелем был ректор семинарии Спиридон, человек очень добрый и строго преследовавший пьянство. При нём братии пришлось пускаться на фокусы. Нальёт, бывало, брат в штоф воды, закроет пробкой, да и заставит чем-нибудь в уголке, в шкафчике. На пол же, возле печки, положит три-четыре поленца дров, поставит ведёрко с водой, горшочек и кувшины с водкой. Всё это прикроется кружочками. Входит настоятель в келью, и прямо к шкафу. «Э! пьяница, пьяница! Водка, водка!» Понюхает, попробует — вода. На те же посудыны, что на полу, и не обратит внимания. Из этого монастыря Василий выбрался скоро, благодаря ходатайству помещика, покойного Чекмарева. Из монастыря Василий пошёл домой, продал там другую лошадь и выручил на неё указ на должность.

В это время с Василием было в монастыре много дяконов, дьячков и пономарей, человек до ста, на исправлении в поведении за нетрезвую жизнь. Незадолго пред тем, архиерейским домом была приобретена дача для преосвященных. Приобретены были только фруктовый сад и лес. Исправляемым и было велено днём работать на даче, а ночевать в

монастыре. Оказалось, что одни из исправляемых были хорошими плотниками, другие здоровыми землекопами. В несколько месяцев они нарыли прудов, наделали водопроводов, рыбных садков, гротов, искусственных родников, беседок, цветников, и пр., и пр., и дача стала на славу. Исправляемые днём обыкновенно в саду — работали, а по ночам в монастыре — безобразничали.

Однажды вечером приходит ко мне дьякон и говорит: «N. N. собирается женить сына. Он богатый, но скряга страшная. Ныне осенью я собирал хлебом, он вынес мне всего только полрешетца; на праздник никогда и закусить не попросит, и рюмочки водочки не поднесёт. Я пригрозил ему. С него надобно взять побольше, чем с других; теперь только и прижать его, чтобы он помнил».

— Сколько дают у вас за свадьбы?

— Бедный даёт рубль, а богатый три; а с N. N. возьмём шесть.

— Так не годится. Мы положим всех поровну, в роде таксы, среднее число — 2 рубля. Это вот почему: бедный не даёт и не даст никогда ничего, — за это мы ему рубль прибавим. Богатый даёт и даст всегда, — за это мы ему рубль убавим. А накладывать на N. N. против других 3 рубля — это бессовестно, я этого не сделаю.

— Так вы хотите и с N. N. взять только 2 рубля? Я не пойду и венчать, не пойдут и дьячки.

— Как знаете.

Дня через два приходят ко мне дьякон, дьячок и пономарь и говорят, что N. N. за свадьбу даёт уже 4 рубля, и что они просят 6, и чтобы я не уступал ни копейки. «Вы одни, — говорят они, — и изо всего дохода берёте половину: что нам

троим, то вы берёте одни. Вас всего двое, а нас с женами и детьми — 18 человек. Вы — наш отец, должны заботиться и о нас и о наших детях. N. N. десять вёдер вина купит непременно, — пропьёт в десять раз больше того, чем мы просим. Кто заботится о нас? Никто, хоть сдохни с голоду. Стало быть: что можем сорвать, то и наше. Вот и Z. хочет тоже сына женить. С него уж больше 1 рубля не возьмёшь. Из этого рубля полтинник возьмёте вы, а полтинник на нас — 18 человек. Нет, уж как хотите, а мы готовы кланяться вам в ноги, пожалейте нас, не уступайте».

— Но, братцы, притеснять, при требоисправлениях в особенностях, — дело не христианское.

— Это мы знаем сами очень хорошо. А смотреть на разутых, раздетых детей — дело христианское? У меня, вы слышали, небось, два парнишка в училище. Вы посмотрели бы, в чём они ходят! Они и домой на Рождество не приезжали потому, что не в чем приехать. Кто определял — по сколько брать за требы? Мы думаем, что 6 рублей мало, а мужик думает, что и 1 рубля много. Спроси мы 50 копеек и он скажет: возьмите 20. Нет, батюшка, не уступайте.

В это время вошёл N. N. и, ни слова не говоря, упал на колени и стал умолять взять 4 рубля за свадьбу. Насилу я уговорил его встать. Долго причт мой торговался с мужиком. Мне насилу удалось, наконец, уговорить их, чтобы одни убавили рубль, а другой прибавил рубль. Таким образом дело уладилось на 5-ти рублях.

Тяжело мне было, когда я проводил всех. «Кто же я теперь?» — думалось мне. То я мужиков поил, а теперь вынудил дать мне, может быть, непосильную плату за совершение таинства!... Я чувствовал себя как бы преступником.

В следующее воскресенье я говорил поучение. Я говорил, но уже чувствовал, но у меня нет той искренности, той сердечной теплоты, какая была вначале... Я говорил, но мне чудилось, что мне как будто кто-то подсказывал: «А помнишь, как ты поил сам мужиков? А помнишь, как мужик на коленях умаливал тебя, чтобы ты не теснил его?» Я говорил, но чувствовал себя каким-то падшим...

По принятому обычаю, каждую субботу мы делили братскую кружку и каждый раз мне доставалось около рубля — иногда немного больше, иногда немного меньше. Тут мне досталось много больше, когда мы взяли с N. N. 5 рублей. Как только разделим кружку, то и отправляемся — я или жена — на базар делать закупки: возьмёшь чайку, сахарку по малой толике, купишь чашечку, горшочек и ещё что-нибудь в этом роде, и таким образом мы заводились своим хозяйством. Когда мы взяли с N. N. 5 рублей и мне досталось из кружки больше обыкновенного, то я был так рад возможности купить себе что-нибудь в дом лишнее, что и забыл о том, с каким гнётом совести доход этот добыт мною.

VI

Пришёл великий пост. Все семь недель я служил изо-дня в день и могу только сказать, что я каждый день промерзал до костей и мозгов. Церковь каменная, холодная, сырая, в окна и двери дует ветер, — а ты стоишь и застываешь до окоченения, — так и слышишь, как бьётся у тебя в груди и стынет! Приходишь из церкви, — руки и ноги ломают, голова горит, болит и сам весь, как изломанный. В понедельник, вторник и среду, в три раза — утреню, часы или обедню, и вечерню, — приходилось стоять часов по 6 в день. С четверга начинали исповедоваться и эти остальные дни недели приходилось стоять на морозе и сквозном ветру часов по 14. Тут приходилось стоять с раннего утра до поздней ночи неподвижно, и лишь только сбегаете бывало домой закусить на несколько минут. Стоя столько времени неподвижно, до того застываешь, что насилу, потом, сдвинешься с места. На первой и второй неделях исповедовалось человек 700–800; к концу поста дошло до 100. Руки и ноги стынут, и вся кровь приливает к голове. Голова до того начинает гореть и болеть, что сил нет выносить. Единственное средство, которое, обыкновенно, употреблял я и употребляю теперь при этом, — это, как можно чаще прикладывать к голове снег.

Очень нередко случается, что ты стоишь в церкви и мёрзнешь, а тебя уже дожидаются ехать в деревню к больному, и иногда в страшную бурю. Это уже окончательно убивает и душу и тело. О том, чтобы напиться чаю, закусить, отогреться, отдохнуть, — нечего и думать. Случается иногда и так: вечером, только что ты успокоился, отогрелся и думаешь поотдохнуть ночку, — а тут: «Батюшка, хозяйку причащать!» Да так до свету и проездишь. «Что ты, говоришь ему, не приезжал днём?

Я ведь только, было, лёг отдохнуть!» — «Знамо, мы не дадим отдохнуть; уж ваше дело такое». Вот тут и толкуй с ним.

Да, сельского священника все умеют только осуждать и печатно позорить; людей, сочувствующих ему, — очень, очень мало; но нелишне было бы, хоть иногда, вникнуть в жизнь его и беспристрастно. Хоть бы общественным сочувствием подкрепился, иногда, упавший дух!...

Постом вознаграждение за труды бывает только нравственное — удовольствие, что прихожане говеют. Большинство женщин за исповедь, обыкновенно, не платят ничего; малолетки — уже непременно ничего; мужчины платят, все, и, в прежнее время, пятак (1 1/2 коп.), а ныне 2 или 3 коп. серебром. В первый великий пост я, за ежедневные семинедельные труды, как значится в сохранившейся до сих пор приходной моей тетрадке, получил 9 руб. 18 коп. медью (2 руб. 62 1/2 коп. серебром).

Пришла Пасха. Причт мой торопился, суетился, метался во все стороны и к делу и без дела. И по движениям и по лицам ясно было видно, что он несказанно рад так долго ожидаемому празднику. Нет сомнения, что радость эту возбуждало не христианское чувство о воскресшем Спасителе мира, а то, что теперь открывалась возможность с лихвою вознаградить себя за все лишения, — и голод и холод, — понесённые им великим постом.

В сёлах на св. Пасху служат молебны во всех домах прихожан; при этом носятся несколько икон, большей частью пять; мужики, носящие иконы, называются богоносцами. При крепостном праве иконы крестьяне носили «по обещанию», — чтоб Господь избавил, или за то, что избавил от какого-нибудь несчастья и болезни; а теперь, — когда стало возможно брать

невест, где угодно, — иконы носят, преимущественно, холостые парни, и высматривают невест.

Я знал и прежде, что при пасхальном хождении, кроме поющих, за иконами ходит много и припевающих; но не знал, сколько будет этих припевающих теперь, и как они будут вести себя; потому, не увидевши всего собственными глазами, не хотел нарушать порядка, освящённого веками, и не сделал никакого распоряжения. В первый же дом мы явились: поп, дьякон, дьячок, пономарь, пятеро богоносцев, церковный сторож, дьяконица, дьячиха, пономарица, просвирня, четыре юнца — детей дьякона и дьячка и шесть старух-богомолок, итого 25 человек, а сзади целый обоз телег. Крестьяне встречают священника с хлебом-солью, у ворот; хлеб этот во время молебна лежит на столе, потом он отдаётся причту. Для этого и идёт телега; на неё же кладутся и яйца, с которыми христосуются члены семейств с причтом. А так как собирают и хлебом и яйцами и бабьё, — дьяконица, дьячиха и пр., то и они тащат одну, или две телеги. Таким образом на каждый дом крестьянина делается целое нашествие.

В первый ещё дом все явились уже навеселе и чувствовалась только суетня и теснота; но дворов через 15–20, перепились все и далее ходить не было уже никакой возможности. Богоносцы шли впереди меня и, по очереди, успевали выпить до меня; а хвост мой, на просторе, имел возможность пить, сколько угодно, таким образом скоро перепились все до единого, кроме ребятишек и старух. Войдя в дом я начинал петь, за мной вваливала вся толпа, но вваливала не затем, чтобы молиться, а всякий, наперерыв один перед другим, старался поскорее с хозяином и хозяйкой похристосоваться, схватить яйцо, грош и маленький, нарочито для этого случая испечённый, хлебец. Ввалит толпа, — и пойдёт шум, гам, возня,

ссора!... Беда, если кто схватит что-нибудь не по чину, — пономарица, прежде дьяконицы, просвирия, прежде пономарицы, дьячков мальчишка, прежде дьяконова! Всякий старался только о том, чтобы поскорее схватить что-нибудь и не остаться без подачки, и больше не думал ни о чём; о благоговейном же служении тут не могло быть и речи, даже между членами причта, а хвост, — так, просто, потеха! Выносит, например, хозяйка хлебец, нужно бы, по чину, взять дьяконице, а дьячиха, откуда ни возьмись, да и схватит, — ну, и пошло писать! Тут помянутся все прародители, да и с детками!... Не скоро, вероятно, хозяева приходили в себя, когда мы отваливали! Наконец я увидел, что один член причта, тычась носом сам, ведёт под руку свою благоверную супружницу, тоже крепко клюнувшую. Я велел тотчас отнести иконы в церковь, а сам ушёл домой. Причт мой был несказанно рад, что я дал отдохнуть ему и выспаться.

Поутру я призвал к себе причт и сказал, чтобы ни жёны, ни мальчишки, ни старушонки, — никто не ходил с нами. Причт мой почёл это и оскорблением и разорением, и неслыханным нововведением и начал, было, горячо возражать мне; но я решительно сказал всем, что если они не сделают так, как я велю им, то я не пойду совсем и лишу их последнего дохода. Согласились; всё бабье осталось дома, при нас стал ходить только церковных староста для продажи свеч; богоносцам же я пригрозил, что прогоню всех ту же минуту, как только замечу в выпивке. И мы стали ходить без всякого гаму. Но вековая нужда укрепила и вековые привычки: дьяконица не вытерпела и начала шмыгать по дворам, дворов на десять от нас позади; за ней вышла другая, третья, ребятишки — и пошли, из двора во двор, целым табором. Утром нужно было ехать в деревню и я объявил причту, что если чья-нибудь жена их явится туда, то

я сию же минуту уеду из деревни. Не приехала, действительно, ни одна; но за то причт мой отмстил мне самым жестоким образом: дворе в десятом все трое были пьянёхоньки. Я один прошёл три деревеньки, отстоящие одна от другой вёрст на пять. Распутица была страшная: нельзя было ехать ни в телеге, ни в санях, ни даже верхом, и я должен был идти пешком, проваливаясь в мокрый снег и воду на каждом шагу; приходилось делать огромные обходы, или переползать через овраги и речки по сугробам и льдинам, под которыми вода клокотала. Такие переходы, конечно, прямо угрожали жизни, но... нужда опасности не знает.

На следующее утро я объявил причту, что я тогда только поеду в деревни, если все они дадут мне честное слово, что они пить водки не будут ни одной капли. Слушая мои увещания, дьячок задумался, улыбнулся и говорит: «Я, пожалуй, не стал бы пить, да, право, батюшка, стыдно. Станут подносить, а я и скажу: «Я не пью». И самому-то странно выговорить этакое слово, — «не пью», да и мужиков-то удивишь и никто не поверит. Ведь, хоть разбожись, не поверят. Григорьич не пьёт!... Не то, что мужик, а я и сам-то не поверю себе, если я выговорю этакое слово». После долгих колебаний и просьб, я всё-таки получил обещание не пить, и действительно никто не выпил ни капли. Я радовался от всей души.

Заручившись обещанием дьякона не пить, я поручил ему получать плату за молебны. Это много ускорило нашу ходьбу. Мужик, обыкновенно, делает не торопясь всё, — с охотой ли он делает что-нибудь или нехотя, — это всё равно. Поэтому, пока он возится со своим мешком, я успеваю отслужить в следующем дворе весь молебен, так что дьякон приходил только к самому концу. При расплатах у дьякона, очень нередко, бывал с мужичком и торг. Несколько раз я, под каким-нибудь пред-

логом, нарочито останавливался послушать эту забавную и вместе грустную сделку. Такие сделки бывали чуть не в каждом доме. Мужик непременно даст три-четыре коп., дьякон: «Что ты, Фёдор Иваныч, побойся Бога: за пасхальный молебен 3 коп.! Всё уж надо гривенничек!»

— Э! отец дьякон, гривенничек! Больно много, жирен будешь!

— Уж так с твоего гривенника и разжиреешь! Не бойсь, не разжирею! Прибавь, не скупись, прибавь!

Мужик вынимает ещё 5 копеек.

— На, вытянул!

— Нет, уж, не жалея, прибавь, тебе Бог веку прибавит. Дотягивай до гривенника-то.

— Так вот, за то, что я тебе прибавлю, и веку Бог прибавит! Будет, больно жаден.

— А я тебе говорю, что прибавит. Не за гривенник, а за доброту твою Бог веку прибавит. Доброго человека и Бог любит.

— А ты, видно, не хочешь, чтобы тебе Бог веку-то прибавил, выжимаешь гривенник-то? Будет восемь копеек, чего тебе ещё?

— Да, ведь, восемь-то кабы мне все; а то ведь нас четверо, из них мне только 2 копейки. Пасха-то одна в году-то, гривенник-то можно дать.

— Пасха! Чай не одна Пасха! А праздник, Рождество, Крещение? Только и знай, что плати.

— Ну, доживи, сперва, тогда и говори.

— Будет, будет, ты ведь цыган!

Однажды мужик вынул из кармана мешок, запустил туда руку и стал перебирать гроши. Дьячок мой, Григорьич, наклонил на сторону голову, глядит на мешок и певучим, жалобным голосом, пресерьёзно, протянул: «Истощайте, истощайте до основания его» (Псал. 136,7)! Я не мог удержаться от смеху.

Так, почти, всегда бывает у нас при молебнах. Видно, иногда, что мужичок молится с полным усердием, радуешься, смотря на него и вдруг это чувство умиления обрежут торгом. Брать же то, что дают, — ходьба не будет стоить сапог. Городское духовенство делает то же самое. Только разница в том, у нас торг оканчивают гривенником, а там с гривенника начинают. Единственные люди, в этом отношении, не унижающие своего достоинства, — это священники при казённых учебных заведениях, получающие жалованье. Они одни составляют исключение.

VII

В селе нашем было два священнических домика, — один, оставшийся после предместника моего, о. Андрея, о котором говорил мне староста, что он много вывез казны; другой, оставшийся после священника, умершего года три тому назад. Первый был на 2 1/2 саженьях, состоящий из одной комнаты, с кухней через сени, под общей соломенной крышей, с амбарчиком и плетнёвой огородкой; второй на 4 саженьях, тоже с соломенной крышей, но без всякой огородки и пристроек. В первом квартировал сапожник, во втором жила хозяйка — вдова, с двумя малолетними детьми, питаюсь шитвом, подаванием и получая пособие от «попечительства о бедном духовенстве» при три рубля в год на ребёнка.

С неделю спустя после Пасхи приходит ко мне староста и говорит: «Батюшка! Тебе, чай, надоело жить в мужицкой избе, да и «миру» тяжело держать тебя. Хоть бы другие деревни помоги, а то, — нет, всё мы, да мы. Ты знаешь: «мир» платит за тебя по рублю (ассигнациями) в месяц, да ослобоняет хозяина от подвод. Это «миру» не под силу. Покупай свой!»

— Денег нет, братец, покупать не на что.

— У вас всё денег нет. А как «мир» откажет от квартиры, так и деньги найдёшь. Хошь мы купим тебе у старой попадьи за шаль (за ничто)? Она живёт на мирской земле. Сноси, да и только! Давай нам землю! Хочет — не хочет, отдаст. Бери!

— Да на тебе иль креста-то нет, что ты хочешь сироту выгонять? Куда же она-то пойдёт?

— Куда знает: мы для тебя же.

— А я обижать и выгонять не буду.

— Ну, покупай Андреев.

— Хорошо, я напишу ему.

Через несколько дней ко мне привалил весь уже «мир» и потребовал от меня, уже настоятельно, чтобы я покупал свой дом. Идя ко мне «мир» зашёл ко вдове и чуть уже не выгнал её из её дома. Я сказал «миру», что притеснять сироту и безбожно и бессовестно; отказался покупать её дом, списался с о. Андреем; он уступил мне в долг за 200 руб. ассиг. и, через две недели, мы жили с женой уже «в своём» доме. Очувившись на свободе, в сухом и светлом домике, мы с женой почитали себя людьми счастливейшими в мире. После пятидесятилетних страданий нам не верилось, что мы можем жить теперь свободно. На что, бывало, ни взглянешь, — всё казалось нам и уютным, и удобным, и сподручным, — удовольствию не было предела!

После Пасхи весь мой причт, собственными своими горбами, принялся за пашню. Тут уж причт мой отличить от мужика нельзя было ничем: такая же плохенькая лошаде́нка, такой же кафтанишко, сапожишки и пр.; единственное отличие, — что из-под шляпёнок выбивались прядями длинные волосы. Вздумалось посеять десятинки четыре пшенички и мне. Но опыт показал мне, что священнику заниматься хлебопашеством совсем неудобно: во-первых, в семинарии мы много потратили и силы, и времени на изучение сельского хозяйства; мы учили и о различных удобрениях, севооборотах, земледельческих орудиях всех родов, — чего-то мы не учили! Но на деле всё это оказалось пустым и неприложимым... Кроме плохой церковной земли и обыкновенной крестьянской сохи, мы не имели и не могли иметь ничего. Вся наша семинарская премудрость, как была в голове, так там и осталась. Во-вторых, хлебопашество отвлекает священника от существенных его обязанностей: священник должен быть неотлучно дома, чтобы быть готовым явиться, для исполнения прямых его обязанно-

стей, по первому требованию. С хлебопашеством же это невозможно. Тут неизбежны опущения или по должности, или по хозяйству. В жнитво у меня было человек 15 рабочих подённых, я был в поле, за мной и приехали из деревни верстах в 13-ти. Я проездил более четырёх часов, без меня подёнщики мои не работали почти ничего. Стало быть я и заплатил, попусту, за 60 рабочих часов. Не ехать, тоже невозможно: больной мог умереть. Поэтому, с первого года, — с первого опыта, — я не занимаюсь хлебопашеством весь свой век. Кроме того, чтобы извлечь из земли капитал, для этого нужно сперва капитал вложить в землю. А этого-то у нас и недостаёт.

Не успел причт мой окончить пашни, как приехал благочинный, с повесткой, что на другой день приедет к нам преосвященный и что впереди его едут певчие. Благочинный осмотрел церковь, документы; всё что нашёл нужным, велел исправить и уехал. И поднялась у нас суматоха! — Причт мой принялся, первым делом отпариваться, отмываться и убирать всё в церкви. Я с женой — закупать водки, мяса, кур для певчих; послали в город купить, для приёма преосвященного, получше чайку, вина, рыбы, икры и т. д. Везде и всё убрали, вычистили, у ворот и на дворе посыпали песком, — и ждём. Видим, вдруг, мчатся к церкви четыре тройки с народом неопределённого рода и вида. Весь этот табор помахал, покричал и направился к моему дому. Это были певчие хора его преосвященства с протодиаконом и иподиаконами во главе. Вся компания ввалила ко мне, и кто в чём... Один в кафтане на распашку и в измятой шляпёнке; другой — сюртуке и в одном белье; третий в халате, белье, без фуражки и с сапогами под мышкой, которые он натянул уже в комнате, словом: пестрота — на подбор. Я уже по опыту знал, как принимать этих господ: не говоря лишнего слова, я разостлал среди двора кошмы,

поставил на средину четверную, несколько стаканов, закуску и гости мои принялись кто за что! Мальчуганов я позвал в комнату, жена напоила их чаем и накормила. Сельского старосту, между тем, я заранее намуштровал, чтобы лошади были заложены тотчас и всеми силами торопил гостей моих ехать. Староста, мужчина грубый, дело своё сделал, действительно, хорошо: гостей моих он донял так, что они были у меня менее часу. Прощаясь, я дал протодиакону 2 руб., иподиаконам по 1 руб., регенту 3 руб. и маленьким певчим 50 коп. на орехи.

Утром мы с сельским старостой выслали на дорогу двоих верховых, потолковее, чтобы известить нас о приезде преосвященного, дабы заранее начать благовест. При этом я крепко-накрепко наказал, чтобы гонцы спросили кучера, кто это едет, потому что я знал, что часто бывало: завидит сторож с колокольни экипаж, да и начнёт отжаривать «во вся»; а там, после, и окажется, что жарили-то для какой-нибудь мирно проезжавшей барыни.

Прискакали вестовые, — начался благовест; завиднелась карета, — зазвонили во все.

Преосвященный ездил необыкновенно шибко, так что благочинный с исправником, ехавшие впереди, едва могли прискакать минуты за две.

После обычной встречи, преосвященный велел подать себе в алтаре стул, позвал причт и стал экзаменовать; сопровождавший же его о. протоиерей стал пересматривать церковные документы.

— Скажи-ко мне, дьякон, сказал преосвященный: что это такое в десятой заповеди: «Не пожелай... ни села его, ни раба его?» Что такое: ни села?

— А... а... а... Чтобы мы не желали села.

— Что называется селом?

— А... где вот есть церковь, — это село; а где нет, — это деревня.

— Дурак, дурак, дурак! Ну-ко ты, дьячок!

Этот отвечает без запинки:

— Если, к примеру, живут русские, то село; а коль хохлы, — так слобода.

— Дурак, дурак, дурак! Пономарь!

Пономарь мой был законник.

— Это, ваше преосвященство, при Моисеевом законе звали селом; а в Новом Завете, — при Иисусе Христе, — весью: «Вниде Иисус в некую весь, жена же некая»...

— Ха, ха, ха! Моисеев закон, жена некая... И ты дурак! Все вы дураки!

Преосвященный обращается ко мне:

— Отчего они у тебя все дураки?

Надобно заметить, что преосвященный говорил при отворённых дверях, на всю церковь; все на нас смотрели и слышали всё до словечка.

— Если б, ваше преосвященство, не изволили к нам ныне приехать, то мы ныне все пахали бы. Все они бьются, изо-дня в день, из-за куска хлеба. О книге-то некогда и подумать.

— Дураки, дураки! Ну, пашут... Ложатся же отдыхать? От нечего делать, чем так валяться, — и взял хоть катихизис. Дураки! Ну, а ты сам-то не забыл ещё, не изленился?

— Кажется, что ещё не забыл. Но здесь можно забыть всё скоро.

Преосвященный помотал головой: «Дураки, дураки!»

Преосвященный вышел на амвон и спрашивает:

— Каков у вас причт? Хорош-ли, довольны-ли вы им?

— Все духовники хороши, ваше просвещение, мы всеми довольны, — грянул весь народ.

— Пьянствуют они у вас?

— Нет, ваше просвещение, и в рот не берут.

— Не хороши, так я сейчас всех вон выгоню, говорите правду!

— Хороши, ваше просвещение, хороши!

— Они все дураки!

— Нет, ваше просвещение, хороши! Лучше и не надуть!

— А молодой священник хорош, довольны вы им?

— Хорош, ваше просвещение, довольны!

Преосвященный обращается ко мне: «Живи, смотри, не ссорься.

А то, знаешь?» При этом он погрозился мне пальцем.

Преосвященный пошёл из церкви, народ бросился принимать благословение. Я с отцом протоиереем пошёл позади. Отец протоиерей и говорит: «У вас в метриках есть помарки. Следовало бы занести это в журнал, но...» В это: «но», я сунул ему в руку 3 руб. «Но... по вашей молодости, я не внесу, а то, непременно, оштрафуют». Тотчас подвернулся и архиерейский служка: «Поздравляю вас, батюшка, с благополучным приездом владыки!» Я сунул и ему полтинник.

На крыльце я попросил преосвященного к себе в дом отдохнуть и откушать стакан чаю.

— Где ты живёшь, далеко отсюда?

Я указал.

— Это маленькая избёнка-то? Да у тебя там и повернуться-то негде!

В это мгновение, откуда ни возьмись приятель мой Агафонов: «Ваше преосвященство! Осчастливьте вашим посещением дом моего доверителя, помещика Ж. Мы с женой готовились, и она ждёт вас. Я отпишу доверителю моему в Москву, что вы осчастливили дом его своим посещением.»

— Здесь, в селе?

— Нет, но недалеко, ваше преосвященство, всего версты три-четыре только.

— По дороге нам?

— Хотя немного, и не по дороге, но я прикажу заложить своих лошадей, так что времени, ваше преосвященство, не потеряете.

— У вас здесь свои лошади?

— Да, свои.

— В таком случае отец протоиерей поедет на ваших лошадях, а вы укажите нам дорогу, поедемте со мной.

Итак: благочинный с исправником испросили благословение ехать в следующее село, отец протоиерей сел в Агафоновский экипаж, Агафонов полез в карету, а я, повесив голову, пошёл домой...

На другой день приехал ко мне Агафонов ликующим. Он нашёл, что преосвященный очень умный и образованный человек; что он просил Агафопова бывать у него всегда, когда только бывает тот в городе; что он, Агафонов вызвался позаботиться об оштукатурке церкви, о поновлении иконостаса и о поправке ограды: что преосвященный благословил его быть попечителем, а мне приказал убедить прихожан к сбору необходимой суммы.

— Это дело нужно, батюшка, делать скорее. Доверитель мой Ж. скоро приедет, месяца на полтора сюда. Я должен ехать

в город для закупок к его приезду; буду, конечно, у преосвященного, что я скажу ему, если мы не устроим этого дела? Вся вина падёт тогда на вас.

— Вы вызвались быть попечителем, — ну, и пекитесь; а я-то что сделаю?

— Моё дело нанять рабочих и смотреть за работой; а убеждать прихожан, собирать деньги, — это дело священника.

Немного мы поспорили, а всё-таки порешили созвать, чрез неделю, всех прихожан.

Дня через три-четыре я купил себе коня за 80 руб. ассигнациями. Сорок рублей я заплатил, а другие сорок мне поверили на пять месяцев. С лошадьёю я обзавёлся и упряжьёю и тележкой.

VIII

Имея свою лошадь, мне вдумалось повидеться с другом моим по семинарии, Егором Фёдоровичем Б. Он был от меня в 18-ти верстах. Мне давно хотелось повидеться с ним, но никак не удавалось сделать этого. Егор Фёдорович был славный, добрый, кроткий, умный товарищ и один из лучших учеников семинарии.

Вхожу в двор и вижу: мой добрейший Егор Фёдорович, в одной сорочке, разувшись, засучивши выше колена брюки, мнёт ногами кучу мокрого навоза. Молодая и красавица жена его лопатой подгребаёт ему навоз и носит воду.

— Что это ты, сосед, делаешь? — закричал я ему.

— Видишь, дружище: нас в семинарии обучали всяким премудростям, но не учили, как делать кизики. Вот я с женой теперь и практикуюсь.

Егор Фёдорович сейчас обмылся, умылся и оделся; я, в этом время, убрал лошадь и мы вошли в избу. Квартира его была простая мужицкая изба.

— Неужто тебе, — спрашиваю я, — не на что купить дров и даже не на что нанять рабочих делать кизик?

— Хоть убей, — ни гроша. Вот тебе, братец, и ученье! Сидели- сидели в семинарии лет по 10–12, да и высидели. Там нам всё толковали: пастырь, пастырь, — а выходит, что слово это нужно прикладывать к нам в русском переводе. Что я теперь? Я живу хуже всякого пастуха. Тебе вот хорошо, — ты слышь, купил свои палаты, дров у вас много, даст всякий. Пожил бы ты вот тут! Я уже почти решил применять к жизни арифметическое правило: «Чем больше, тем меньше; чем меньше, тем больше», т. е. чем больше будет у меня совести, — тем меньше буду иметь доходу; чем меньше совести, — тем

больше доходу. Я почти решился драть за каждую требу; но как-то не совладею с собой, — стыдно, жалко! А когда пойдут дети, тогда что делать-то? Теперь вот хотелось бы почитать что-нибудь, но нет ни единой книжки во всём околотке. Ведь у меня в приходе восемь помещиков и два купца-хлеботорговца. Собак они надают сколько угодно, и каких угодно, пожалуй и водкой напоят; но книги, — не взыщите. Хотелось бы и пописать что-нибудь, чтоб не разучился писать; а тут говорят: «Ступай-ко, наделай сперва на зиму кизиков!»

— Ничего, хорош приход и у меня, — я только что не делаю кизиков.

Егор Фёдорович захохотал звонким, но болезненным смехом:

— Хорош, плохой! Мы, пастыри, разделяем свою паству на хорошую и плохую: но в каком смысле, — в нравственном ли, как бы следовало? Никто и никогда делить их так и не думал. Много даёт доходу, — значит хорош приход; мало, — значит плох. А будь все прихожане, хоть поголовно, Стеньки Разины, — всё равно. При оценке прихода, никто не берёт во внимание нравственное его состояние. А отчего это? Оттого, что нам даются приходы без всякого обеспечения нас в нашем существовании. Приезжаешь, вот как я сюда, и видишь, что стараться-то приходится не о том, чтобы утвердить в народе святую веру; а о том, чтобы самому не подохнуть с голоду и не замёрзнуть зимой без кизиков; думаешь не о народной нравственности, а о том, чтобы от нужды, сраму и горя самому не сделаться пьяницей.

Я ночевал у Егора Фёдоровича, и мы проговорили с ним всю ночь. Он изъявил желание проводить меня до с. Ек. и вместе заехать познакомиться с **о. Фаворским**, известным в

тех местах хозяином, чтобы поучиться у него житейской мудрости.

Дом о. Фаворского не отличался барской роскошью, но он не уступал хорошему купеческому деревенскому дому: тут были и амбары и амбарчики, и конюшни и конюшенки, и курятники и гусятники, и подвалы, и — всякая всячина, словом: дом его был полная чаша. Самого хозяина мы нашли на гумне. Хозяин подал нам руку, но не сошёл с места и зорко следил за рабочими. На гумне молотили на две кучи. В одной — человек 10 мужиков, в другой столько же парней и девок. Мы постояли, посмотрели и спрашиваем: для чего молодые работают отдельно от старых?

— Это, други мои милые, женихи и невесты. У меня, кто задумает жениться, говори заранее и день отпаши мне, день откоси, день жни и день молоти. Без этого я и венчать не стану. Деньгами что с них возьмёшь, пять-шесть рублей только? А жить надо. Невесты: день сгребай сено, день жни и день молоти. Это уж ты там как знаешь, а работать иди. Порядок этот для всех у меня. А чтобы я видел, что они работают, а не жируют, — вот я отдельно их и ставлю от наёмных.

О. Фаворский послал одну девку за сынишком, лет 12-ти, велел ему стоять и смотреть за рабочими, а нас позвал к себе в дом. Принял он нас очень радушно и сейчас весь стол был заставлен и винами, и наливками, и закуской.

— Как вы, други мои милые, устроились, обзавелись-ли вы своим гнёздышком?

— Плохо, говорю я. Я-то купил себе в долг избёнку, да такую, что преосвященный даже и не пошёл в неё; а вот Егор Фёдорович до сих пор живёт в крестьянской избе. Вчера я,

знаете ли, за каким делом застал его? Они, вдвоём с матушкой, сами мяли навоз для кизиков.

— Как? Сами делают кизики? Да вы, видно, оба со совей матушкой с ума сошли? Сами делаете кизики!...

— Нет денег, нанять не на что.

— Ты мне скажи: кого же ты хочешь удивить этим? Ну, послушай; придёт к тебе прихожанин звать крестить, хоронить — звать в церковь, — а ты весь в навозе? Ты этим, друг мой милый, теряешь всякое уважение не только к себе, но и к своему сану.

— Да денег нет, говорю я вам!

— Ты трудишься, — крестишь, хоронишь, — это дело твоё. За это возьми плату. Найми мять кизик мужика, — это дело его. За это заплати ему ты. Ты думаешь, что кто-нибудь оценит твоё бескорыстие? Ничуть! Никто и ничего делать даром тебе не будет. Зачем же ты для всех будешь делать даром? Кого, вообще, у нас уважают, чьего голоса слушают? Бедняков, крепостных? Нет! Есть состояние, — ну, и почёт, и влияние; нет состояния, — нет и влияния. Ну, вот вы, я вижу, оба люди бескорыстные; и можете похвалиться, что вас слушаются мужики, уважают вас? Да, я думаю, мужики-то на вас и глядеть-то не хотят. Посмотрите-ко у меня! Я и представить не могу себе, чтобы мужик не послушал меня в чём-нибудь. Я тружусь и день и ночь, — мужик это видит. Зовут меня, например, крестить, хоронить, — мужик видит, что он отрывает меня от дела, — за это и плати мне. Позову его к себе на работу я, — заплачу ему и я. Постом исповедуются: я тружусь, служу тебе неделю, стою и исповедую — 5 коп. На пасху: я хожу по пояс в воде и грязи, служу — 20 коп. На всякую потребу у нас положена такса, торгу не бывает. Вы сделать этого не можете, на вас будут

роптать, потому что ваших трудов никто оценить не может. Придёт мужик к вам, видит, что вы читаете, — ну, и значит, что вы не делаете ничего, — он не поймёт, что отрывает вас от дела; а стало быть и труд ваш ничтожен и платить вам не за что. А если ещё вы будете надеяться на его доброту и брать только то, что даст он вам сам, то вы и будете весь свой век мять кизики. Беспреданным трудом и достаточной оплатой за требоисправления, я нажил себе настолько достаточное состояние, что я не завишу ни от кого, никто мной не помыкает, никто не посмеет в глаза мне смеяться надо мной, а напротив я повелеваю приходом. Я выписываю, неугодно ли взглянуть, много книг, содержу двоих сыновей в семинарии и одного в университете. А вы, со своей простотой, и сами будете весь век нищими, если, ещё к тому, не сопьётесь; и приход уважать вас не будет, и детей не воспитаете. Значит: вы погубите и себя и детей.

— Что вы делаете, если вы с рабочими в поле, и за вами приедут звать вас к больному?

— Что? Сейчас поеду. Но ведь я работу знаю. Я и назначу сколько они без меня должны сделать, и назначу безобидно, по всей правде. И рабочие знают, что меня не обманешь. Сделали, — хорошо, не сделали, пробаклушничали, — не взыщи, — вычет.

— Но что же мне-то делать теперь? На зиму нужно готовить отопление, а у меня нет ни копейки денег. Приходится по неволе работать самому.

— Найми. Я тебе дам денег, а сам не срами ни себя, ни нас всех. Купи себе хоть небольшой домишко. Я без процентов дам тебе денег, чтоб ты не кланялся мужику, да и сам немного приободрился. Но только непременно установи таксу за всякую потребу, объяви об этом всем, и трудись, как я. Как только ты

выйдешь из зависимости от своих псарей-дворян и мужиков, то посмотри, что все они совсем не так будут смотреть на тебя. Вы, конечно, смотрите на меня, как на торгаша, как на кулака; а я понимаю себя не так: я думаю, что я понимаю свои пастырские обязанности не хуже вашего. Зачем я хочу дать тебе денег и купить тебе дом? Затем, что я вижу, что ты слабого характера и можешь погибнуть. От нужды и горя много погибло хороших людей из нашего брата. Вот я и хочу поддержать тебя на первое время. Понял? Впрочем, завтра мы потолкуем с тобой. Завтра я сам приеду к тебе и устрою тебя.

Часа четыре мы пробыли у о. Фаворского и уехали, напутствуемые благожеланиями.

IX

В следующее воскресенье собрались изо всех деревень прихожане, явились и вызванные Агафоновым из уездного нашего города подрядчики и начались толки о поправке иконостаса и ограды и о штукатурке церкви. Долго спорили и толковали и, наконец, порешили церковь оштукатурить, но с рассрочкой уплаты денег на два года; прочую же работу отложили до урожайных годов. Написали приговор. Все прихожане попечителем назначили меня, а Агафоновские крестьяне — его.

Агафонову нужно было ехать в губернский город за покупками к приезду барина. Он ужасно был рад случаю съездить в город, чтобы побывать почётным гостем у преосвященного и высказать перед ним своё усердие к благолепию храма Господня, и мы поехали с ним подавать прошение преосвященному о разрешении на починку церкви.

Приходим в архиерейский дом. В передней он сунул что-то лакею и попросил его доложить преосвященному. Чрез минуту лакей попросил его в гостиную, а я остался в лакейской.

С час Агафонов пробыл у преосвященного. В это время прошёл к преосвященному, мимо меня, один известный мне купец; приехала всем известная мироносица Е.А.Н.³ Прошёл один бульварный лев, тоже всем известный фат И.С.Г. Наконец вышел и преосвященный, провожая Агафопова, и стал в дверях из залы в переднюю. Я поклонился ему в ноги и принял

3 Мироносицами у нас зовут, обыкновенно, старых дев и вдов-барынь, трущих своими подолами архиерейские пороги.

благословение. Преосвященный сказал мне, что починка церкви им разрешена, что он «просил Александра Алексеевича (Агафонова) принять на себя труд наблюдения за работами» и приказал мне не вмешиваться в это дело и не мешать ему. Я поклонился в ноги опять и преосвященный ушёл.

Вскоре по приезде нашем из города приехал в имение своё и г. Жел., у которого солдат Агафонов был управляющим. Я отправился к нему с визитом. Вхожу, лакей загораживает мне дорогу в залу, говоря, что барин изволит завтракать, и предлагает мне подождать в передней. Я настоятельно потребовал, чтобы он доложил обо мне и прошёл в залу, когда тот ушёл к барину. Лакей возвратился и сказал мне, что барин изволили приказать мне подождать. Я сидел более получаса. Наконец, отворяется дверь и ко мне выходит господин немолодых уже лет, красноносый, почти безволосый, в халате с расстёгнутой грудью, в туфлях на босу ногу и длиннейшим чубуком в зубах.

— А, молодой священник! Молод, молод! Сколько вам лет?

— Двадцать два.

— Молод, молод! Напрасно таких молодых ставят в попы. В приходах, по деревням, им много соблазну... Знаете? Не знаю, как мы будем жить с вами, с прежними попами я всё ссорился. Помилуйте! За свадьбы они брали по рублю! Да разве это можно? Где мужику взять рубль? Мужик рубля не выработает и в неделю, а вы венчаете в каких-нибудь десять минут и за десять минут работы берёте по рублю. Нет, вы так не делайте, а то я и с вами буду ссориться. А архиерей, говорят, ныне у вас строгий!...

— Нет, не строгий, а очень умный, и на пустые жалобы не обращает даже внимания. Вы как бы хотели, — чтоб поскольку мы брали за свадьбу?

— Да самое большое, по 50 копеек.

— Чтоб нам с вами не ссориться, так я думаю, что много и этого. Ведь, по вашим словам, мужик рубля не зарабатывает и в неделю, нашей же работы всего 10 минут. Стало быть позволительно брать только 1 или 1 1/2 коп. за 10 минут дела!

— Ха, ха, ха! Я вас понял. Я и прежде слышал об вас. Берите по рублю, что с вами делать! Вы, батюшка, имеете привычку спать после завтрака?

— Нет, я не сплю и после обеда.

— А я так, грешный человек, люблю часок-другой соснуть.

Я встал и раскланялся. От барина я пошёл к управляющему его, Агафонову, попросить дров.

— Эх, батюшка, до дров ли ваших нам теперь! Вот проводим барина, месяца через полтора, тогда и присылайте, я вам хворосту воза два дам. Да, чай, в приходе-то не мы одни, что вы так уж непременно к нам!

От Агафонова я поехал к другому помещику, Чек-ву, приехавшему из Петербурга в деревню поохотиться, также как и Жел-н, за деревенской дичью... Чек-в вышел ко мне раскрахмаленный, раздушенный, — настоящая парижская модная картинка. С ним я был уже знаком, — до этого я ему уже делал визит. К себе его я, конечно, и не ждал, потому что это было бы из порядка вон, чтобы барин отплатил визит попу. Чек-в восторгался красотами природы, деревенской тишиной, чистотой воздуха, ароматом южных полей, лугами, лесами, простотой нравов и находил, что я в тысячу раз счастливее его, живущего весь свой век в столичной толкотне, где театры, клубы, вечера

решительно не дают ему покоя ни днём, ни ночью. Барин был необыкновенно любезен, предупредителен; но как только я заикнулся о дровах, то по лицу его мгновенно пробежала дымка; однако, он совладел с собой и, в самых изысканных выражениях, наговорил мне целые горы любезностей; он сказал мне, что он тотчас даст приказание управляющему, дать мне дров столько, сколько мне будет нужно на весь год; что из 2,000 десятин лесу, дать на две печи, ему не значит ровно ничего; что, напротив, сделать мне эту ничтожную помощь для него будет истинным удовольствием. При этом он просил меня обращаться к нему за всем, чем только он сможет служить мне.

На другой день, я увиделся с управляющим его и передал ему обещание его барина. Тот, с улыбкой, помотал головой: «Верьте вы ему! У него и отец такой же: наговорит, наобещает с три короба, а на деле сущий цыган. Уж если бы хотел дать вам, так он вчера же и сказал бы мне, а то ни слова. Вот я спрошу его».

Недели через две управляющий, после обедни, зашёл ко мне.

— Говорил я, батюшка, барину о ваших дровах; а он отвернулся от меня, засвистал и пошёл, не сказавши ни слова. Я говорил вам, что он цыган сущий. Вот как уедет так я пришлю вам, сколько вам угодно. У нас не то, чтоб рубить, а бурей ломает каждый год столько, что не токмо ваш флигелёк, всё село отопишь.

— Служит где-нибудь он?

— Нет, в отставке прапорщиком. Хочет, говорит, опять поступить на службу, да куда уж ему! Не то теперь у него в голове. Именье-то давно уж заложил.

Осенью, действительно, управляющий Чек-ва прислал мне дров на целый год.

Х

Предместники мои священники, всегда после обедни, давали просфоры или сами, или высылали с дьяконом: Агафонову, управляющему Чек-ва, целовальнику и писарю. Я, считая, что в храме Божиим все равны, не стал делать преимущества никому и просфор ни давать сам и ни высылать не стал.

Однажды летом приходит ко мне сельский писарь и говорит: «Вчера, батюшка, мужики делили луга. Вам отвели они? Своих лугов у вас нет; нужно было просить, а вы просили?»

— Нет, не просил, и не знаю отвели ли.

— Нет, не отвели, да хоть и просили бы, так они не отвели бы.

— Почему?

— Вот почему: до вас у нас священников было много, и все они были много постарше вас; много постарше, а почётных людей уважали и отличку от других им делали завсегда. Бывало, как отойдёт обедня, то дьякон и подносит на блюде просфору писарю. Где бы он ни стал, нарочно, иногда станешь в углу у двери, — везде отыщет. А в большие праздники дьякон станет возле священника на амвоне, с просфорой на тарелке, и ждёт писаря. Подойдёт писарь, а ему сам священник на блюде и подаст просфору. И видит всякий, что писарь не простой мужик, что и поп от всего миру отличает его. А вы ныне писаря сравнили с простым мужиком. Вот вам и сенцо!

— Так это ты сделал, что мне не отвели лугов?

— Я.

— И тебе не стыдно так говорить?

— Нет, не стыдно. Мне стыднее, когда вы приравнили меня к простому мужику. У вас нет ещё ни усов, ни бороды, а

меня и старики уважали. Надо мной теперь смеётся весь мир. Уж легче бы было, кабы этаку срамоту переносить от старика.

— Так ты вышел негодный человек, и с такими людьми я не хочу и говорить. С Богом!

Вечером я позвал к себе четверых влиятельных мужиков, напоил чаем, поднёс водочки и попросил травы. Чрез неделю крестьяне стали делить другую половину лугов и мне отвели вдвое больше, чем давали моим предместникам.

Жел-н сначала, по приезде в деревню, ездил к обедне каждый праздник. На долгие дроги посадит с собою девок шесть, приедет к обедне и станет со всей своей свитой перед амвоном. Однажды он и присылает ко мне в алтарь своего Агафонова с приказанием, чтоб я подал ему просфору. «Передайте, говорю, вашему барину: когда он будет ездить молиться Богу без девок, тогда я подам ему просфору». С этого времени Жел-н не был в церкви ни разу, так и уехал, и я больше не видел его.

При первом свидании Агафонов грозил мне чуть не Сибирью. «Барину, говорит он, стоит только доехать до архиерея, ну, и смотрите, что вам будет». Я вполовину не верил, но вполовину и верил, что Жел-н действительно может сделать мне зла много. С моим батюшкой, однажды, был такой случай: помещик Н.Б. имел обыкновение назначать невест женихам, по собственному его усмотрению, нимало не обращая внимания на желание или нежелание которого-нибудь из них. При этом он всегда делал так: девушку из состоятельного дома он непременно назначал бедняку, а иногда и прямо нищему, — какому-нибудь бездомовному пастуху, «для уравнивания состояния», как говаривал он. «Какую-нибудь лошащёнку, телушёнку и пару овец мужик для дочери всё уже даст. Иначе он в век не наживёт ничего», рассуждал барин. Красивого парня женил

тоже, непременно, на уроде, или красавицу выдавал, наоборот, за урод. «Это непременно так надо, говаривал он, для улучшения племя. Какие выдут дети, когда женится урод на уроде!» Пред свадьбой он, бывало, на восьмушке листа пишет батюшке: «Священнику N.N. Прошу венчать N.N. с Z.Z. Имею честь быть Н.Б.» Является, однажды, такая пара в церковь. Батюшка мой спрашивает жениха и потом невесту: «По собственному ли своему согласию вступают они в брак». Невеста заплакала, зарыдала и решительно заявила, что она утопится, или удавится, если её повенчают с этим женихом. Батюшка мой венчать не стал. Невесту, прямо из церкви, повезли на барский двор, и страшно иссекли! Чрез несколько дней эту пару привозят опять. Невеста опять зарыдала и опять сказала, что «пусть засекут её до смерти, но она не пойдёт за этого жениха». Повезли опять на барский двор и секли там уже до того, что её полумёртвую стащили с места. Спустя некоторое время староста привозит их в церковь в третий раз, и говорит, что невеста венчаться теперь согласна. Батюшка спросил её и она проговорила: «Иду, батюшка, венчайте!» Батюшка повенчал. Спустя месяца два-три преосвященный Иаков (Вечерков) сдаёт такую резолюцию: «По жалобе любителя церкви, помещика Н.Б., священника N.N. послать в кафедральный собор на две недели на усмотрение». За что, про что? Господь его ведает. Поехать в город, выправить в консистории, выражаясь по-консistorски, указ на службу в соборе, две недели служить там, дать кафедральному протоиерею за хорошую аттестацию, потом опять указ на место, — неделю тереться на крыльце консистории до службы в соборе, две недели служить, да недели полторы-две биться в консистории из указа опять на место, — батюшке и стоило двух коров. Из трёх своих коров он продал двух, и этого ему едва достало на расходы. Я был в то время в

среднем отделении семинарии. Тяжело нам было перенести это и разорение и оскорбление! И из-за чего?... «По жалобе!» Конечно мог сделать это и со мной Жел-н, потому что, в то время у нас был «суд скорый», хотя и неособенно «милостивый».

Летом мы поехали с женой повидеться с моими родителями и с матушкой жены моей. У батюшки моего в семинарии содержалось ещё два сына, моих меньших брата, и потому он терпел крайнюю нужду. Видеть отца и мать нуждающимися в самом необходимом, и не иметь возможности помочь им, — переносить это нелегко!... От моих родителей мы поехали к матушке жены моей.

В городе однажды я встретился с другом моим, по семинарии товарищем, неким Иваном Сокольским. В семинарии он был юноша видный, необыкновенно весёлого характера и остряк. Теперь же он был худ, бледен, мне показался, даже закоптевшим, ряса плохенькая, а шляпёнка и совсем не была никуда годна; на всё окружавшее он смотрел, как будто, безучастно и скорее похож был на сумасшедшего, чем на обыкновенного человека!

— Как, брат Ваня, твои дела? — спрашиваю я.

— Ничего, братец, торгуем.

— Чем?

— Собственным товаром. Теперь приехал сюда записаться в гильдию.

— В самом деле: как ты поживаешь?

— Говорят тебе: торгую! Да, брат, вот в этакий попадись приход, так, поневоле, делается купцом всякий. У меня мордва за все требы платят лаптями: отслужишь, на Пасху, молебн, — пару лаптей, а богатый и две пары; свадьба, —

полтинник и 10 пар лаптей. После Пасхи мне досталось огромных два воза лаптей. Ну, теперь понял, что мы купцы?

— Куда вы их деваете?

— Отвозим в Кузнецк на базар!

— Насколько же ты их продал?

— Рублей на 20 ассигнациями пасхальных, да рубля на 2 за другие требы.

— Почём вы продаёте их?

— Хорошие копейки по 3 серебром, похуже — 2 копейки. Теперь приехал сюда поискать получше местечко. Пошёл вчера в консисторию, а там: давай три целковых, так покажем и разные места. Просил — просил, нет, Иуды, не уступают. Повёл троих анафемов в трактир, пропойл 2 рубля; показали места четыре, да всё дрянь, — не стоит ломаться. Есть, говорят, и хорошие, да меньше пятишницы показать их нельзя. Пять рублей отдай, а даст ли его преосвященный, — это на небе писано. Вот я и хожу по городу да смотрю, не найду ли где пятишницы.

Дня через три я опять встретился с И.Сокольским. — Ну, что, спрашиваю, нашёл место, подал прошение?

— Вчера подал в Н, тоже дрянь, да уж, небось, всё не хуже моего. Ныне прошение сошло, да просят целковый показать резолюцию.

Я сказал ему, где я живу, и попросил его заходить ко мне, пока я живу в городе. На другой день он, действительно, зашёл.

— Как твои дела? — спрашиваю.

— «Справку». На прошении резолюция: «предоставить справку». За эту справку и просят теперь пять целковых. Я говорю: давайте я сам напишу её; а столоначальник: дело тут,

святой отец, не в письме, а в деньгах. Дашь 5 рублей и пиши, коль есть охота писать; не дашь, так недели три и походишь.

- Написать о тебе справку нужно всего 10 минут?
- Написать мой формулярный список, — и всё тут.
- Да ведь твой формуляр в трёх словах?

— Приказные так и говорят, что дело не в письме. Деньги-то опять отдашь, а ещё неизвестно, даст или нет архиерей место-то! А сколько будет мытарства, если и даст-то! Чего будет стоить, чтобы показали резолюцию на справке! А там указ: написать, подписать столоначальнику, члену, секретарю, регистратору, чтоб ввёл в исходящую и поставил №, сторожам — каждому всё дай. А там привалят на квартиру, человек 15, поздравлять... И Господи, тиранства и конца нет! Придётся продать тестеву-то лошадь. Да уж так бы и быть, куда ни шло, лишь бы не пропало всё даром!

Больше я с о. Сокольским не виделся. В день отъезда из города, мне попался на улице другой знакомый мне священник. По одному особенному случаю, он получил место возле самого города, в верстах 10–12-ти. Притом довольно достаточный, но не из богатых. Священник этот был очень неглупый, но до самозабвения увлекающийся всем, выдающимся из ряда вон и потому крайне нерасчётливый в экономическом отношении. Он с восторгом рассказывал мне, что он знаком со множеством дворян города, со всеми членами консистории и с секретарём. Он рассказывал, что на святках, масляной и два раза после Пасхи, у него были два члена консистории, секретарь и столоначальник. В первый раз, говорит, они приехали ко мне нечаянно и у меня не было ничего, только и мог угостить я их хорошей стерлядью; была одна бутылка рому в 1 руб. 50 коп., да секретарь сказал, что он пьёт только белый в 4

рубля. Но зато потом каждый раз, как приедут, сами привезут с собою всего: и рому в 4 рубля, и вин разных, и закуски и... всякой всячины! Конечно, всё это в мой счёт. А вот, как были в последний раз, столоначальник и говорит мне: мы от скуки на дорогу взяли орешков 2 фунтика, так припишите уж и их к счёту. Ну, разумеется из этих пустяков и говорить не стоит. Дорого только берут с них извошки. В последний раз я заплатил только за один конец, да и прогнал их; и отвезти от себя нанял уже у себя в селе.

— А тебя просили они к себе?

— Ты вздумаешь! Теперь приехал взять в консистории новую приходо-расходную книгу для церкви.

— Уж, разумеется, тебе, по дружбе, выдадут без взяток?

— Нет, если б не был знаком, то всякому дал бы поменьше, — понемногу; а теперь знакомому-то мало-то дать и стыдно. Рублей 25 это дело стоило мне.

— С такой дружбой тебя можно поздравить. У тебя, кажется, в приходе пропасть дворян?

— Больше 20 домов. По зимам все они живут в городе, а летом у нас по садам. Кроме того, у нас много теперь дачников из города. Каждый праздник, после обедни, уж непременно, человек 5–6 зайдёт ко мне и с жёнами и с детишками выпить чаю и закусить.

— А тебя просят они к себе?

— Недавно у Мац-на была имянинница жена, приглашали служить молебен, и я обедал там.

— Стало быть, все эти господа ходят к тебе не из расположения к тебе, а только отдохнуть, после обедни, да и подкрепиться? Можно поздравить тебя и с дворянской дружбой!

— А недавно, так вице-губернатор Н-ков прислал рас-
сильного сказать мне, что он, на завтра, придет к обедни,
чтоб я подождал его служить. У меня, на беду, ничего не было
для закуски. Сейчас, в ночь, в город!... Утром подождал с час
служить. К 10 часам приехал он и с женой, и с дочерью. После
обедни прямо ко мне. Пока я в церкви исправлял другие требы,
— жена напоила их чаем. Я пришёл, — подал закуску. Предоб-
рые люди! Дочь у них уже невеста, всё разговаривала с моей
женой. Он и выпивал и закусьвал без церемонии. Славные,
препростые люди!

— А тебя они просили к себе?

— Ты выдумаешь!

— Значит тебя можно поздравить с дружбой даже вице-
губернатора!

Священник этот недавно помер в крайней бедности, оста-
вивши огромные долги (конечно по состоянию священников).
Семейство его теперь в самом жалком состоянии, — это хуже
всяких нищих. Когда жена его обратилась к дворянам-прихо-
жанам за помощью для погребения, то никто не дал ей ровно
ничего; одни наобещали, а другие так или прямо отказали или
запретили прислуге говорить, что они дома. Единственное
лицо, которое оказало ей самую человеколюбивую, христиан-
скую помощь, — так это преосвященный. Он так много помог
ей, как не помог бы, по всей вероятности, ни один преосвя-
щенный.

XI

На возвратном пути из города домой, нам пришлось проезжать в одном месте, поздно вечером, через лес. Место это на границах двух уездов. Лесу была небольшая куртина, но лес крупный. Въезжаем мы в лес, и вдруг из кустов выскакивают четыре человека с дубинами и копьями.

— «Стой!» — закричали все разом, — и один бросился держать лошадей, а другой ухватился за кучера. Мы испугались до беспамятства.

— Вино есть у вас? Кто вы?

— Я священник, говорю я, вина у меня нет.

— Попы пьют больше нашего. Слезай!

Жена моя, не помня себя, уцепилась за меня. Они начали хозяйничать: всё перешвыряли, перемяли, искололи «щупами», перепортили нашу одежду, — всё, что было при нас, и сказали: «Вина нет, ступайте!»

Оказалось, что это были кордонные, как их звали тогда. Это значило, что в следующем уезде был другой винный откуп, а это были стражники, чтобы из того откупа, где вино дешевле, не перевозили в другой.

Вспоминая этот случай, всегда говорю я: дай Господи многая лета батюшке-Государю, уничтожившему этот откупленный разбой!

В сентябре мы опять получили от благочинного повестку явиться всем причтом, с церковными документами, в д. Ивановку, в имение Е.А.И. для предоставления его преосвященству. Оказалось, что туда собрано было из шестнадцати сёл всё духовенство. Нас собралось там 18 священников, 16 диа-

конов и 38 причетников, — целый полк. Мы собрались за два дня до приезда преосвященного. Преосвященный приехал к И-ой, как хороший знакомый, отдохнуть на недельку от дел. Сюда же съехалось много помещиков, а ещё более барынь, из ближайших селений. Тут же был и приятель мой Агафонов. В первый день по приезде, преосвященный не принимал нас и потому мы топтались у барских ворот недолго. На другой день, нам было велено явиться в 10 часов. Мы, конечно, явились; но на этот раз пришлось потолпиться у ворот подольше. В 12 часов уже преосвященный, идя с хозяйкой дома и гостями из сада мимо нас, велел явиться нам в 10 часов на завтра. Мы, разумеется, стояли без шляп, но никто из сопровождавших преосвященного не снял фуражки и не кивнул нам. Являемся на завтра: ввалили семьдесят человек и грянули, разом, в ноги преосвященному. Мы заняли собой больше половины залы. Преосвященный, в великолепной серой атласной рясе и голубой камилавке, сидел на диване, хозяйка и гости — вдоль стен. При нашем входе не привстал никто и никто не кивнул нам головой, как будто пришло, просто, стадо баранов. Мы все, обыкновенным, заведённым порядком, стали принимать благословение по одиночке: подойдёшь, поклонись в ноги, примешь благословение, опять поклонись в ноги и отойдёшь. Преосвященный, сидя, по одиночке благословил нас и потом спрашивает благочинного: кто из них у тебя пьяница?

— У меня пьяниц нет, ваше преосвященство!

Сидевшая тут барыня-мироносица, старуха К-ва:

— Нет, ваше преосвященство! Благочинный покрывает их. Наш священник N.N. совсем спился! Вместо того, чтобы созывать мужиков в церковь, по воскресеньям, он созывает к себе на помочь, и поит их вином. Мне не надо его, возьмите его от меня, куда хотите! Не надо мне его, не надо, не надо!...

И замахала руками.

— Я, ваше преосвященство, действительно, прошлое воскресенье помочь собирал, но обедня у меня была. Я человек бедный; нанять работать мне не на что, я и попросил добрых людей. Я...

— Молчать! От этого места я тебя отрешаю. Ищи другой приход! Пьяница! Как же ты, благочинный говоришь, что у тебя нет пьяниц? Ты с ними вместе пьянствуешь!

— Действительно, справедливо изволите сказать, ваше преосвященство, благочинный с ними вместе пьянствует.

— Я ни водки, и даже никакого вина не пью совсем, ваше преосвященство.

— Молчать! Что ж ты думаешь, что я больше поверю тебе?

Егор Фёдорович шепчет мне: «Коль не верит никому, так уж и сделал бы К-ву благочинниковой над нами». N.N. подошёл к преосвященному, стал на колени: «Ваше преосвященство! Помилуйте! У меня тут дом»...

— Молчать, дурак! Вон пошёл!

— Ваше преосвященство (не вставая во всё время с колен), я человек бедный, у меня два сына в семинарии, я разорюсь совсем, должен буду исключить детей, они погибнут...

— Благочинный, отведи его прочь! Вы, господа, довольны своим причтом? Говорите. Если нет, так...

Все, в том числе и мой Агафонов, привстали: «Довольны, ваше преосвященство, очень довольны!»

N. N. «Ваше преосвященство!...» Но К-ва: «Завтра же велю твой дом снести с моей земли! По бревёшку велю раскидать. Преосвященнейший владыка отказать уже изволили тебе от нашего прихода; ты теперь уже не наш. Завтра же, чтоб и духу твоего не было в моём селе».

— Ваше преосвященство, помилуйте!

— Пошёл вон! Священник села Р.К-ий! Сюда!

К-ий подошёл к столу, поклонился в ноги и стал.

— Скажи: какие обязанности священника?

— Научать народ вере...

К-ва: «Ну, уж наш поп научит! Сам мужиков поит вином по праздникам».

Тут его преосвященство перебрал нас всех, кроме, впрочем, меня, Егора Фёдоровича и благочинного. Сколько «дураков» мы получили тут от щедрот его преосвященства, что не перечтёшь и по пальцам! Что ни слово, то: «Ну, дурак, дурак, дурак! И по роже-то видно, что дурак!» Каждый подойдёт к столу, поклонится в ноги, 5–10 получит «дураков», поклонится в ноги за милостивое слово опять и отойдёт. Начальник же наш благочинный, получал по несколько «дураков», после каждого, на загладочку: «Дурак, дурак! И благочинный дурак, что даёт тебе (в формуляре) отметку хорошую, — дурак и он». И это после каждого спрошенного. Таким образом если мы, 70 человек, получили по 7 «дураков», то наш о. благочинный удостоился получить их семьдесят раз седмерицею.

После испытания в знаниях догматов веры и правилах христианской нравственности, преосвященный стал заставлять, опять всех по одиночке, петь по октоиху. И опять: поклон, дурак, поклон и — вон. Тут уж непременно на каждую нотку село по «дураку»!

— Удивительно, как они все глупеют на должностях! Ведь дурак на дураке! Ступайте!

Священник N.N. опять хотел было просить преосвященного, но он велел благочинному вывести его. Священник этот был крайне бедный и совершенно трезвый. Но чем-то, к его

горю, не угодил этой мирноносице, — и пропал. Перевод в другой приход разорил его в конец. Дома его барыня хотя и не раскидала, но он, всё равно продан за ничто.

Когда мы вышли, то к нам вышел помещик Владыкин. Он, смеясь, похлопал по плечу священника и говорит: «А я, N.N. хотел, было, сказать владыке и про тебя, что ты много пьёшь».

— Ну, хорошо: меня архиерей вывел бы; с кем же ты-то стал бы пить-то тогда?

— Ха, ха, ха! Заезжай ко мне. Я сейчас еду домой.

Преосвященный наш, вообще, беспорядков не терпел. Кафедральный собор наш имеет высокое входное крыльцо, и такой же, в самом храме, высокий амвон. Однажды, осенью, была изморозь и всё покрылось ледяной коркой. В один из таких дней, преосвященный должен был служить литургию в соборе. Лёд на входном крыльце, хотя и был счищен, но падающий постоянно дождь мёрз и покрывал всё новым слоем льда. Сторожа, не знаю почему, — может быть потому, что поздно спохватились и поздно уже было бежать к себе за песком, а может быть, просто, почитая, что всё равно, чем ни посыпать, — но только и посыпали ступеньки золой. Преосвященный вошёл в собор и тотчас же поставил ключаря на амвоне, пред иконой Спасителя, в виду всего народа на колени.

В другой раз, преосвященный награждал одного священника набедренником. Во время накладывания у набедренника и оторвись лента. Преосвященный: «Ключарь! Это что! Пошёл на колени!»

И ключарь пошёл опять на знакомое местечко...

Ключарь был, — по летам, старше преосвященного, из окончивших курс академии, протоиерей и член консистории.

Я мог бы представить десятки подобных случаев, и — много-много покрупнее этих, но думаю, что для характеристики того времени довольно и этого небольшого. Вообще же этот период епархиального управления есть один из самых замечательных, в этом роде, в нашем крае; но внести на страницы истории события того времени, предоставляю моему потомству. Бесследным же для истории этот период времени остаться не должен.

ХИ

В конце сентября я, по обыкновению всего сельского духовенства, пошёл по приходу собирать хлебом. Церковный сторож заложил мне лошадь, растянул по всей телеге полог, положил несколько мешков, и мы отправились. Вхожу в первый двор; встречаю хозяина и говорю: «Не уродил ли Бог хлебца какого и на мою долю?» Мужик скинул шапку, нехотя поглядел на меня; поглядев себе под ноги, надел шапку, сделал шага два к амбару, опять взглянул на меня и, нехотя, проговорил:

— Ты чем побираешься?

— Всё равно, что есть.

— Можа ржи, ай овса?

— Всё равно, что есть.

— То-то!

Я поблагодарил его и ушёл. Без меня он вынес мне полу-мерок ржи. Иду в следующий дом. Вся семья сидит за столом. Я спрашиваю:

— Не уродилось ли хлебца какого-нибудь и на мою долю?

Мужик положил ложку, рукавом утёрся, почесал у себя за воротом, и спросил: «Ты рожью побираешься, ай ещё чем?»

— Что дашь, за то и спасибо! мне всё равно.

— А посуда своя, ай в нашу?

— Я своей не ношу.

— Поди, хозяйка, дай ему!

Та пошла впереди меня, в амбаре зачерпнула ковш ржи и вынесла. В третьем доме мужик заранее насыпал меру пшеницы, вынес за ворота и ждал меня. Мне пришлось только благодарить его. В четвёртом доме мужик что-то рубил. Я подо-

шёл и спросил: не уродил ли Бог какого хлебца и на мою долю? Мужик поклонился. «Тебе хлебца? Новинки?» И опять стал рубить. Он рубит, а я стою. Отрубил, посмотрел на топор, поворочал его, воткнул в отрубок и опять спросил: «Тебе новинки штоль? Ты побираеесь?»

— Побираюсь.

— Чево же тебе: ржи, аль ещё чево?

— Всё равно, чего-нибудь, только, коль уж дашь, так поскорее, не мори.

— Да молоченного-то нет. В другое время приди, как помолотимся.

Иду дальше, спрашиваю.

— Хлебушка-то мало у самого-то. Тем всем, и дьякону, и пономарю, и дьячку отказал. У самого семья, чай знаешь, мал-мала меньше, а ведь всё всем надо хлеба. А работник-то я вот весь тут.

А осенью пастух упустил табун, последнее-то потравил. Теперь вот тут и живи, как знаешь.

— Коль у тебя самого мало, так и не нужно.

— Ну, ненужно! Не дать нельзя. Это я тем отказал, у тех шеи-то, как у быков, толсты; а тебе надо дать, — не дать нельзя, только на большом не взыщи. Один даст немного, другой немного, — вот и прокормишься. Мир — велик человек. И в писании сказано: с миру по нитке, голому рубашка. Курочка по немножку клюёт, да сыта живёт. Не дать нельзя. Много не дадим, а немного всё уж дадим.

Я обыкновенно, благодарил, и уходил прежде, чем мужик успевал выносить; но видел, что он вынес полрешетца.

В следующем дворе мужик позвал меня в амбар. «Вот, ба-тюшка, смотри, сколько у меня всего хлебца-то!» Смотрю: в углу насыпано всего меры три ржи и 5–6 мешков, — и только.

— Ну, Господь с тобой, зачем же я буду брать у тебя последнее. Я не знал, что у тебя нет, а то я не зашёл бы к тебе.

— Нет, кормилец, не дать нельзя. Не взыщи, что мало, а не дать нельзя. Твоим лотком я уж не разживусь. Господь даёт на всех: вы наши молитвенники.

И вынес мне в решетце ржи. Одна старуха вынесла мне фунта два «для матушки» гороху; другая — фунта два, тоже «матушке», круп.

С пятого двора со мной стали ходить, откуда-то взявшие-ся, двое нищих. Придёшь в дом, я спрошу себе, а они затянут: «Гос-по-ди Ису-се Хрис-те»... Мужик пойдёт в амбар, зацепит лоток ржи, перекрестится и всыпет в суму: потом вздохнёт и начнёт в своё решето насыпать мне. Сколько я ни просил своих спутниц идти или впереди меня, или назад, но они: «Все, кормилец, именем Христовым живём: подадут и нам, подадут и тебе. Мы твоего не возьмём». Я нарочито постою, подожду чтобы они прошли вперёд, а они увидят, что остановился, и сами остановятся. Вероятно ходить со мной им выгоднее. А в одной деревне ко мне пристала цыганка. Из двора во двор, нога в ногу, так-таки и прошла со мной всю деревню. Я оборочусь к ней: да отстань ты, сделай милость, или иди впереди!

— Эх, отец духовный! Все на мирской шее сидим! Наши отцы и деды не работали, и нам не велели; да и ваши тоже! Православные прокормят всех. Для цыганки мужичёк в амбар не пойдёт; даст кусочек да и только! А с вами-то я и пшеница ребёнку выпрошу, и мучки на лапшицу.

Так-таки и не отстала.

Входишь, иногда, в дом зажиточного крестьянина: спросишь, по обыкновению; он, не торопясь, спросит чем я побираться, пойдёт в избу за ключом, минут пять пропадает там, подойдёт к бочке напиться, слазит на навес за сеном и отнесёт в конюшню и потом пойдёт в дальний за деревню амбар. Он ушёл, а ты стоишь и томишься от грусти и досады и не знаешь, куда деваться. Стоишь иногда 15–20 минут, — сердце ноет, ждёшь — не дождёшься конца этой тоски, теряется всякое терпение и, наконец, видишь, что тебе несут полрешетка ржицы... Увидишь это и от досады, кажется, провалился бы. Нехотя поклонись, и пойдёшь в следующий двор. Но здесь, иногда, мужичек, несравненно беднейший, давно уже припас тебе большое лукошко или меру пшеницы и ждёт тебя. Пред этим крестьянином, наоборот, становится как-то уже неловко, стыдно и ты не находишь слов благодарить его; 5–6 раз скажешь ему спасибо и 5–6 раз поклонись ему.

Таков был мой сбор хлебом на первый год моего священства, таков он и до сего дня, 1880-го года, у каждого сельского священника.

Надобно быть сельским священником, надобно испытать, чтобы понять то невыносимо-тяжёлое, то убивающее душу состояние, ту тоску, ту горечь, то унижение, то леденящее кровь и жгущее сердце отчаяние, ту одуряющую злобу, какие испытывает собирающий хлебом священник! Человек, не испытывавший этого на себе, понять этого не может. Даже я, — видевший сборы хлебом моего отца, деда и других, — не понимал этого вполне. И понял их вот только тут, — когда пришлось собирать самому. Много раз я видел глубокие вздохи моего родителя, как только зайдёт речь о сборах. «Ох уж эти сборы», говаривал, бывало, мой батюшка и при этом тяжело, всей грудью, вздохнёт, покойный; но я не понимал этих вздо-

хов. Теперь эти вздохи я понял. Теперь я понял каких нравственных жертв стоило ему наше воспитание!...

Всякому нищему его нищенство должно быть несравненно сноснее, чем нам наше нищенство, — сборы хлебом, потому что между нами и нищими, и в умственном и в нравственном состояниях, лежит целая пропасть. Я давно священником, уже состарился, давно бы пора, кажется, с нищенством свыкнуться; но, однако же, за всем тем, — не дней, а несколько месяцев нужно бывает всегда, чтобы изгладить то гнетущее чувство, которое ложится тяжёлым камнем на мою душу после сбора.

Но если эти средства к нашему существованию невыносимы нам, — нам, видевшим примеры в отцах и дедах наших, и во всём роде нашем, и свыкшимся с насмешками, унижением и нуждой от колыбели; то как стали бы переносить это всё те, которые поступили бы в нашу среду из светских сословий, — я не могу даже и представить.

Люди, не испытавшие на себе нашего состояния, люди светские, вполне не поймут нас, — это неопровержимо. И если они и знают наше состояние, то знают одну только небольшую его частицу. Но и эта небольшая его частица настолько, вероятно, красива, что из светских сословий в духовное звание нейдёт никто. При всех льготах и преимуществах, данных ученикам гимназий пред учениками семинарии, — в духовные академии нейдёт никто из гимназистов. Мало того, даже из собственной-то среды нашей все лучшие молодые силы бегут от нас. Светские учебные заведения переполнены и беспрепятственно открываются новые; наши же пустеют и закрываются. Лучшие наши силы идут в гимназии и университеты, — в семинарии же идут худшие, или те, у которых уже решительно нет средств пробить себе дорогу. Это не случайность!...

Иногда, после таскания по дворам на Рождество, Крещение и Пасху, и после сбора хлебом, ходишь, как безумный; чувствуешь себя совершенно, и нравственно и физически, убитым, каким-то уничтоженным; а тут — один кричит: наш поп глуп, совсем читает мало; барин глубокомысленно подтверждает, что поп действительно глуп, что не может даже различить крымки от псовой породы и что от него, вообще, пахнет мужиком; барыня восклицает, что поп необразован, что он не имеет и понятия о дамских уборах; статистики и вообще сборщики «сведений» из столиц или губернского города печатно поносят, что духовенство отстало, не интересуется наукой и не делает наблюдений; консистория неустанно, по обыкновению, делает выговоры за недоставление статистических и других сведений. Смех и горе разбирает, смотря на все такие требования, и думаешь: эх, други наши милы! Посадил бы вас, хоть только на полгодика туда, где мы, так из вас не осталось бы вполовину и того, что мы теперь! Мы уверены, что только упругая, до крайности выносливая натура, выросшая в преданиях многих поколений, может выносить ту нужду и те унижения, какие выносим мы.

ХІІІ

Если так неприглядна жизнь сельского священника, то какова же должна быть жизнь псаломщика, т. е. молодого человека, окончившего курс в семинарии и поступившего в псаломщичьи, или попросту, в пономари? Прихожане священника, отчасти, уважают, а отчасти и боятся, а поэтому, хоть на первый раз, какую-нибудь квартиру ему всё-таки дадут; псаломщику же нигде и никто квартиры не даст. Будь он хоть магистр академии, а для прихожан, он есть, всё-таки, тот же пономарь.

Одни из преосвященных имел обыкновение, при обозрении епархии, брать с собой одного из иподиаконов и сажал его с собой в карету. Иподиакон этот, теперь уже давно священник, был один из лучших учеников, окончивших курс семинарии, молодец собой, скромный, очень умный и солидный мужчина. В одну из поездок по епархии, преосвященный заехал в деревню к своему хорошему знакомому, предводителю дворянства. Сюда же приехал, как благочинный, и тоже, как хороший знакомый хозяину, и я. У предводителя жил в это время, как на даче, его знакомый, один из мельчайших чиновников с женой и девицей своячиной. Мы все — хозяин, преосвященный, приказный, его жена, своячина и я, — сидели в зале и гостиной, а иподиакон в передней; мы сели обедать, а его попросили в особый флигель; вечером мы пили чай в гостиной, а ему подали в переднюю. Иподиакон обиделся, ушёл в архиерейскую карету и два дня, пока был тут преосвященный, не выходил оттуда, продовольствуясь своим дорожным запасом. Так смотрят не на псаломщика, но даже на иподиакона, представители дворянства! Чего ждать хорошего от мужика? В приходе псаломщику не дадут ровно никакого пособия, на

него даже и не обратят внимания. И этот несчастный юноша должен будет приютиться в мужицкой семье и жить с нею в одной избе. Он, холостой и одинокий, должен будет жить в семье, где, может быть, и даже наверное, пьяница мужик, дурного поведения его жена, а ещё хуже того, остальные члены семьи. А почему я говорю: «наверное», — так это мне хорошо известно, что скромные и трудолюбивые крестьяне не любят, чтоб в их домах жили посторонние люди. В той же избе будут, неизбежно, телята, ягнята, свинья, по колено солома и грязь и невыразимо тяжёлый воздух; ему негде ни сесть, ни прилечь; ни книжки, чтоб отвести душу, ни человека, чтобы промолвить словечко! Остальные члены причта, если они только есть, может быть будут, и что всего вероятнее, нетрезвой жизни, или поглощённые житейскими и самыми мелочными заботами о средствах к своему существованию. А при такой обстановке достаточно, кажется, какого-нибудь только полугода, чтоб сгинуть на век. Счастье его, если священник сам будет человек хороший; а если нет?! Если священник будет таскать его с собой всюду и вредно влиять на него своим примером, — тогда что?... Молодой человек пропал невозвратно. Жениться он не может, — у него нет средств к жизни; завести свой домишко не может, как по неимению к тому средств, так и потому, что в приходе он человек временный, только и думающий о том, как бы поскорее выбраться из этой тины. Читать и петь громко, на всю церковь, без отдыху два-три часа, зимою на сквозном ветру и морозе, — нужна грудь крепкая, и именно пономарская, физически развитая и не надорванная школьными занятиями. Грудь же «учёного псаломщика» для такой работы уже не годится. Мне лично известны два псаломщика в губернских городах, которые читают и поют безостановочно в утреню и обедню из всех своих сил, надрывают свою грудь и,

после каждой службы, чувствуют совершенное изнурение сил; службы же в пост не выдерживают совсем ни тот, ни другой и болеют подолгу. И по причине болезни нанимают от себя кого случится. Сельского же псаломщика средства таковы, что он, придя из церкви зимой в свою вонючую конуру, не может отогреть своих передрогших внутренностей и стаканом чаю.

Причетника, когда состоит он на службе, никто не считает и человеком. Это парии, которым подать руку всякий, считающий себя порядочным человеком, находит для себя унижительным. Это отброс общества, это народ, презираемый всеми. Его значение для церкви и общества, его труды даже само правительство ценит всего в 2 руб. в месяц, т. е. в десять раз менее, чем значение и труд последнего сторожа в любом присутственном месте. Отдавши церкви и обществу лучшие годы жизни, как только, за дряхлостью и болезнью, выходит он за штат, то его бросают все: бросает общество, бросает правительство, — ему никто не даст ровно уже ничего, — и хочет он, — умирай с голоду, или мёрзни, хочет — душись, хочет — в омут лезь, — он для всех чужой. Ему не возвратят даже его собственности, — не дадут грошовой даже пенсии, на которую он имеет полное право, на образование которой весь его век делали вычет из двухрублевого его месячного жалованья. А между тем должность причетника, для христианина — должность высокая. Это единственный чтец певец при нашем богослужении; это единственный руководитель ума и сердца нашего при общественной нашей молитве. Мало того: это приходской нотариус, утверждающий действительность и время событий рождения, брака и смерти целых тысяч прихожан и от исправности и неисправности которого может зависеть многое, — он есть письмоводитель церковных актов.

Не смотря, однако же, на важное значение для церкви, государства и общества, с прискорбием случается, иногда, видеть, что люди, считающие себя и высокопоставленными, и умными, и христианами, причетника считают хуже собаки. Да, это так! Обратите внимание: приходит священник с крестом в дом барина; мне подают руку, а пономарю нет и, в то же время, гладят, ласкают собаку, и иногда, даже целуют её; садимся закусывать, собака тут же возле ног хозяина, а причетника отсылают в лакейскую; свою тарелку хозяин отдаёт собаке, причетнику же относят объедки с барского стола; о собаках часто говорят с увлечением, приписывают им вышечеловеческие достоинства, — о пономарях — всегда с гримасой на лице и презрением; о собаках заботятся все, о пономарях никто. Даже у некоторых священников достаёт совести отнимать и утаивать часть их доходов, теснить их и делать доносы. А если взять общественное мнение — то это уже не люди.

И после этого хотят, чтобы мы детей своих, после того, как они утешали нас трудом своим и успехами в семинариях, посылали их в пономари? Нет уж, благодарим покорно!

Вследствие такого положения псаломщиков и вышло то, что как только получилось распоряжение, чтобы ученики, окончившие курс в семинариях, поступали в псаломщики и были там до тридцатилетнего возраста, то многие священники тотчас взяли детей своих из семинарий и поместили их в светские заведения. Священники эти горьким опытом дознали, что детям их лучше идти в солдаты, чем в пономари и не пустили их. Священников этих нельзя никак обвинять в маловерии или безразличном отношении к интересам веры; нет, они, может быть, более даже религиозны, чем те, у коих дети и теперь обучаются в семинариях. На явление это нельзя не обратить внимания; сельские священники, для которых невы-

носимо таскаться по дворам и вымаливать себе и детям пропитание, — детей своих поместили в гимназии; благочинные, — преимущественно — в гимназии; ректор саратовской семинарии — сын в гимназии; кладезь духовного просвещения, С.П.б академия, — сын о. ректора обучился в институте путей сообщения. Всё это что-нибудь да значит... Нет сомнения, что от светского звания они не ожидают для детей своих непременно хорошего; нет, они предпочитают чужое, неизвестное — своему, слишком хорошо известному и — тяжёлому.

В самом деле: самая обыкновенная у нас кухарка, ничего несмыслящая деревенская баба, получает 3–4 руб. в месяц жалованья, имеет при этом помещение, стол, чай, кофе и праздничные подарки; самый последний мужик-работник получает 80–90 руб. в лето, и опять имеет помещение, стол и водочные подачки. Псаломщик же пономарь получает 2 руб. в месяц жалованья⁴ и пущен на произвол судьбы: жить где примут и есть, что соберёт по миру... Слово это выговаривается легко; но попробуй выполнить его! Возьми суму и иди... Пономарю подают часто лотками. Запрягать лошади, иногда, нет и надобности, и не стоит, и он, действительно, возьмёт мешок и идёт. Подали лоток — два, всыпал, взвалил на плечо и дальше. То, однако ж, что подают лотками, — ещё сносно; но невыносимо унижение: ходить с мешком на плече, просить и стоять перед каждым мужиком и бабой, и получить лоток. При этом дело очень обыкновенное, что часто и в лотке-то отказывают. И опять необходимо заметить, что пономарю подаётся хлеб самый худший, и часто, просто, ухвостье. Я не говорю, что

4 И из этих 2 р. удерживается 2 коп. в пенсионный капитал, но пенсии псаломщикам не полагается.

все приходы, именно, таковы; напротив, есть приходы где 1/4 дворов подаст и по мере, но большинство всё-таки таково, и, значит, походи да покланяйся. Тут, батюшка вы мой, всякие стойки и всякие Муции повесят голову и не поможет вам никакой классицизм, как бы вы в семинарии ни долбили его!

Я предполагаю, что многие из моих читателей осудят меня за резкость выражений и заподозрят меня в желании отвлечь от поступления в духовное звание. Отвращать от духовного звания я совсем не имею намерения. Я сам священник и всей душой люблю своё звание, и именно потому, что в нём есть стороны незаменимые в мире: частая молитва и служение литургии. Это, и именно только это, поддерживает упавший дух и надежду на милость Божию. Я выставляю на вид только материальные средства к содержанию и отношение духовенства к обществу. Осудят за резкость выражений? Но я не сказал ещё и сотой доли того, что есть на самом деле и ничего нет легче, как осуждать и судить... Но думаю при этом, что осудит меня только тот, кто не имеет и понятия ни о холоде, ни о голоде и тем менее об унижениях. Мы попросили бы таких господ прежде испытать то, что терпим мы, тогда уже и осуждать...

Но ведь есть же священники, которые живут не только безбедно, но имеют и достаточные капиталы в банках? Есть. Я представлю три-четыре примера обрачика лиц, очень коротко мне лично известных, по ним можно будет судить и об остальных.

Покойный о. протоиерей города К. был миссионером. Для собеседования с раскольниками он разъезжал всегда летом, в рабочую пору. Однажды приезжает он с исправником в одно большое раскольничье село и созывает всех крестьян для собеседований. Въезжий дом, где они остановились, состоял из

двух изб, разделённых общими сенями. В передней поместился исправник, а в задней о. протоиерей. Каждого мужика и каждую бабу и девушку призывает к себе исправник и начинает пороть. Натешившись досыта, он посылает к о. протоиерею на увещания. О. протоиерей: «Тебя, кажется, друг мой, оскорбили? Жаль мне тебя, друг мой, жаль! Ты подпишись, что желаешь быть православным, а там Господь с тобой, живи, как знаешь, а начальство оскорблять тебя не будет. А за то, что я защищу тебя, дай мне рублишко». Так, и другой, и третий, и сотый, и восьмисотый... Раскольники не спорили ни из-за подписок, ни из-за рублишек. После исправник, своим порядком, взял по 3 руб. с рыла. И господа миссионеры отправились дальше.

Местный священник доносит потом, что его раскольники и не думали быть православными, — что они живут так, как жили прежде.

Приезжает к священнику о. протоиерей: «Я в трое суток успел внушить раскольникам об их заблуждениях; а ты отец, живёшь здесь весь свой век и не умеешь вести дела. Я донесу преосвященному, что ты вреден здесь, чтоб он перевёл тебя в худший приход».

И несчастный священник даёт о. миссионеру целые десятки рублей, чтобы только, по доносу его, не сделаться нищим.

Через год о. протоиерей приезжает снова с исправником и обращается с крестьянами, не как уже с раскольниками, а как с православными, отпадшими в раскол, и передрали и обобрали их несчастных ещё бессовестнее.

Случился, однако ж, один казус и с о. протоиереем, — и секретарь его преосвященства слупил с него 4.000 рублей. По смерти о. протоиерея осталось, говорили тогда, до 80 тысяч.

О. протоиерей города N. был тоже миссионером и спуска ни раскольникам и ни священникам не давал. Человек вдовый и одинокий жил он не только черно, но и грязно. Это своего рода Плюшкин. Ел, непременно, каждый день только редьку и панихидные бублики. Сохрани Бог, если дьячок обдели его хоть полбулочкой, — заест! Он имел в банке до 56 тысяч, только в одном, но предполагают, что есть деньги и ещё где-нибудь.

Третий о. протоиерей, член консистории и миссионер. Он хотя был и с академическим образованием, но с сектантами не мог сказать и десяти слов. За то он хорошо знал статью закона, по которой сектанты обязаны были, по требованию полиции, являться в консисторию на увещания. Явятся и молокане, и поповцы и беспоповцы, и хлысты и всяких подобный люд, и усядутся на улице, около консистории, по стенкам, по ступенькам уличного крыльца, на дворе консистории, в передней, — и сидят день, два, неделю, другую, третью, — сидят, а на увещания в консисторию не зовут. Сидят, и им, как страдальцам за веру, приношения от их единоверцев со всех сторон. В толпе этой можно было видеть и просто мужиков, и баб, и лиц с весьма приличной наружностью. На эту толпу неподвижно сидящего народа, изо-дня в день, нельзя было не обратить внимания всякому — всякому бросались они в глаза невольно. Спросите любого из толпы этой, что это за народ, кто они, и они вам ответят: «Страдаем за веру. Сидим вот здесь уже неделю, а в поле, чай, выбило ветром последний хлебишко!» Сидят, наконец, выйдут из терпения, пойдут к о. миссионеру, поклонятся, и он отпустит их.

Иногда дело это делалось проще: все увещаваемые посылались на берега Волги на подёнщину. И полягутся у стенок заборов, посядутся под тумбочкам взвоза (почему-то их часто можно было видеть там, где семинарская больница), — и сидят целый день. Одноверцы принесут им подённую плату, вечером отнесут её о. миссионеру, а на утро опять полягутся у заборов. Всякому проходящему объясняли они, что они: «стра-да-ют за ве-ру». Некоторые просили милостыню, протягивали руки и вопили: «Стра-даль-цам за ве-ру Хрис-то-ву по-дай-те!»

Этот же о. протоиерей был и экзаменатором дьячков, пред посвящением их в стихарь. В дьячки и пономари поступали ученики, большей частью, по лености, неспособности и за дурное поведение исключённые из училищ. Их назначали в приход; в течение года они должны были выучиться хорошо читать по-славянски, петь на гласы и по нотам и выучить краткий катихизис. Носить стихарь они не имели права; для этого они чрез год должны были явиться к преосвященному и подать прошение о посвящении их в стихарь. Преосвященный, обыкновенно, на прошении надписывал: «К экзаменатору». Получивший хорошую отметку экзаменатора посвящался в стихарь; получивший же неудовлетворительную посылался в приход на год снова. Как понудительная мера к изучению требуемых предметов, непосвящённым в стихарь не дозволялось жениться. Иной в приходе только и знает, что шляется по кабакам, да по крестинам, рожа расплзётся, как у быка; другой изо-дня в день гнёт спину над сохой, да с цепом, и ни тому, ни другому катихизис во весь год не придёт в голову. И ездят такие к преосвященному лет пять-шесть, и ездить бы им весь век, если б не жалел их о. экзаменатор! Не ездить же нельзя, и указ давался только на один год, да и не дозволялось жениться. Приезжает однажды, из-за Волги, пономарь с. Большой Глу-

щицы, вёрст из-за 400, Фёдор Иргизов, приходит к экзаменатору, тот спросил что-то, и говорит: «Плохо, плохо! Поучи и явись через год». Иргизов вынимает серебряный рубль и кладёт на стол. О. экзаменатор, не глядя, взял его, тут же подсунул под салфетку и пошёл в другую комнату, бормоча: «Ещё, ещё надо поучить, ещё плохо!» Ушёл, давая возможность Иргизову вынуть из кошелька ещё рублишко. Иргизов на пальчиках подбежал к столу и вытащил из-под салфетки свой рубль. Входит экзаменатор. Иргизов: «Ваше высокопреподобие! Сделайте милость!» И кладёт на стол рубль. Экзаменатор опять, не глядя, взял, положил под салфетку и пошёл: «Ещё надо поучить, плохо, плохо!» Иргизов стянул рубль опять. Входит о. экзаменатор, он кладёт его опять. «Ну, давай дело! Жаль тебя, далеко ездить-то тебе». И дал хорошую отметку.

Так наживали деньги люди должностные.

XIV

В предыдущей главе я указал на два-три примера того, как наживали деньги, в блаженное старое время, должностные лица из духовенства; теперь укажу на несколько примеров из быта духовенства сельского.

Один священник, короткий мой знакомый, поступил во священники, по окончании семинарского курса, на место тестя, — в старинный, полный дом. Тотчас он сошёлся со стариком-помещиком, и льстил ему, елико возможно. Барин честь любил, и жил, как и подобало жить барину прежних времён, — ел, пил, спал и лишь раза три-четыре в день ткнёт в рыло лакею, больше же этого по хозяйству не делал ничего. Священник сделался докладчиком и советников по всем его делам: нужно ли снять у барина в аренду мельницу, — попросят сперва батюшку; купить ли лесу, — сперва толкнутся к батюшке; провинился ли мужик, — за защитой к батюшке; освободить ли сына от солдатчины, — за ходатайством к батюшке. И так во всём... Священник цену себе понял скоро: кто больше даст, того и дело право. Барского лесу сам он мог рубить, даже для продажи, сколько угодно; земли барской мог брать, сколько угодно; крестьяне обрабатывали его поля; вся домашняя прислуга была от барина и притом дело это велось так: нянька, кухарка, кучер и работник живут и служат у священника; но завтракать, обедать и ужинать ходят к себе домой. Таким образом он получал, наверное, разве только немногим меньше самого барина.

В приходе: вынь да положь, за каждую потребу, вперёд. Пришёл крестьянин, постом, исповедываться, — вперёд

положь гривну; нет, — ступай прочь⁵. Пришёл крестить младенца, — деньги вперёд; нет, или мало, — ступай домой. Каждый жених должен пахать непременно три дня, каждая невеста — три дня жать и молотить. Без этого и венчать не будет. Станет собирать хлебом, — мужик хоть тресни, а попово лукошко насыпай полно. Мужик в амбар и батюшка за ним. Мужик насыпает, а батюшка смотрит и понукает: «А-ну, сыпь, сыпь, не скупись!»

— Да у тебя, батюшка, лукошко-то больно велико, туда полезет ползакрома.

— Велико! Чай не я его делал. Ну, ещё немножко; ну, ещё лоточек; да не скупись же!

Мужик мнётся, а батюшка настаивает: «Насыпай N.N., насыпай! Пригодится и поп когда-нибудь. Сына-то, небось, женить будешь скоро!» Как мужичок ни бьётся, а батюшка, всё-таки, своего добьётся, — лукошко батюшки полно. Иногда дело это велось у него ещё проще: мужичок мнётся, задевает по поллоточку, — батюшка выходит из терпения, и как бы шутя: «Эх ты, N.N. Ты не умеешь и насыпать! Ты вот как!» Возьмёт у него из рук лоток, да и насыпает полно лукошко.

Приспела свадьба, — тут мужичку, просто, в смерть: принеси и гуся, и каравай хлеба, и водки, и возок сенца привези, и сделай какую-нибудь услугу, вроде чистки двора, подводы в город и тому подобное. А деньги деньгами, — это, конечно, само собой. Назначит батюшка 10 рублей, а мужик даёт 3

5 Последствием этого было то, что три деревни, почти поголовно, отпали в раскол. Священник перестал требовать платы, стал брать, что дадут, - и крестьяне, почти все, стали опять ходить в церковь.

рубля. И пойдёт торг, Боже мой, дня три ходит мужик вымаливать, и каждый раз должен принести что-нибудь. Мужик встанет на колени, — молчит, чуть не плачет; а батюшка сидит себе, и знать ничего не хочет: «Давай, что сказано, и баста!»

За пасхальные и праздничные молебны батюшка определил братъ, положим, 20 копеек. Мужик даёт 15 копеек. Вынь да положи ещё 5 копеек! Иначе и служить не станет.

Я, однажды, спрашиваю его: «Зачем вы просите денег до совершения требы? Ведь это слишком неблагоприятно!»

— Неблаговидного тут ровно нет ничего. Я беру за свой труд. Но наше, поповское, дело, — не купеческое. Там купил, не понравился товар и купец всегда согласится возратить деньги и принят товар обратно. А мы: отслужим молебен; мужик не даст ничего или даст 2–3 копейки, что же тогда? Ведь молебна назад не возьмёшь. И ссорься с ним! У меня дело на честность — отдашь деньги, — я служу, не отдашь, — не буду. Ссоры у нас и быть не может, и не надует никто. А то вроде видите, что бывает: недавно меня просила барыня Ольга Фёдоровна 3-н служить всенощную; после всенощной, я отслужил молебен с водоосвящением, потом молебен Ольге и наконец панихиду. После чего она и даёт мне два двугривенных. Я раскланялся, сказал, что, из уважения к ней, служил ей даром и положил на стол перед ней её двугривенные. А она... хоть бы моргнула. Вот за этим-то я и беру за всё вперёд.

В доме экономия была во всём страшная; для кухни он выдавал всё сам, или, по крайней мере, всё показывалось ему, что бралось из амбаров или погребов. Выдаст, например, муки, уравниет в ларе или закроме дощечкой и наложит ладонь. Приходит выдавать в следующий день, видит, что отпечаток ладони его, — и выдаст. Ел он Бог вещь что! Что погнило и поперело — ел он; всё же хорошее продавалось.

В доме у него было очень чисто; и сам он и семейные его одевались, тоже, очень чисто, хотя всё из самого дешёвенького. Читал очень много и сам выписывал одну газету местную, одну Петербургскую, два журнала духовных и три сельских. Хлеба засеивал очень помногу и на всех работах неотлучно от зари до зари. В поле и на гумне он постоянно ходил, сидел, смотрел за работой и, в то же время, читал. Дети все воспитывались хорошо.

И я хорошо знаю, что деньги у него были.

В Самарской губернии был, и, кажется, жив и до сего дня, некто отец Онисим. В то время, когда населялся заволжский край, он из дьячков поступил в одно из отдалённых, новостворившихся сёл во священники. Человек он был малограмотный, но практичный в высшей степени. Земли свободной, казённой было множество, земля плодородная, отдавалась в аренду по 10 копеек за десятину, — и отец Онисим принялся за пшеницу. Вскоре он расширил свои посевы до 100 сошельников (400 десятин). Прихожане его, народ, собранный из разных внутренних губерний, народ вначале был бедный. Отец Онисим устроил две ветряные мельницы, поставил кузницы и открыл торговлю всем, что нужно крестьянину. Там были: сита, корыта, лопаты, топоры, дёготь, словом всё, до последней мелочи, и сделался настоящим торгашом-кулаком. Благочинный был у него некто, здравствующий и теперь, Н.Ф.П., человек очень ловкий. Я обоих знал их, как нельзя лучше. Как только, бывало, Онисим сотворит какую-нибудь плутню и хапнет, — благочинный и тут, как из земли выскочит, накроет Онисима, не даст и денег припрятать. Онисим был кулак, но трус, а благочинный делец. Хапнет Онисим, а благочинный и на двор. И Онисиму приходится и хапчину отдать, да и своих добавить малую толику. Однажды, случилось благочинному у Онисима ноче-

вать. Ночью стучатся в окно к Онисиму: «Батюшка! Встань, ветерок потянул, смели мешочек!» Благочинный: «Ч-т-о? Смолоть? О-ни-сим? Да разве ты мельник? Я думал, что я приехал к священнику, а выходит, что к мельнику. Дьякон! (благочинный ездил всегда со своим дьяконом). Встань и сейчас запечатай мельницу». У дьякона кусок тесьмы был привезён из дому. Сейчас пошёл, опутал крылья у мельницы тесьмой и припечатал к столбу. По утру, Онисим дал его высокопреподобию сотнягу, да дьякону на кафтанишко, — и мельница завертелась опять.

Церкви в селе у Онисима не было долго. Как только, бывало, зайдёт с Онисимом речь о благочинном, Онисим крикнет: «Да я две церкви выстроил бы, сколько я передавал благочинному».

В селе Б. Б-це был волостным головой некто Иван Андреевич, мужик очень умный, засевавший пшеницы по несколько сот десятин, с купеческим капиталом и, вдобавок, богачей-мужиков обиравший беспощадно. Однажды, жена его Мавра Алексеева приехала к обедне и, как-то, с ней в церковь вбежала её собачонка. Чутьё у благочинного было необыкновенное: сейчас учуял он, откуда пахнет деньгами. Он прискакал на другой же день и запечатал церковь. И... Иван Андреевич сотню оттащил ему.

Это было в 1840-х годах. В то время, в этом селении, церковь была ещё одна, деревянная, внутри оклеенная холстом и, конечно, окрашена. Как-то, однажды, и отклеись лоскуток холста вверху на четверть. Благочинный сейчас в Г-цу и запечатал церковь. Прихожане этого огромного селения в то время были богачи, большинство из них посева свои считали сотнями десятин, поэтому собрать какую-нибудь сотню рублей им не стоило ничего и, действительно, пока благочинный у

священника закусывал, прихожане собрали и поднесли ему 100 рублей и двери церкви отворились.

Когда приезжал он в какое-нибудь село, то у тарантаса его стояли, поочерёдно, и день и ночь дьячок с пономарём, как бы для охранения деловых бумаг и казённых денег. Ездил он всегда пятериком.

Некто о. Сердобов, тоже благочинный, также хорошо знал в котором омуте лучше ловится рыба, и спуску никому не давал. Но главная профессия его была перекупка хлеба, — проса и пшеницы. Село, где он жил, было недалеко от Волги и он целые беляны грузил своим хлебом и отправлял в Астрахань. (Пароходов, в то время, ещё не было, а беляна то же, что баржа, только более грубой работы.)

Заволжские крестьяне, в начале заселения этого края, жили необыкновенно богато; очень богато жило и духовенство. Но, несмотря на это, оно выказывало необыкновенную способность на изобретение способов обогащения. Бывший, в 1830-х и в начале 1840-х годов, священником в с. Пестравке, Самарской губернии, и благочинным, Хрисанф Яковлевич Рождественский, переведённый потом в г. Новоузенск протоиереем, говорил мне однажды, когда я сам уже был благочинным: «Эх-хе-хе! что Новоузенск? Деревня: то ли дело Пестравка! Я там собирал даже брагой (домашнее пиво). Перед масленицей велишь работникам поставить на двое саней по бочке, да пойдёшь по дворам собирать брагой. Выходит кто-нибудь из хозяев: «Эх, батюшка, уж какая брага, что твой мёд!» — «Ну, лей сюда». Другой хозяин говорит: «Не удалась, батюшка, наша бражка, плоха вышла». — «Эту лей сюда». И таким образом наберу две сорокоуши браги».

— Куда же вы девали её?

— А вот куда: приходит масленица, почти все, и мужики и женщины, перед постом, идут ко мне прощаться⁶. Мужики идут ко мне, а жёны их к моей жене на кухню. Мужик несёт мешок пшеницы, или тушку баранины, а бабы — колотого гуся, индейку или полтушки баранины. Этой-то брагой мы и угощаем их. И мужики и бабы так уж и знают, что они будут пить у нас свою брагу. Дело тут не в браге, а в том, что их угощают батюшка с матушкой.

— Сколько же давал вам доходу этот фокус?

— Пшеницы пудов 500, да мяса и птицы пудов 50. Посолим и птицу и мясо, да и кормим летом рабочих. Хлеба я сеял помногу, покупным кормить дорого стоило бы.

Нет сомнения, что я взял крайности, что я взял в пример людей, выдающихся притязательностью; но духовенство, вообще, находится в таком положении, что люди и самые честные, и самые благородные, или по крайней мере, люди застенчивые, не могут не настаивать или, по крайней мере, не припрашивать при получении платы за некоторые требоисправления, как бы ни было больно это их сердцу.

Сельское духовенство имеет жалованья: настоятель 140 рублей, помощник его 108 рублей, псаломщик-дьячок 36 рублей, псаломщик-пономарь 24 рубля в год. При назначении жалованья, было Высочайше повелено: не брать ни за какие обязательные требы, как-то: крещение, исповедь, брак, елеосвящение, причащение, и погребение, и дозволено брать

6 В этом селе я бывал много раз. Очень богатое, в то время, село и, вероятно, около 3.000 жителей мужского пола.

только добровольные подаяния за требы необязательные: молебны, панихиды и литургии.

Не смотря на Высочайшее повеление и жалованье, братья за обязательные требоисправления духовенство не переставало. Поэтому, чрез некоторое время, последовало вновь Высочайшее повеление: за обязательные требы не брать. Духовенство осталось на жалованье и на добровольных платах за добровольные требоисправления. Но что значит добровольная плата? Значит дать, по моей доброй воле, — что мне вздумается. Священники же и причт его должны быть довольны этой добровольной платой. Один, например, крестьянин даёт за молебен, положим, 30 копеек — священник берёт и благодарит; другой даёт 10, — священник благодарит; третий даёт 3 копейки, — священник благодарит и этого. Всякому совершенно естественно платить, за что бы то ни было, насколько возможно, дешевле. Зачем, например, я буду платить за фунт хлеба 30 копеек, когда хлебник будет доволен, если я дам ему 3 копейки? Молва о том, что поп берёт за молебны и по 3 копейки разнесётся по приходу мгновенно. И священник не успеет пройти и четверти деревни, как все крестьяне будут платить ему за молебны 3 или 5 копеек. Так и было со мной, когда я, в первую Пасху, получал плату за молебны сам и не припрашивал ничего; так у меня бывает и ныне при молебнах и панихидах в церкви, — обыкновенная плата 1 или 3 копейки. Тут только и навёрстываешь тем, что служишь многим вместе; если же служишь и для одного, — плата та же 1 или 3 копейки. Мною уже испытано, что, в полном смысле слова, добровольная плата не даёт дохода на весь причт 50 рублей в год, в приходе в 1800 душ мужеского пола. Поэтому, при казённом жалованье и добровольных пожертвованиях, духовенство хотя и «облагорожено», но средства к содержанию его намного

уменьшились. Этих оставшихся средств оказалось решительно недостаточно к его существованию. Поэтому крайняя нужда и увековеченная привычка брать за все требоисправления делают нас преступниками Высочайшей воли: духовенство берёт и ныне за все требоисправления. Правда, консистории нашли возможность обойти и этот закон — не брать за обязательные требы: они разрешили брать за запись треб, т. е. за крещение, например, не брать, но за запись крещения в метрику, — брать; за совершение таинства брака не брать; но за запись брака брать можно. Так пишется у нас и в братских наших доходных книгах. Сколько же брать за запись, — этого не определено. Это опять добровольно. На чьей стороне должна быть эта добрая воля, — этого опять не сказано. А поэтому она и бывает всегда на стороне того, кто более настойчив. Берётся за писмоводство. При браке письма столько же, что и при крещении, — пять строк; однако же за запись крещения берётся 10 копеек и за запись брака 10 рублей (я беру среднее число). И это мы должны назвать делом справедливым, честным?! В такие ложные отношения к приходам поставлено сельское духовенство!...

Но городское духовенство имеет право брать за все требоисправления без стеснения совести, на законном основании: городскому духовенству жалованья не положено и оно оставлено жить доходами от требоисправлений. Чтобы уяснить себе положение священника при таких условиях жизни, я кратко покажу, кем пастырь должен быть при совершении таинств и молитвословий, по учению Слова Божия, и как дело это практикуется, по установившимся обычаям, утверждённым законом.

Священник есть посланник Божий, вестник Его Святой воли, руководитель людей в любви к Богу и ближним и,

следовательно, умиротворитель вражды всякого рода. Все силы души его всецело должны быть посвящены тому, что бы между людьми был полный мир, согласие и братская любовь; любовь же между им самим и теми, которых он руководит к любви, тем более, должна быть самая бескорыстная, безупречная, чистая и полная. Словом: пастырь и пасомые должны быть взаимно любящие друг друга, отец и дети. Всякая радость и горе пасомого должны быть также близки сердцу пастыря, как близки и отцу радость и горе детей его.

Родился новый член семейства, — священник чрез таинства крещения и миропомазания освящает его и радуется, вместе с родителями и восприемниками, и как новому члену семейства, и как новому члену Христовой церкви.

Чрез 40 дней после рождения, мать приносит младенца в храм, — и священник молится вместе с ними о здравии и спасении их обоих и на глазах всех присутствующих в храме воцерковляет его и предъявляет всем, что принесённый в храм есть такой же член Христовой церкви, как и все они, и радуется со всеми новому сочлену.

Прихожанин благодарит Господа за ниспосланную ему особенную Его милость, — священник совершает благодарственное молитвословие и, вместе с духовным сыном своим, благодарит Господа за ниспосланную милость Его и сорадуется радости сыновней.

Прихожанин имеет нужду в особенной помощи Божией и просит своего пастыря помолиться с ним вместе, чтоб Господь услышал их общую молитву, — и пастырь, как отец, сочувствующий нужде сыновней, молится о ниспослании милости Господней.

Пасомый восчувствовал своё греховное состояние и желает излить свою душу пред Богом и духовным отцем своим, — и пастырь приемлет его исповедь, утешает, вразумляет и именем Божиим объявляет ему прощение его согрешений и преподаёт ему Тело и Кровь Господню.

Прихожане желают вступить в брак, — священник вводит их во храм Господень, молится вместе с ними и освящает этот союз.

Постигло народное бедствие, — засуха, и грозит общим голодом, — священник молится, вместе с духовными детьми своими, об отвращении этой страшной смерти.

Человек чувствует себя тяжело больным, — священник помазует его освященным елеем и, вместе с домашними и ближними, молится об исцелении его от болезни и прощении его согрешений.

Пришёл день воспоминания пришествия на землю во плоти Спасителя мира, — и священник, как ангел, как вестник Божий, возвещает эту всемирную радость в жилищах его паствы, — славит родившегося Христа.

В день крещения Господня пастырь освящённой водой, изображающей, как бы, ту воду, в которую погружался Господь при крещении, опять ходит по домам паствы его и окропляет и пасомых и их жилища.

В первый день Св. Четыредесятницы священник молится с пасомыми о ниспослании помощи Божией в трудном подвиге поста, сердечного сокрушения и покаяния во грехах, яко да сподобится в чистой совести причаститься неосужденно Божественному Телу и животворящей Крови, излианной за весь мир, во оставление грехов.

В день воскресения Христова, православные христиане выражают радость свою общими поздравлениями и лобызаниями, — и первое поздравление и лобызание несут к своему пастырю. Пастырь в храме благословляет их яства и идёт в дома их прославить воскресшего Спасителя мира и тем увеличивает их радость.

Пасомый чувствует приближение смерти, — и пастырь напутствует его в жизнь вечную надеждой на милосердие Божие и преподаёт ему Тело и Кровь Господню, дарующую живот вечный.

Болевший помирает, — священник сопровождает прах его в храм Господень и молится, вместе с его родными и ближними, об упокоении души его; приносит бескровную жертву о здравии и спасении живых и усопших.

Словом: священник есть постоянный и неразлучный спутник пасомых им христиан со дня рождения их до могилы, и молитвенник о них по смерти. Вся жизнь его всецело должна быть посвящена пастве. И — святая, богоугодная жизнь прихожан, и сыновнее доверие, преданность и любовь к нему паствы должны быть ему наградой.

Но священник не бесплотный ангел небесный. Ему нужны помещение, пища, одежда, книги; ему нужны средства содержать своё семейство и доставлять содержание его помощникам, — причту. Где же эти средства? Ему и сказано, бери со своих духовных детей деньги за всё, что ты делаешь для них, и этими деньгами содержишься и ты сам, и семья твоя, и причт твой.

Имея в виду исключительно только эти средства к своему существованию, новопоставленный пастырь отправляется к своей пастве.

В приходе приносят к нему младенца для совершения над ним таинств крещения и миропомазания, — для освящения и усвоения крещёным даров Св. Духа.

— За это, кум, заплати. Этим должен существовать и я сам, и семья моя, и причт мой.

Через 40 дней после рождения, мать приходит с младенцем в храм для воцерковления младенца.

— Заплати! Хоть гривну, а давай.

Получит пасомый милость Божию, хочет излить пред Господом чувства своей пред Ним благодарности и просить своего пастыря поблагодарить за Его милосердие и порадоваться вместе с ним его благополучию.

— А что заплатишь за это?

Постигло человека несчастье; он обращается с молитвой к Господу, Его Пресвятой Матери и св. угодникам и просит своего отца духовного помолиться о нём.

— Хорошо! Но только за это заплати.

Восчувствовал христианин свою греховность пред Господом, желает излить пред Ним свою сокрушённую душу, просит священника принять его исповедь, — утешить, вразумить, укрепить болящую душу его; властью, данной ему Господом, дать ему отпущение согрешений его и преподать ему Тело и Кровь Господню.

— Дело это, бесспорно, прекрасное; но всё-таки, друг мой, за это ты должен мне заплатить.

Прихожане желают вступить в брак и просят своего пастыря освятить их союз и помолиться о них.

— А что дадите за это?

Тут идёт уже торг, и торг, у многих, самый позорный, самый унижительный. Тут припомнятся все старые недоплаты, недосыпки хлеба с одной стороны, и обеды и угощения, — с другой. Выйдут тут на сцену и гуси, и индейки, и бараны, и водка. Тут пойдут и ссоры, и мировая, и выпивка и, вместе с тем, надбавка: один полтинник прибавит, другой четвертак прибавит. И, Боже мой, что тут творится!...

Постигает народное бедствие — засуха, и грозит общим голодом. Но религиозное чувство в народе сильно, вера в милосердие Божие полная, — и прихожане просят своего священника помолиться с ними вместе и обойти с иконами их посеvy.

— Молиться я готов; но нужно же за это мне и заплатить, иначе я умру с голоду прежде вас всех.

Один член семейства страшно болен, и болен давно. Все имеющиеся под руками медицинские средства были употреблены, а помощи нет. Одна теперь надежда на помощь Божию. «Батюшка! Помолись о нём, соверши над ним таинство елеосвящения», говорят ближние.

— Изволь, я сделаю это с удовольствием, — помолюсь; но только заплати.

Пришли дни Рождества Христова и Богоявления. Хочешь ли ты, чтоб я пришёл к тебе с крестом и Св. водой, не хочешь ли, — это мне всё равно, я всё-таки приду, и хоть грош, а заплати. Мне самому невыносимо больно быть наянливым; но что ж я буду делать, когда мне не дано никаких других средств к моему существованию? Я брошен в мир без дома, без хлеба, без денег. Крайняя нужда заставляет меня быть наянливым. Я знаю, что ты осудишь меня. Но не осуждай, не зная дела!

Пришёл великий пост, — и батюшка шлёпает по приходу, с первой недели до последней, с молитвой «в начале поста св. Четыредесятницы», собирая зерном, курами, и кусками сала.

Пришла св. Пасха; православные христиане, в восторге радости, поздравляют своего пастыря с великим праздником и желают целованием с ним, как дети с отцом, выразить свою радость.

— За то, что я поцелуюсь с вами, давай яйцо!

Прихожане просят прославить воскресшего из мёртвых Спасителя, в домах их, и с благоговением встречают св. иконы, пред своими домами, с хлебом-солью.

— Хлеб-то ты отдай мне, а соль ссыпь просфорне; заплати мне и за то, что я буду прославлять Спасителя в твоём доме. Да давай по яйцу с каждого семьянина за то, что я буду целоваться с вами.

Прихожанин чувствует приближение смерти и желает напутствования в жизнь вечную.

— Дело христианское, святое; но... заплатить мне за это, всё-таки, надо. Ты болен телом, но у меня болит душа, может быть, более твоего, требуя платы за то дело, которое я должен сделать. Но куда же мне деваться, когда так устроено дело моего служения!...

Умирает больной, ближние его неутешны. Всё желание их теперь, чтоб Господь сподобил его вечного упокоения. Надежда на милосердие Божие есть единственное утешение в скорби, — и они, со слезами на глазах, просят священника помолиться о нём.

— Молитва об усопшем, — дело великое, святое и, вместе, это есть знак бескорыстной любви нашей к усопшему. Молиться я буду; но только за то, что я помолюсь о нём в вашем доме,

пред выносом в храм, — плата; за то, что я пройду при гробе от дому до храма, — другая; за молитву в храме, — третья; за проводы от храма до могилы, — четвертая; за то, что я выну часть из просфоры при литургии, — пятая; за самую литургию, — шестая; за запись на вечное поминовение, — седьмая.

Да что же, наконец, всё это такое, скажите ради Бога!... И это называется естественным, нормальным состоянием? И это так должно быть? И это не считается позором для религии? И эта плата, убивающая святое, благоговейное настроение и в пастырях и в пасомых, служит средством к жизни пастырям? И всё это узаконено?!...

— Да.

— Значит всё это хорошо, всё это так и быть должно?

— Иначе и не узаконилось бы.

Мы можем, однако же, положительно быть уверенными, что всё это, наконец, изменится. Если не доживём мы, так увидят это наши ближайшие потомки. В это наша крепкая вера.

— Сколько же давать за всё, скажите по крайней мере?

— Ну, в этом мы поторгнемся!... С бедного можно взять поменьше, а состоятельного можно и поприжать.

Пастырю, вестнику воли Божией — «поприжать»!... Какую тоску наводит это слово!...

Кроме того, что пастырю совсем не следовало бы «поприжать» — мужичка есть кому «поприжать» и без него, особенно если он сидит на знаменитом Гагаринском наделе. Отцы-благодетели «выручат его из нужды», дадут ему зимой возок соломки, да и выговорят за него десятинку спяхать, сборонить, посеять, сжать, смолотить, провеять и к благодетелю в амбар свезти. А если понадобится не один возок, а 5–6, и хворосту

возок-другой, да и водицы напиться⁷ то благотельская-то контора и залапит его, чуть не на круглый год. Кроме того мужичку нужно снять землицы под яровой хлеб, купить леску, снять под покос, — за всё это с него возьмут безбожные цены. Ему нужно, может быть, купить лошадку, коровку, овечку, снять у благотеля выгон, отдать пастухам, уплатить подати государственные, земские, налоги волостные, сельские, гарантию железной дороги; нужно есть и одеться, обуться, самому, семье; купить упряжь, соху и пр. и пр. Ему дорога каждая копейка. Невыносимо тяжела была жизнь крестьянина во время его рабства; но многим не легка она и теперь. Тогда били кнутом, а теперь рублём. Теперь, когда явились Гагаринцы-благотели, поясочками, платочками и медовыми речами сбившие с толку крестьян и заставившие их принять по одной десятине, и новые землевладельцы-купцы, — то многим крестьянам пришлось слишком тяжело. Землевладельцы-купцы высасывают последние соки и из мужика, и из самой земли. У этих новых землевладельцев единственная мысль, — барыш, нажива. На истощение земли не обращается внимания, теснят мужика до последней возможности. Кулаки эти, чтобы

7 В с. Х-ке крестьянские дворы раскинуты так, что между ними находятся большие пустыри и гуменики. В середине села большой овраг с речкой, плотиной и мельницей. Крестьян, почти силой, заставили принять по 1 десятине. Десятины эти вышли все в середине села, в пустырях и гумениках, а речка с прудом и мельницей, хоть и в середине села, вырезана к барину. Вокруг самого села обошла граница барской земли, а за то, чтоб крестьяне имели право пить воду, они обязались платить полтину ежегодно. Барин - в чине генерала и предводитель дворянства.

совсем забрать мужика в свои загребистые лапы, употребляют все способы, все плутни, чтобы снимать в аренды все свободные казённые земли. Снял землю кулак, — и тогда мужичку не двинуться ни взад, ни вперёд, — вечный раб, вечная кабала, безысходное нищенство... Только тогда несчастный мужичок и вздохнёт свободно, когда ему удастся снять самому казённый участок. Но это удаётся им крайне редко. Дорога, повторяю, мужичку копейка! Но она дорога и духовенству ещё более. Потребностей, нужд и требований от него несравненно больше, чем от мужика. Поэтому, при столкновении двух нуждающихся сторон, неизбежен торг. И торг этот, действительно, существует во всей своей силе.

После каждого торга остаётся, неизбежно, глубокий след в обоих торгующихся: крестьянин видит в своём пастыре такого же отца-благодетеля, как и землевладелец, спустивший его на одну десятинку, или арендатор, готовый стащить с него последнюю шкуру. О расположении, доверии, любви, — тут не может быть и речи. Прихожане смотрят на священника, как на существо пришлое, чуждое им, живущее их трудом, высасывающее их соки, стараются подавить его своим влиянием на него, отнять у него всякое значение и поставить его в полную от себя зависимость. Для этого употребляются ими все способы притеснений. Там же, где не берёт сила, они стараются влиять на него и сбить с толку подпаиваньем. И, действительно, слабохарактерные священники спиваются. Насколько прихожане считают священника для себя чуждым, а всё достояние его своим собственным, так на это составила даже пословица: «у попа, да у барина украсть никогда не грех».

Со своей стороны духовенство смотрит на приход, как на арендную статью; отчего и образовалось разделение приходов на «хорошие» и «плохие», и употребляет те же самые усилия и

те же самые средства к подчинению себе прихожан, какие употребляют прихожане к подчинению себе духовенства: духовенство теснит их, когда есть к тому возможность; в нужде поит, когда не берёт сила, и молчит, видя их пороки. Перевес той или другой стороны зависит от личного состава сторон.

И из-за чего эта неприязнь?... Из-за нескольких копеек?

Я сказал, что духовенство смотрит на приходы свои, как на арендную статью и делит их на «хорошие» и «плохие». Говорить так, для кого бы то ни было, неприлично, а для меня, священника, недостойно. Да мне, действительно, и не хотелось бы так говорить. Но как вы назовёте факт закрытия множества церквей и сокращения приходов?!... Что имелось здесь в виду? Исключительно улучшение материального состояния духовенства. На обыкновенных весах перевес одной стороны неизбежно должен быть на счёт другой, если нет посторонней тяжести. В чей ущерб сделано улучшение материального быта духовенства? В ущерб религиозно-нравственного состояния прихожан и влияния на них духовенства!... Вот и доказательство:

Сельские приходы состоят очень часто из множества деревень, в нашей же многоземельной местности они раскинуты на огромные пространства. Есть деревни, которые отстоят от своих приходских церквей более чем на 20 вёрст. За этими деревнями идут другие деревни, отстоящие от своих церквей на такие же расстояния; за селениями (по прямому направлению) опять деревни. И эта вторая церковь закрыта и приход приписан к первой. Когда же, спрашивается, жители этой последней, отдалённой деревни побывают в своём храме, когда побывают их дети, когда прихожане увидят своего священника и услышат от него слово назидания?!... Они оставлены дичать, коснеть в своём невежестве и суевериях и открывают собой широкое поле для пропаганды раскола всякого рода. И самые

священники лишены возможности следить за религиозно-нравственным состоянием своих прихожан. По нашему мнению, из-за какой-нибудь сотни рублей в пользу одного, жертвовать религиозно-нравственным состоянием многих сотен людей, — несправедливо.

XV

Условия, в какие поставлено духовенство в материальном отношении его, унижают и самое великое дело его служения. Мне не раз приводилось слышать, что молитвы на разные случаи: «во еже благословити брашна мяса», молитва «на прощение гроздия», «на основание дому», «хотящему отъйти в путь», и под., есть изобретение попов для сбора денег. Совершение даже самых таинств не может, иногда, назваться чистым, безупречным при таких отношениях пастырей к пастве, и теряет своё должное значение. Как может, например, прихожанин, держа священника в полной от себя зависимости, тесня его всеми способами и делая беспрестанные ему неприятности, приступить к таинству покаяния, раскрыть пред ним свою душу и с детской любовью и благоговением внимать его внушениям и принять разрешение во грехах? От этого и выходит часто то, что люди с нечистой совестью бегут исповедываться к чужому пастырю, оставаясь со злобою в душе к своему. А чрез это теряется, конечно, всякое значение исповеди и выполняется одна лишь её форма. Другие не исполняют этого великого таинства даже совсем. Может ли и священник беседовать с отеческою любовью, если у него нечиста совесть в отношении к кающемуся, — если он, когда-нибудь, сам теснил его и вымогал платы, сам угощал его, чтобы задобрить его к себе; льстил ему и снисходил его порокам и, вообще, подал ему повод ко греху?

В моём ведомстве есть два селения, где плата за требоисправления служила предлогом даже к отпадению в раскол. Приходы эти заражены расколом давно; хотя отделившихся от церкви совсем было немного, но прежние, притеснительные меры озлобили народ, он стал искать способы и предлоги к

явному отделению. С такой предвзятой мыслью приходит крестьянин к священнику и спрашивает, что возьмёт он за повенчание сына? Тот, зная мужика, скажет ему самую ничтожную плату.

— «Э! Батюшка, больно много! Торговаться с тобой мне не приходится, так уж лучше мы обойдёмся без тебя, пусть сам Христос повенчает». После этого сделайте, что вам угодно, венчайте ему даром, — он уйдёт, и слушать не будет. После многих таких случаев священники перестали назначать плату и стали брать то, что дадут им, не спрашивали, если и совсем не давали им ничего, — и крестьяне, со своей стороны, стали снова крестить, венчать и хоронить в церкви. Но за то, как живут причты этих приходов, это нужно видеть, — бедность крайняя, нужда во всём вопиющая!...

XVI

Жизнь течёт, и всё изменяется. Очень даже нередко случается, что то, что считается хорошим ныне, делается совершенно негодным и даже смешным — завтра. Так и наши поборы при требоисправлениях, в прежнее время были не только возможны, но были даже в порядке вещей; но только это было очень давно. Было время, когда грамотность была достоянием очень немногих. Книжным делом занимались только очень немногие из дворян и духовенства, большинство же общества совсем не имело научного образования, а равно и духовенство. Духовенство не отличалось от мужика ничем, — ни в умственном, ни в нравственном и ни в материальном отношениях: та же изба, та же одежда, те же лапти, та же соха, те же суеверия и те же понятия обо всём и отличалось разве только большим пьянством и безобразием. Во священники посвящали, часто, не только что малограмотных, но и совсем безграмотных, а иногда и прямо из-за сохи мужика. В слободе Мачихе, донской епархии, я знал двоих хохлов, ещё не старых, поповских детей (они старше меня, вероятно, лет на 6–10). Отец их был крепостной мужик Сидорко, хохол, как и все хохлы; любил петь и всегда певал на клиросе. Помер в селе священник, и барин послал Сидорку с письмом к преосвященному (кажется, в Воронеж) просить, чтобы Сидорку поставили в попы. Поставили, — и стал Сидорка поп. Детей его, родившихся до поставления в попы и после поставления, барин гонял на барщину, как и всех других своих хохлов. После него, священником был там мой дядя и уже в сороковых годах выхлопотал им волю. Сидорко как и до поповства ходил в кожухе и свитке, ел сало, цыбулю, да голушку, так и попом остался тем же Сидоркою, только больше стал к шинкарю наведываться.

Точно также и родовое духовенство ничем не отличалось от мужика: дети росли при отцах, вместе с ними работали, на содержание их не требовалось ничего: рубаха своя, кафтан и тулуп свои, лапти и, по праздникам, сапоги свои, живут и едят вместе с семьёй. Отец не только не тратил на воспитание сына ничего, но, напротив, сын помогал ему во всех работах, домашние же потребности были просты и скромны. В свободное от работ время парня учили читать, кое-как писать и петь на клиросе. Сын помогал отцу при богослужениях и, вместе с ним, таскался по дворам мужиков за делом и без дела. При первой возможности такой детина поступал в пономари и доходил до поповства. И такого попа одинаково порол, как епископ, так и барин. Мужик был для него другом детства; с ним он вёл советы по хозяйству, вместе с ним пахал и вместе с ним бражничал на всех праздниках, крестинах, свадьбах и похоронах... Конечно, такой священник, без стеснения совести, шёл к приятелю своему за всем, чего недоставало дома, и собиралось всем: зерном, мукой пшеничной, гречневой (надобно заметить, что для всего определялось особое время года), пшеном, сметаной, творогом, яйцами, шерстью, льном, пенькой и пирогами. При таком порядке у духовенства составила даже пословица: «в миру жить, и тестом брать».

Возьму в пример своих предков. Прадед мой был священником из нигде не обучавшихся пономарей. Дед мой и брат его росли при отце, выучились читать, писать, петь и звонить; но, вместе с отцом, и пахали, и сеяли, и молотили. При первой возможности дед мой определился в пономари в то же село к отцу, а брат его в соседнее. В пономарях он вёл советы с мужиками, когда выезжать пахать, косить, жать и пр. и вместе с ними работал. Мужик был неразлучным спутником его во всех обстоятельствах его жизни. Житейские потребности его были

те же самые, что и у мужика; такая же изба, одежда, пища и проч. Не только на него — пономаря, но даже и на отца его — священника, смотрели все, как мужики, так и господа, как на мужиков. Придёт, бывало, весь причт к господам служить, по какому-нибудь случаю, молебен отслужить, — и лакей ведёт его в людскую обедать. Отобедает, и ещё похваливается, что мы-де ныне у барина обедали!

Из пономарей дед мой поступил во дьяконы, в то же село, потом, по смерти отца, во священники и был 16 лет благочинным. Я помню его, когда он был уже благочинным. Он был очень любознателен, много читал, по тому времени, не пьющий и в высшей степени аккуратный старичок. Домик его был простая крестьянская изба, с лавками и полатями, но всё в ней было необыкновенно чисто. Вообще же это была выдающаяся личность своею скромностью, солидностью и любовью к чтению. А как у местного помещика богача, аристократа, нельзя было найти никаких книг, то дед мой много покупал их сам и всё, что можно было достать, брал у соседей-священников. Он лично сам работал до глубокой старости, бывши даже благочинным. Батюшка мой обучался уже в семинарии; хлебопашеством хотя и занимался, но сам лично уже не работал. Выпрашивать, притеснять прихожан он не мог, по его крайне кроткому характеру, как и дед мой, и потому жил в страшной бедности. Я же не нашёл для себя возможным работать и наёмным трудом. Взгляд мой на общество совсем не тот, какой имели мои дед и отец; взгляд самого общества на духовенство изменился, может быть, ещё более. Теперь не то воспитание, не та обстановка, не те потребности, — не та жизнь, что была при моих родителях. Даже у меня самого не та жизнь и потребности теперь, что были в начале моего поступления во священники. Время идёт, изменилось всё. Но средства к

нашему существованию остались те же, что были 50, 100, 150 лет назад. Естественно, что такая жизнь бросается в глаза обществу и тяжела для самого духовенства. Мы уже воспитаны так и живём при такой обстановке, что ни я, ни мои сверстники, а тем более младшие нас, не можем уже лично заниматься хлебопашеством, т. е. сами лично пахать, косить и пр. и этим трудом приобретать себе содержание. Я, например, во весь свой век, не брал в руки ни сохи, ни косы, ни цепа. Следовательно, поступивши в приход, мы неминуемо должны лечь на него всей своей тяжестью, — нам от приходов нужно не подспорье к своему хозяйству, как это было нужно нашим предкам, а всё полное содержание. В добавок к этому, время увеличило потребности духовенства, а тем более потребности наших детей. Изменился в образе жизни и самый народ: нет уже той простоты жизни и нравов, как было прежде, — нет в нашем крае ни лаптей, ни онуч, ни синих самотканых кафтанов, ни посконных набойчатых рубах; но, напротив, видеть на девушке драповый кафтан, в 4–5 рублей полусапожки, — дело обыкновенное; самовары имеются уже очень во многих домах; а между тем земля дорога, других средств, кроме земледелия, нет, — недостаток во всём. Следовательно, содержать нас нашим прихожанам несравненно тяжелее, чем это было для их предков. Чтобы удовлетворить своим самым необходимым потребностям жизни, мы должны, как нищие, таскаться по дворам и выпрашивать лотки хлеба и вымогать плату за требоисправления, — непременно; со стороны же крестьян неизбежно отстаиванье всеми силами трудовой своей копейки. Обоюдное неудовольствие есть прямое следствие такого положения. Больно сердцу каждого священника такое положение!...

Мы могли бы усыплять свою совесть тем, что нам не дано других средств к жизни, кроме нищенства и платы за требоис-

правления. Но каково нищенствовать, и чем же виноват прихожанин?

Мы могли бы усыплять свою совесть тем, что мы удовлетворяем духовным нуждам прихожан, существуем именно для прихожан, следовательно и должны жить на их средства, — жить на счёт тех, для кого мы существуем? Но плата за каждый шаг охлаждает религиозное чувство прихожан и умаляет значение великого дела. Какие же мы пастыри после этого?!

Мы могли бы усыплять свою совесть тем, что мы берём не за таинства и молитвословия, а за труд, за запись? Но какое название поведёт к неприятным столкновениям ни давайте, всё-таки эти столкновения и есть и будут, — неизбежно.

Мы могли бы усыплять свою совесть тем, что прихожане привыкли к нашим поборам и на припрашиванья и даже вымогательства наши, в большинстве случаев, относятся не особенно строго и смотрят на это, как на дело уже обыкновенное? Но это значит, что мы потеряли в их глазах должное своё значение, — на нас смотрят, как на подёнщика, с которым нужно торговаться. Русский народ привык к тому, что с ним торгуются при требоисправлениях; но, однако ж, мне хорошо известно, какая огромная разница в отношениях прихожан к тем священникам, которые вымогают, и к тем, которые довольствуются тем, что дают им, — разница огромная!

Наконец, мы могли бы усыпить свою совесть тем, что за совершение своих религиозных обрядов берут служители всех других вероисповеданий. Но, в таком случае, нам и хотелось бы сказать: «Оставим же мертвых погребсти своя мертвецы!» Если все берут, так и пусть их берут; но нам, имеющим счастье быть православными хотелось бы поддержать честь православия, дабы инославные, видя нашу взаимную любовь пастырей с пасомыми, прославили Отца нашего, Иже есть на небесех.

Если ж нам суждено жить на счёт наших приходов, и нет другого исхода к нашему существованию, то неужели мы не стоим того, чтоб сравнять нас с ксендзами, пасторами, муллами? В русском царстве с избытком обеспечена жизнь римско-католических ксендзов, евангелических пасторов и татарских мулл; православный же русский священник брошен на произвол судьбы, беден, унижен, обесславлен. И ксендз, и пастор, и мулла (их в нашей губернии много) берут с прихожан своих несравненно больше, чем русский священник; но берут без унижения и собственного их достоинства и достоинства их вероисповеданий. Не было примера, чтобы ксендз, пастор и мулла ходили по приходам с мешком и лукошком в руках и выпрашивали себе пропитание; для нас же это дело неизбежное. Русский крестьянин, в большинстве, беден, подаёт нам помалу, — и мы вынуждены собирать по приходу не один раз; за требы платит 2–3 копейки, — и нужда заставляет нас припрашивать, торговаться. От этого нас, даже печатно, клеймят и жадными, и невеждами. И жадных, и невежд во всех сословиях много, и несравненно больше, чем в нашем; но общество всегда к людям бедным и зависимым от него относится несравненно строже и, вследствие права сильного, про нас пишут, что мы «и тупы, и глупы, и даже безнравственны».

Но наша песня пропета, а дети наши?... Они обречены быть подёнщиками, пролетариями. В училищах наших сокращены ученические штаты, в высшие же заведения путь закрыт им совсем. Мужик, мещанин, немец-колонист, татарин, жид могут поступить в университет; сын же православного русского священника, если с младенчества не отрёкся от духовного учебного заведения, — семинарии, — не имеет права. Без образования, без состояния, без земли он обречён на вечную

гибель. Чтобы вполне понять это, нужно быть русским священником и отцом, как я!...

Что же такое, после этого, русский православный священник?! Продолжу мою биографию, и она будет ответом.

XVII

Давая мне место, по окончании курса, в селе Е. преосвященный сказал мне: «Я даю тебе место в Е., но я не забуду тебя». Действительно, чрез девять месяцев я был переведён в Мариинскую колонию питомцев Московского Воспитательного дома. Здесь все крестьяне имели казённые дома, имелось своё особое управление, и порядки, во многом, были аракчеевские. Косят, например, крестьяне всякий себе сена, но стога должны ставить в одну линию. По окончании покосов, дают знать управляющему, тот приезжает и видит, что несколько стогов выдались на аршин, или около этого, из линии. Сейчас хозяину порку, а стога велит переставить на своё место, — в линию. После осмотра и порки, хозяева могли возить сено на свои гумна. Но на гумнах линии соблюдались ещё строже. Точно также, в одну линию, на всех гумнах, должны быть поставлены все копны и клады хлеба. Ток (расчищенное место, где молотят хлеб) должен быть одной меры в одинаковом расстоянии от хлеба и в одной и той же стороне от него. Если, хотя на аршин не так, — лупка. Поэтому вы с конца деревни могли определить сколько имеется у крестьян ржи, сколько пшеницы, проса и пр., потому что каждому сорту хлеба была своя линия и в каждой кладе известное число снопов. Непременно раз в неделю приходил к хозяйке дома брандмейстер-солдат, и палкою шнырял в дымовой трубе. Если, хоть чуточку, сыпалась сажа, то часто эту палку он ломал о хозяйку дома.

При въезде моём в новый приход, меня обрадовала хорошая, правильная постройка крестьянских домов, хорошие дома чиновников и управляющего и, в особенности, прекрасная и огромная церковь. Но, вместе с тем, я увидел на площади, около церкви, человек 10 мужиков с тачками, лопатами и

мётлами в руках и с огромными, толстыми деревянными колодками на ногах и железными ошейниками, «рогатками». «Рогатка», как звали этот ошейник, была большое, толстое, железное кольцо, с шалнером в середине и с висящим замком наперед, обтянутое толстым сукном. От кольца шли во все стороны восемь зубьев в полвершка толщины и в четверть длины. Рабочие, — это были провинившиеся крестьяне, мои настоящие прихожане, пред управляющим. После я узнал, что в таком положении некоторые бывали дня по два и по три, а некоторые и по нескольку недель. С «рогаткой» на шею спать, обыкновенным порядком, не было возможности, поэтому наказуемые, ложась спать, прилаживали себе под голову или ведро, или толстое полено. Более провинившихся сажали в «трубной», — пожарном сарае, — верхом на ступицу колеса пожарной телеги, ноги под ступицей сковывались, а шея с «рогаткой» привязывалась к ободу колеса. В таком положении виновные просиживали по нескольку суток. Несчастный должен был так сидеть и день и ночь, в таком положении он должен был есть и в таком же спать. Его отковывали только по неотложной нужде. Сидит — сидит иной несчастный, да вдруг, иногда, и хлопнется, — и повиснет на своей рогатке. Сторож бывал тут неотлучно. Сейчас отвяжет, спрыснет, обольёт холодной водой, даст отдохнуть, — и опять на колесо. Так наказывались «товарищи» хозяев и «малолетки», — мальчишки лет от 10, преимущественно за непослушание и грубость своим пьяницам хозяевам. За воровство, хотя бы курицы, управляющие, особенно Хрущёв, наказывали так: он велит собрать в селе, поголовно, весь народ и при всех задаст 100 розг самых горячих. Из села он повезёт виновного в ближайшую деревню и там, тоже при всем народе, задаст 100. Из этой поедет в другую, третью, четвертую. А так как питомское поселение

состоит из села и четырёх деревень, то каждый вор получал 500 розг самых беспощадных. После этого виновному надевали «рогатку» и отпускали домой. Там он носил её столько недель, сколько назначал управляющий. Сёк всегда один, некто солдат Григорьев, брандмейстер с. Николаевского. А так как «товарищей» и «малолетков» секли беспрестанно, и секли жестоко, то у Григорьева развилась страсть сечь до безумия. Сёк он всегда из всех сил. Но когда ему долго не приводилось никого сечь, то он бесился, бросал свою шапку вверх и на лету подхватывал её розгою. Сынишку своего, мальчишку лет 15-ти, за каждую малость он сёк чуть не до смерти. Григорьев из Москвы был взят питомцами в Смоленскую губернию; оттуда вместе с ними переведён в Саратовскую и при мне жил ещё лет 10. Обязанностью его было, во всё это долгое время, смотреть за пожарными инструментами, чистотою питомских домов и сечь.

Приход мой я описывал. Это мои статьи, под заглавием: «Питомцы Московского Воспитательного Дома», помещённые в «Русской Старине» изд. 1879 г. Но для более полного описания его я не имел тогда свободного времени, и потому опущено тогда мною очень многое. Описывать же его теперь, — нейдёт к моей программе, и я, пользуясь случаем, вношу только несколько строк, как первое впечатление при въезде в новый приход.

В новом приходе я имел поместительный для себя казённый дом, с казённым отоплением и водою. Здесь было несколько чиновников, доктор, фельдшер, аптека, порядочная казённая библиотека, сельскохозяйственное учебное заведение, — ферма, приходская школа, хороший хор певчих. Прихожане-питомцы были народ состоятельный и в высшей степени простой и добрый, хотя и любили всегда выпить.

Обучение в школе было обязательное, точно также были обязательно и говенье в великий пост. Я занял должность законоучителя в учебной ферме и должность учителя и законоучителя в приходской школе. Здесь я ожил: у меня были и общество, и книги, и дело, и покойная квартира. Я считал своё место лучше всех мест губернского нашего города. Оно действительно таким и было.

Первою же весною к нам приехал преосвященный Афанасий (Дроздов) и остановился в доме управляющего Ремлингена. Ремлинген был истый остзейский немец, — высокий, дебелый и гордый господин. В это время к нему, как нарочито, наехало много гостей-немцев. Преосвященный приехал в сопровождении ректора семинарии, архимандрита Спиридона и градского благочинного, протоиерея Гавриила Чернышевского. К нам же вызвано было духовенство села Идолги и Сленцевки. Мы представились преосвященному. Преосвященный сидел в гостиной на диване, в стороне сидели архимандрит и протоиерей, вдоль же всех стен — немцы. Мы вошли, поклонились в ноги, приняли благословение, опять поклонились и встали к двери. Преосвященный, по одиночке, стал всех экзаменовывать. Он спрашивал, большей частью, по катехизису о таинствах и заставлял петь по октоиху. Изо всех он не спросил опять только меня. Дураков наполучали все от щедрот владыки, — без числа. Слово «дурак» у него было, как поговорка, его нельзя было считать и бранью; оно говорилось у него так себе, мимолётно, незаметно и для него самого. Каждый экзаменуемый подходил к столу, кланялся в ноги, отвечал, опять кланялся и отходил в сторону. Над ректором Спиридonom он прямо издевался. Он отдал ему проверить наши церковные приходо-расходные книги. Спиридон же их с роду и не видывал. Спросивши человека два-три из нас, преосвященный обращается к

ректору: «Ну, что, верно?» Тот замялся. Преосвященный захохотал: «А понимаешь ты сам-то, в чём может быть неверность?» Тот покраснел, — и ни слова. Преосвященный спросил ещё человека два, потом: «Ректор! Спроси его о чём-нибудь», указывая на дьякона. Спиридон опять замялся. — «Скажи мне о благодати!» Преосвященный: «Ха, ха, ха! О благодати! А ты спроси, знает ли он 10 заповедей!»

Протоиерей Чернышевский нашёл, что одна статья метрик у благочинного написана не по форме. И Боже мой, что тут было!... И дурак, и скотина, словом, преосвященный вышел из себя. Изо всех только с одним мной он обошёлся необыкновенно ласково: он спросил меня, доволен ли я новым приходом, как живу, что делаю и сказал: «Я не забуду тебя». Действительно не забыл: тотчас по приезде преподал мне архипастырское благословение, а чрез полтора года дал мне должность благочинного. Преосвященный отпустил нас, мы поклонились и ушли. Такой порядок поклонов был у нас везде.

По отъезде преосвященного, Ремлинген прислал за мной и говорит, что преосвященный очень доволен мной, что спрашивал его обо мне, и что он — Ремлинген, — со своей стороны, похвалил меня. Но за то другие немцы, его гости, с которыми я был уже хорошо знаком, задали мне: одни представляли, как дьячки и дьякона пели, другие, — как мы кланялись, третьи, — как мы ползли на четвереньках чрез все комнаты; один сел на диван и представлял преосвященного, другой — дьячка. На наш счёт потешались все, и на все лады. Как ни были неприятны мне эти дружеские шутки, но я, по неволе, должен был терпеть и отшучиваться, потому что я знал хорошо, что пожалуйся на меня Ремлинген, — и я опять в своей богохранимой Е.

Жить в этом приходе можно было без горя; но злоупотребления властью управляющего, безалаберщина в управлении и жестокость возмущали душу. Едешь, бывало, в деревню к больному, сидишь — молчишь, а кучер-мужик и поёт тебе всю дорогу, и взад и вперёд, про свои порядки, — что управляющий двойные берёт подати, заставляет на себя работать, безвинно сечёт и т. под. Идёшь по улице или в церковь, а тебя останавливает мужик или мальчик с рогаткой или колодкой, плачет, показывает, как натёрла ему шею рогатка или ногу колодка, и просит заступничества. В чужое дело я никогда не вступался, но иногда пойдёшь к управляющему посидеть вечерком и, в разговоре, слегка скажешь, как трудны эти рогатки и колодки, что они до мяса протирают кожу. Но он: «Русский мужик, — как бык. С ним можно обращаться только так. Натёр шею, ногу, — ну, что ж? Натрёт бык ярмом шею, — поболит да заживёт. Вы ещё молоды, мужика не знаете, вот и жалеете».

— А мальчики? Им рогатки перетирают шеи!

— Будет умней. Слушайся хозяина с хозяйкой. Им хозяева вместо родных отца-матери.

Однажды один крестьянин остановил меня на улице, показал мне свою, обтёртую колодкой, ногу и просил моего заступничества. Вечером я пошёл к Ремлингену и просил его смиловаться над несчастным. Ремлинген дал мне обещание освободить и, действительно, утром освободил, но пред этим, за то, что он жаловался, Григорьев задал ему горячую баню. С этих пор я перестал ходатайствовать.

Неудовольствие крестьян своим положением росло с каждым днём и, наконец, чрез год, разразилось открытым «бунтом» (см. «Русскую Старину» изд. 1879 г., том XXV).

В статьях моих «Питомцы Московского Воспитательного Дома» я довольно подробно описал «бунт» их. О священнике я говорил там в третьем лице. Но всё, что говорил я там о нём, я говорил это о себе. В бунт этот я подвергался опасности не только быть сосланным в Сибирь, но даже было много случаев, когда каждое мгновение я ждал, что вот-вот убьют меня, или разорвут на части. Бунт этот четыре года тянул мою душу, измаял меня до болезни и кончился тем, что прихожан моих, почти всех поголовно, сослали в Сибирь. Я остался почти без прихода, сельская школа закрылась и я сделался почти нищим...

Оставшиеся крестьяне и вновь поселённые из ведомства Опекунского Совета поступили в ведомство министерства государственных имуществ; бывшие при питомцах управляющий и другие чиновники остались исключительно для учебного заведения. Во время ещё бунта Ремлинген помер.

После Ремлингена начальником учебного заведения сделался его помощник А.З.Марковский. Это был умный и в высшей степени деятельный начальник. Учебная и хозяйственная части при нём были в лучшем порядке. Много памятников его деятельности сохранилось и до сего времени. Не опуская сам ни одного богослужения, он строго следил за нравственностью и учеников. Управление Марковского было лучшее время для заведения, в нравственном отношении, по настоящий день. Но, к сожалению, Марковский помер через четыре года.

Наместник Марковского... Но приостановлюсь, дабы гусей не раздражить. Нет ничего хорошего вспомнить; а всё что довелось бы вспоминать, было так недавно, лица эти все ещё живы... В 1864 году ферма преобразована в земледельческое училище, круг предметов расширен, введены естественные науки, на меня возложено преподавание закона Божия и

истории России... Всем наставникам было положено жалованья по 600 рублей. За преподавание же закона Божия и истории России 150 рублей. За неприбытием полного числа наставников, я два с половиной года преподавал, кроме своих предметов, русский язык, литературу, географию и арифметику. За два с половиной года мне выдано 70 рублей. Года через два учителям увеличено жалованье до 800 рублей. Законоучителю, при русской истории, положено 300 рублей.

Мало-помалу прибыли учителя, но, увы, семья не без урда: нашлись между ними и те, слава Богу, выводящиеся уже дешёвенькие «вольнодумцы», которые не стыдились пошлых выходок против библии, против религии. Довелось мне горячо и резко говорить против неосмысленных болтунов, — не стеснявшихся даже в педагогическом совете...

Каждый год приезжал к нам инспектор Н.Н.Скв. Живёт, бывало, недели три, ночи играет в карты, днём спит, — и больше ничего. Накануне отъезда велит собрать учеников в один класс, сделает лёгонький экзамен, — и уедет.

В один из обычных его приездов я прихожу, однажды, в класс, и вижу, что нет иконы. Я спрашиваю: где икона, и мне отвечают, что директор велел вынести иконы из всех классов. После класса я спрашиваю директора Горбика (ныне покойный), что значит, что иконы вынесены из всех классов?

— Это сделано по приказанию Николая Николаевича Скв. Знаете: учителя могут делать гримасы. Чтобы не оскорблять святыни и не дать повода и ученикам небрежно относиться к иконам, он и приказал убрать их. Притом в класс ходят не молиться, а учиться: иконы тут и не нужны. Для молитвы есть церковь.

— Из класса нужны вышвырнуть не икону из-за гримасы, а того, кто осмелился бы делать гримасы. Потрудитесь приказать поставить иконы опять на своё место. Если же они не будут поставлены, то я не буду ходить и в класс. Потрудитесь передать это тому, кто приказал вынести иконы.

В тот же день управляющий поехал в Саратов, купил новые иконы и на другой день, до классов, они уже были поставлены. Стало быть иконы были вынесены как бы затем, чтоб заменить их новыми. Но для меня это было безразлично. Маскируйся, думаю, как знаешь, а моё дело сделано.

Иконы внесены, но это горько отозвалось и на мне, и на моих детях на всю жизнь, через два года!...

XVIII

Время шло. У меня родились дети, стали подрастать и подошла пора учить их. Учить, — но оказалось, что многого не знал я и прежде, а к этому времени перезабыл и то, что знал когда-то. Пришлось учиться снова самому, и учиться серьёзно, — чтобы учить. Я накопил всевозможных учебников, и всевозможных к ним пособий. Днём я занимался с детьми, а ночи просиживал, готовился сам. Мне пришлось снова учить латинские и греческие склонения и спряжения, всеобщую историю и др. То, что необходимо было заучивать, — дети учили; остальное всё у нас шло устными беседами. По части географии, этнографии, истории дети мои перечитали, кажется, всевозможные путешествия и описания. Для того, чтобы заохотить их к чтению, я покупал в своём городе и выписывал детские книги и детские журналы, на собственное имя каждого из них, отдельно. Приносится, бывало, почта, дети мои бросятся за своими журналами, а моему родительскому сердцу это и любо! Любовь к чтению я развил в них до высшей степени, так что впоследствии, когда они подросли и стали приезжать домой на каникулы, то стали уже донимать меня: только и слышишь, бывало: «Папаша, читать нечего! Папаша, читать нечего!» Пойдёшь в библиотеку, заберёшь там всё, подходящее им; а они, дня через три, опять: «Папаша, читать нечего!»

Старшая из детей моих была дочь. В то время в городе нашем не было ни пансионов, ни гимназий и ничего подобного. И мне пришлось заниматься с ней самому. Я прошёл с ней весь гимназический курс, так что в занятиях с мальчиками по русскому языку, географии, арифметике, священной и всеобщей истории она помогала мне. Но мне хотелось, во что бы то ни стало, обучить её и музыке. Музыка, в то время, — вещь

небывалая в духовенстве. Игры на рояле дочь моя и не слыживала. К нашему счастью один из учителей играл, но своего рояля не имел. Я купил в 150 рублей фортепиано и нанял учителя. Купил школу, кажется, Черни. Учитель занимался с ней по три часа в неделю. Во время занятий его с ней, я внимательно следил за каждым его словом и потом повторял с ней. Но после 15-ти уроков, по причинам, независящим от нас, уроки с учителем прекратились. Дело наше казалось пропавшим. Но я когда-то был в архиерейских певчих и теорию музыки знал. Поэтому стал заниматься музыкой с дочерью сам. Дело вышло и глупое и смешное: не умея играть, я стал учить играть. Дочери моей было, в то время, 12 лет. Начнёт, бывало, дочь играть, я смотрю в ноты, и слышу что она взяла не ту нотку, какую нужно. Стой, говорю, вот как нужно сыграть это, и пропою ей. Отыщет дочь нужную нотку, — и пойдёт дело. По правде сказать, много труда положила она с таким учителем, дорого досталась ей музыка! Но мы оба занимались с любовью, и поэтому дело поняла она скоро. Когда она стала играть уже порядочно, тогда я купил ей рояль. Охоты прибавилось, — и дело пошло хорошо. После выйти замуж ей пришлось за светское лицо, артистически играющее на скрипке, и я ныне, слушая их игру, радуюсь, что труды наши с ней не пропали и что дочь моя имеет возможность доставлять себе это невинное и благородное удовольствие. Дело наше с музыкой показало, что многое может человек сделать, если есть любовь к делу и не жалеет своих трудов и что неприятное дело может, иногда, приносить пользу. Сколько, например, горя перенёс, сколько пролил слёз я, бывши в певчих! «Певческая» на весь век подорвала моё здоровье; но, благодаря тому, что я был в певчих, дочь моя хорошо играет на рояле.

Когда я увидел, что старшие мои два сына подготовлены уже достаточно, то я поместил их в 4-й класс духовного училища, и нашёл им лучшую, по моим силам, квартиру. За квартиру я всегда платил по 18–20 рублей в месяц за мальчика — цена, в то время, неслыханно высокая. Квартиры были всегда отдельные, чистые, светлые, просторные и сухие и, кроме хозяев, в домах не было никого. Держать детей на таких квартирах было непременно наше с женой правило. А так как мальчики наши подготовлены были достаточно и в училище им, почти, нечего было делать, то чтобы не скучали о доме и не приучались болтаться без дела, я выписал им и туда по журналу. Чтобы приучить их к наблюдательности и уметь излагать свои наблюдения на бумаге, они дома вели свои дневники, а я велел вести их и там. Через год они перешли в семинарию. Старшему из них было 13 лет, а младшему 11.

Через год вышло преобразование семинарий. Вышло и распоряжение, что окончившие полный курс семинарии должны идти в пономари до тридцатилетнего возраста. Стало быть, моему меньшому сыну пришлось бы быть пономарём слишком 12 лет! Думаем с женой: нет, это дело нам не подходящее! Если я, — священник, — при несравненно беднейшем в семинарии воспитании, не мог переносить своей нужды и унижений в Е., то дети наши, при лучшем воспитании, при пономарском доходе (пономарь получает 1/4 часть дохода против священника) и полнейшем презрении общества, переносить этого не могут. Теперь они чисто одеты, обуты, в хорошей квартире, в хорошем семействе, имеют занятия, книги, трудятся, не спят ночи, — и вдруг, за многолетние труды, они должны будут забиться куда-нибудь в глушь, в деревню, таскаться по крестьянским избам, жить за одно семейство с мужиками, в тех же тёмных, вонючих, грязных и

гнилых избах, вместе с их ягнятами, телятами, где, — как мне известно по опыту, — нет решительно возможности дышать и пяти минут. Они привыкли читать. А в пономарях где возьмут они книг и где читать их будут? Теперь сын мой сыт, одет и независим. Как же пойдёт он, с мешком на плечах, — будучи пономарём, — кланяться и вымаливать у последнего мужика и бабы себе пропитание, чтобы не умереть с голоду?! Такая жизнь хуже каторги. Каторжника, по крайней мере, одевают, кормят и дают помещение; псаломщику же не дают ничего ровно. И он должен будет вести такую жизнь целых 10–12 лет! Что выйдет из него через 10–12 лет! Куда он будет годен? Жизнь для моего сына в пономарях была бы даже много хуже жизни каторжника: но если в каторгу ссылают на 10–12 лет, то за самые важные преступления, то за что же мой сын, честный труженик науки, будет терпеть это наказание?!... Нет, думаю, детоубийцею я не был и не буду! В каникулы я разъяснил детям то, что ожидает их по окончании курса; дети мои, в один голос, сказали мне, что они будут готовиться в инженеры.

Да, если наш век гордится замечательными изобретениями: железными дорогами, телеграфами, телефонами и под., то православное духовенство наше по справедливости может считать замечательным изобретением псаломщичество, как вернейшее средство к отвлечению лучших его сил от поступления в духовное звание и к гибели тех, которых крайняя нужда заставляет поступать туда...

Очень может быть, что меня заподозрят в преувеличении и скажут, что жизнь сельского псаломщика не так несчастна и гибельна, как говорю я; но у меня нет псаломщиками ни детей и ни родственников, и преувеличивать мне, поэтому, решительно нет надобности. Я — сельский священник, и благочинным, почти, весь свой век; быт сельского духовенства не знать,

во всей его полноте, стало быть, не могу; и я знаю его вполне, во всех отношениях, и повторяю: молодые люди, окончившие курс семинарии и идущие в псаломщики или сельские учителя, идут прямо на нравственную гибель. Духовенство наше понимает это хорошо, доказательства на лицо: учебные заведения наши пустеют.

До положения о пономарстве я и не думал о светских учебных заведениях. Обучая детей своих, я имел в виду просто только образование; но с положением о псаломщиках пришлось подумать, а подумать было о чём: содержать в светских высших учебных заведениях было не по моим силам. Да и поступить туда было не легко, особенно туда, куда хотелось поступить моим детям. Но дети мои, не оставляя классных занятий, стали усиленно заниматься математикой и физикой; мне же оставалось только доставлять им всевозможные к тому способы. По окончании четвёртого класса, я взял их из семинарии и отвёз в Петербург, где они поступили: один — в институт горных инженеров, другой — в институт инженеров путей сообщения. Последних двоих сыновей своих уже я прямо поместил в классическую гимназию, из которых старший обучается теперь в С.-Петербурге, а младший, бывший уже в пятом классе, — помер. Будь, хоть малость, сноснее жизнь сельского священника, и главное, не будь положения о пономарстве, — мои дети все были бы священниками. Теперь же изо всех, — ни одного.

Итак, я сказал бы теперь г. хроникёру того достоуважаемого журнала, из которого я сделал маленькую выписку в начале одной из предыдущих глав моих записок: не «грязное, отупелое и безнравственное состояние наше» заставляет детей наших выходить в светское звание, а та бедность, то униженное состояние, в которое мы поставлены обществом, и мы —

отцы — направляем их туда сами, не желая подвергать их тому что терпим мы. Надеюсь, что нельзя укорять нас и в том, чтобы мы не употребляли всех средств и усилий к их образованию. Нет, при наших ничтожных материальных средствах, мы даём им такое образование, какое дать не многим удаётся и людям несравненно с большими к тому средствами. Примером тому, если угодно, я сам, а подобных мне множество. Хвалиться и лгать я не могу даже и потому, что то, что пишу я, я знаю, будут читать те, кто знает хорошо меня лично, и будут читать мои дети. И я говорю то, что действительно есть.

Собираясь отвезти детей в Петербург, я много задолжал. По приезде оттуда я отвёз третьего сына в Саратов и поместил его в третий класс классической гимназии. Расхода и на этого сына нужно было не мало. Вся надежда моя была на жалованье от учебного заведения, при котором состоял я законоучителем и учителем истории России, тем более, что года три я получал уже по 800 рублей.

Но вдруг, в октябре месяце, я получаю от управляющего заведением уведомление директора Горбика, что я удалён от должности законоучителя. Что значит? За что? Почему? Понять не могу. Классов я не опускал, на экзаменах ученики, по моему предмету, отвечали всегда хорошо; за мои предметы никто и никогда не бывал оставляем в том же классе. Что же значит это? Частно пишу в Петербург, и мне отвечают, что инспектор училищ Н.Н.Скв., донёс начальству, что у меня много должностей, и что поэтому Закон Божий не может быть преподаваем мною успешно. Э, думаю, это старая песня: это иконы!... Дело, значит, непоправимое. На моё место, тотчас же, определено светское лицо. Так как дело это было нечестное, и нечистое, то Н... с директором постарались сделать это

для меня, нечаянно, вдруг, чтобы поворот назад был невозможен.

Всякий честный хозяин, если видит неисправность прислуги, предупреждает её и говорит: «Делай так, как мне нужно; иначе держать тебя я не могу». Так следовало бы поступить и со мной, если бы я действительно был неисправным. Но предупредить меня было нечем, дело своё я исполнял добросовестно. Самая поспешность и скрытность доказывает уже, что дело это нечисто. И меня уволили.

Пример мой да будет уроком священникам, находящимся законоучителями в светских учебных заведениях!...

Рассказывать ли как затем начальство, снисходя к моей 24-х летней службе по учебной части, выдало мне в единовременное пособие на воспитание моих детей сто пятьдесят рублей! Рассказывать как это пособие состоялось — не буду, слишком больно вспоминать, но упоминаю об этом, чтобы показать, как иногда гражданские власти смотрят на попа.

Удаление меня от должности показывает, что, как священник добросовестно ни исполняй свои обязанности, но он (зачастую) в глазах гражданского начальства, всё-таки, не более, как — человек, не стоящий внимания; его выгонят по первому капризу, особенно, если, к тому, он будет ещё умничать, противиться приказаниям начальства, хотя приказания эти были бы в роде приказания вынесения икон из классов.

Если же так зачастую смотрят на нас лица, стоящие во главе администрации, — те, на обязанности коих лежит поддерживать нас, — те, кои в самых важных государственных случаях обращаются к нам за содействием и содействовать коим мы употребляем все наши силы, то чего лучшего можем ожидать мы от низших членов общества?! Мы и можем ожи-

дать только того, что есть теперь на самом деле: мы весьма часто вполне унижены.

При таком воспитании, какое детям своим давал я, денег нажить я не мог. В год же моего увольнения особенно я сделал долги и, поэтому, терпел крайнюю нужду. От одних сельских доходов, жалованья по должности благочинного и жалованья от казны (144 рубля в год) содержаться самому, содержать двоих сыновей в Петербурге и одного в Саратове для меня было невыносимо тяжело. Я едва не сошёл с ума. А такая жестокость, такая вопиющая несправедливость в удалении меня и в назначении пособия на воспитание детей 150 рублей одновременно, глубоко оскорбляли меня. Будь у меня в то время, хоть только 200 рублей в запасе, — я эти 150 рублей, пожертвованных мне, попросил бы отослать обратно. Но крайняя нужда заставила меня взять их.

После один господин, из лиц высокопоставленных, говорил мне, что у министерства «нет сумм». Что для духовенства «нет сумм» не только в одном министерстве, но и вообще, в нашем государстве, — это известно не только всему духовенству, но и всей России, даже всему свету. Сколько у нас, в последнее время, открыто новых учреждений и должностей, начиная, хотя, с судебных палат и кончая урядником, — и для всех их найдены «суммы». Во всех старых присутственных местах служащим увеличено содержание. И только единственно нам, — попам, — «нет сумм».

Вальтер Скотт говорит: «Упрёки тех, у которых нет другого облегчения в страданиях, кроме плачевного о них рассказа, редко доходят до ушей вельмож, которые были причиной этих страданий». В то время и я верил в справедливость тогдашнего министра государственных имуществ, разъясняя ему дело, подавал прошение о вспоможении на воспитание детей; в

бытность у нас в селении, тем же летом, он лично выразил мне полное участие, — и назначил 150 рублей единовременно. Единственное утешение теперь мне, именно рассказать о бывшем со мною несчастье.

В настоящее время, во всяком учреждении, которое найдено полезным государству, сделаны и делаются постоянные улучшения и изменения, согласно требованиям времени. Правительство старается привлечь туда лучшие силы; обеспечивает их материальный быт и доставляет им все способы к выполнению ими их обязанностей; но ни для религиозно-нравственного состояния общества, ни для религии и ни для служителей её не сделано ничего подобного.

XIX

Что сделано для религиозно-нравственного состояния общества?

Во многих местах по несколько приходов соединено вместе, — в один приход. В религиозно-нравственном отношении для народа это есть прямое зло...

В последнее время довольно много устроено сельских школ, но в них обучение Закону Божию поставлено неудовлетворительно.

В этом опять, по обыкновению, винят попов. Попы «тупы, глупы, безнравственны! Они не сочувствуют народному образованию, не учат в школах», кричат все. И духовные, и гражданские власти преподавание Закона Божия в школах считают прямой обязанностью священников, как совершение таинств и молитвословий. Гражданские власти жалуются епископам на священников как на нерадивых, не исполняющих своего долга; некоторые епископы, как приводилось мне слышать, по первой же жалобе, подвергают священников конечному разорению, — переводят их в беднейшие приходы.

Но на каком основании все эти требования?

Духовные власти, управляющие нами, в действиях своих должны иметь руководством слово Божие и соборные постановления. Где же в слове Божиим и постановлениях церкви возложена на пастыря обязанность учить в школах? В первые времена христианства, когда организовалась церковь, собирались соборы и писались отеческие правила, — школы были, и были не хуже наших земских; были и достойные, и учёные пастыри церкви, более нас ревновавшие о религиозно-нравственном состоянии христиан; однако же никто из них не возлагал на священника обязанности учить в школах; и те из

архипастырей, которые сами писали руководства для других пастырей, — об обучении детей в школах не сказали ни полуслова.

Мы не отрицаем, что поучать народ Закону Божию мы должны; но поучать должны в школах не сельских, а в своих, — в храмах Божиих, что мы все, по своим силам, и делаем. Мы поучаем народ и в храмах и, при каждом удобном случае, вне храмов; стараемся, по мере сил своих, поучать его и примером труженической жизни и перенесения обид и поношений. Слово Божие говорит нам: научи, обличи, — но не говорит: в школах учи! Обязанность эту мы положительно отвергаем.

Если же обучения в школах требуют от нас власти гражданские, то пусть платят нам за это. Пусть платят нам: 1) как, вообще, за труд, а всякий труд должен быть оплачен. Хотя ничего нет легче в жизни, как предписывать и приказывать, однако те, которые приказывают нам, — только за то, что приказывают, — получают плату, жалованье; нам же, трудящимся, не хотят дать ничего. Может ли быть, например, что-нибудь тунеяднее **инспектора народных школ**? Он, в три года, побывает не более одного раза в школе; но взгляните, что он проделывает там: как он издевается над священником, как он позорит пред детьми, в самой школе, учителя, какие он строчит доносы! Пользы же школе ни на иоту. А между тем посмотрите на его жалованье! Оно таково, что могло бы принести большую и существенную пользу школам всего того района, которым заведывает он, обративши его на покупку книг. Если инспектора существуют у нас, как жандармы, то в течение трёх лет, — от одного приезда его до другого, — утечёт воды много: не им усмотреть, если бы что-нибудь и случилось! Но случиться и нечему, мы народ знаем хорошо. От пришлого же народа оберегать не инспекторам. 2) Нам должны платить

за то, что занятия в школах отнимают у нас время и средства к нашему существованию. Мне лично известны многие священники, которые, по крайней бедности своей, весь свой век не имеют у себя работников и, потому, везде и всё делают сами: сами убирают на дворе, — чистят навоз, подметают, сами ухаживают за скотом, рубят дрова, делают кизик, ездят на речку с бочкой за водой, в лес; сами косят, пашут и пр. пр. Он несчастный, — бедный труженик весь свой век. И от него требуют, чтобы он занимался в школе! Кто же стал бы делать за него всё то, что делает он? Дайте ему возможность заменить себя в домашних трудах, — нанять работника, проще: дайте ему жалованье, — и он с охотой переменит соху на школу. Без этого же требовать от него школьных занятий значит отнимать у него последние средства к его существованию, — требовать незаконного.

Саратовское уездное земское собрание законоучителям сперва не назначило жалованья совсем; но потом назначило по двенадцати рублей в год; с обязательством, чтобы священники занимались не менее 5-ти классов в неделю. Кто здесь, во мнении земского собрания, оценён по достоинству: предмет, или преподаватель? Священники в школах, изредка, занимались, но от жалованья отказались. В настоящее время собраньем назначено по 50 рублей в год. Но и это жалованье выдаётся по усмотрению членов училищного совета: одним священникам выдаётся сполна, другим только половина, а третьим не даётся ничего. Сами же члены бывают раз, много два в год, а некто Шаб... во всё своё трёхлетие, не был ни разу ни в одной школе; однако же жалованья получают по 600 рублей в год. Сравните же труды священника и члена училищного совета и оценку трудов их. Так у нас и во всём: где священник, — там и «сумм нет».

В средних учебных заведениях Закон Божий преподаётся хорошо и ученики занимаются им усердно; но из поступающих туда едва ли оканчивает курс и 10%. Остальные все **исключаются** в течение курса. И эти недоучки — горе себе и родителям, бремя церкви и обществу.

Студенты высших учебных заведений на классы Закона Божия не ходят совсем. На лекциях по Закону Божию бывает обыкновенно два-три студента, не более. Законоучители не имеют средств заставить студентов слушать их лекции и только потому, чтобы самим держаться на своих местах, вынуждены давать студентам на экзаменах удовлетворительные баллы. Нам известен один пример из практики петербургских законоучителей: в одном из высших учебных заведений студенты, по обыкновению, лекций по Закону Божию не посещали; на экзаменах, конечно, ничего не знали и не отвечали; законоучитель и начал было давать баллы по достоинству. Но ему сказали: «Если студенты ваших лекций не посещали, и теперь ничего не знают, то это значит, что вы не умели заинтересовать их, неудовлетворительно читали и тем роняете пред начальством и обществом заведение. Поэтому, или вы сами должны оставить заведение, или давать удовлетворительные баллы. Не можем же мы из-за вашего предмета оставлять студента на том же курсе; здесь не духовная академия». И о. законоучитель должен был поставить удовлетворительные баллы. Этот случай, вероятно, известен всем петербургским законоучителям. Потому теперь все они, как люди умные, ставят всем баллы удовлетворительные, хотя лекций их никто не слушает.

Молодые люди, видя послабление со стороны начальства, и то, что законоучителей заставляют давать удовлетворитель-

ные баллы на экзаменах, считают Закон Божий нестоящим труда, и не занимаются им, — не изучают его.

Не получивши основательных познаний в религии в учебном заведении, не получивши не только навыку, но даже и расположения к чтению книг религиозно-нравственного содержания, и в то же время, читая зачастую безнравственные переводные романы, молодые люди делаются, большей частью, одни — холодными к религии, а другие — даже прямо враждебными ей. Такими они поступают в жизнь и такое направление вносят в семейство и общество. Вследствие такого воспитания вы не встретите теперь ни в одном, так называемом порядочном, доме ни одного духовного журнала и ни одной религиозно-нравственной книги. Послушайте разговоры в любом порядочном доме, — о религии никогда ни слова. Посмотрите на жизнь общества, — вы встречаете безнравственность на каждом шагу. Я отнюдь не говорю, чтобы в обществе безнравственность была круговая; много встречается людей, достойных и уважения, и подражания, по их религиозно-нравственному состоянию; но на стороне противной, всё-таки остаётся огромное большинство. Мне не раз приводилось бывать, в особенности в Петербурге и его окрестностях, на общественных гуляньях, слушать музыку, смотреть фейерверки, быть в Эрмитаже, зоологическом саду и т. п., всё это переполнено народом; но храмы Божии, несмотря на то, что их там мало, — пусты.

Мне случилось быть однажды в большой придворной церкви, в храмовый день, 1-го августа. Литургию служил В.Б.Бажанов; на обоих клиросах пели придворные певчие. В этот день в эту церковь допускаются все, кому угодно (в другие дни вход посторонним воспрещается, кроме священников, которым дозволяется бывать всегда); однако же, можно

сказать, что церковь была пуста, хотя она не особенно и велика. А между тем сходить туда и отстоять обедню и молебен, хотя только из-за того, чтобы послушать певчих, стоит. Певчие пели восхитительно. Но как были пропеты два раза запевы при молебне: «Слава Тебе Боже наш, слава Тебе», — так этого нет возможности выразить: слушая это пение вы умиляетесь, таете, уничтожаетесь... Вы, именно, не помните, где вы стоите, — «на небе или на земле»! Это верх совершенства! Потом я был, 30-го августа в соборе Александро-Невской лавры. Служил высокопреосвященный митрополит Исидор с четырьмя архиепископами. На одном клиросе пели певчие придворные, на другом митрополичьи. Пение было чудно хорошее; но концерт: «в память вечную будет праведник», — неподражаем! Для души тут вложено всё, что может человек вложить. Да, для эстетического чувства пища есть! Но, несмотря на это, храм был пуст в половину... Вечером, по улицам, была такая давка, что не было возможности ходить. Это была толкучка, в полном смысле слова. Вскоре, потом, мне пришлось ехать к брату на дачу в Павловск. В этот день там была Стравинская музыка. Музыка была самая обыкновенная; но народу была тьма-тьмушая.

И так у нас бывает всегда: увеселительные места переполнены, а храмы Божии пусты...

«Священники, — укоряют нас, — не проповедуют. Живая проповедь повела бы за собою перевоспитание народа; со стороны же духовенства проповеди нет и не было. Будь она, — не таков был бы и народ. Если священники и говорят когда, то по казённому, точно на заказ, без всякого одушевления. В проповедях их нет энергического обличения общественных недугов, смелого пастырского наставления. Есть ли теперь у нас на Руси, хоть один, истинный проповедник, который увлёт

бы наше, скучающее в храме, общество своей одушевлённой и горячей проповедью, огненное слово которого могло бы отрезвить заблудившихся?»

Подобные жалобы мы встречаем на каждом шагу. Читая их, невольно приходит на ум Гоголевский Плюшкин: «Приказные такие бессовестные!... такое сребролюбие! Я не знаю, как никто другой не обратит на это внимание. Ну, сказал бы ему, как-нибудь, душеспасительное слово! Ведь словом хоть кого проймёшь. Кто что ни говори, а против душеспасительного слова не устоишь».

Хорошо зная, к какому роду принадлежат эти ревнители общественной нравственности, мы с полной уверенностью можем ответить им словами Чичикова: «Ну, ты устоишь! Вас-то, други мои милые, наверное, не проймёт и самое огненное душеспасительное слово», если вам скучно бывает в храме Божиим. Вы желаете огненного слова, и в то же время вам скучно в храме. Знаете ли: да ведь там, что ни слово, то целая проповедь! Вникали ли вы, когда-нибудь, в обыкновенные, по-видимому, слова: «миром Господу помолимся»? Вникните, вдумайтесь! Это целая проповедь, да такая, которая должна бы изменить всю нашу жизнь, если бы мы приняли её всей душой. Или возьмите слова молитвы Господней, которые поются и читаются в храме: «Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое», — только это, не больше. Вдумались ли вы когда-нибудь в смысл этих слов? Потрудитесь, вдумайтесь! Это целое догматическое и нравственное богословие! Из этих слов вы могли бы почерпнуть веру в бытие Божие, Его промысл и любовь к роду человеческому; слова эти научают нас любви к Богу и ближнему; поучают нас бросить порочную жизнь нашу, — бросить и карты, и всю суету пустой и пошлой жизни, словом: они научают нас совершенно изменить настоящую

жизнь нашу, бросить все дурные наши привычки, — научают нас, чтобы мы всей душой нашей любили Бога и ближних; чтобы жизнь наша всецело была посвящена Богу; чтобы мы служили Ему и прославляли Его всем существом нашим; чтобы были примером благочестивой жизни для наших собратий, — других людей; чтобы и они, видя нашу святую жизнь, подражали нам и прославляли Господа... И слова эти — не обыкновенного проповедника, от которого вы желаете огненного слова, а самого Господа, который, вместе с тем, предупреждает нас, что будет «огнь вечный» невнемлющим учению Его. И вам скучно слушать то, что говорит Он! После этого кто же вы? Если скучно слушать слова Господа, то какое огненное слово обыкновенного проповедника в состоянии разбудить вас?

Нас, попов, укоряют, что слова наши безжизненны, что проповеди наши «казёнщина». Но что сказали бы вы, если бы проповедник взошёл на кафедру и сказал вам: «Покайтесь и веруйте во евангелие»? Вы, наверное, сказали бы, что тут нет жизни, и казёнщины такой не стали бы и слушать. Действительно, ничего нельзя сказать проще этого. Но слова эти не обыкновенного проповедника, а самого Господа, жизненнее же Его не сказать ни мне и ни вам. Слова эти просты по форме, но в них глубина премудрости и разума! И так они современные, — так идут к состоянию нынешнего общества, как более и желать невозможно. Покайтесь и веруйте. Именно недостаток-то веры и добрых дел и виден ныне всюду в обществе! Но скажи проповедник: «Покайтесь и веруйте во евангелие», произнеси он именно эти слова, — да его за такую «казёнщину» разнесут по косточке...

«В проповедях наших нет энергического обличения общественных недугов, смелого пастырского наставления; будь оно, — не таков был бы народ».

В ответ на это укажу на два случая, которых я был свидетелем. В один из приездов моих в Петербург в 1872 году, я был, однажды, не помню в какой праздник, в Исаакиевском соборе; служил высокопреосвященнейший митрополит Исидор; я стоял в толпе. Проповедь вышел говорить о. протоиерей Палисадов. Как только о. протоиерей вошёл на кафедру, все зашептали: «Палисадов, Палисадов!» Один господин, стоявший позади меня, спрашивает своего соседа: «Который это, — старый или молодой?»

— Молодой.

— А старый где?

— Он, братец, получил пенсию и уехал теперь на родину.

И начали пересказывать один другому анекдоты про старого о. Палисадова. Чего-то тут не было наговорено! Между тем проповедник говорил. Всем известно, как говорит о. протоиерей Палисадов, и всем известно обличительное его слово. Говорено было отчётливо, резко и увлекательно. Каждое слово его дышало любовью и, в тоже время, пороки современного общества карало беспощадно. Не слушать и не принять к сердцу этого слова было невозможно. Соседи мои на минутку притихли.

— Какой у него обработанный язык!

— Да, говорит хорошо.

— Но уж и мастер своего дела! Знаешь: у него нет ни слова в тетрадке того, что говорит он. Поди, привяжись к нему, обидься, скажи ему: как вы, батюшка, смеее так относиться об обществе? Я, скажет, этого не говорил; вот и тетрадка моя, смотри!

— Он всегда говорит то, чего у него нет в тетрадке?

— Конечно! Разве цензор допустил бы так позорить общество. Это невозможно.

— Поедем ныне в Павловск!

— Ну, что там делать! Ныне хороший фейерверк на Каменном. Поедем лучше туда.

— Нет, я не могу, я дал слово Анне N...

— А я обещался заехать к N.N.

— Ну, язык, братец вы мой! Бритва!

— Я не понимаю, как дозволяют это ему. Но, вероятно, скажут же митрополиту, чтобы он запретил. На что это похоже!

В этом роде была беседа у моих соседей во всё время проповеди. Точно также не отличалась большим вниманием, по крайней мере, треть присутствовавших.

В другой раз мне пришлось быть в Казанском соборе, при проповеди одного о. протоиерея, фамилии которого теперь я не припомню. Проповедь была чудно хороша, прочувствована, но и не длинна. Я стоял в толпе, позади меня стояли мужчина и дама, уже не молодые. Соседи мои, во всё время, хотя и шептались, но слушать мне не мешали; но потом мужчина сказал довольно громко: «Ну, батька, затянул! Пора бы и перестать».

— «А Лизок наш, чай: где мама, где мама? И для чего эти проповеди? Мне, право, гораздо приятнее было бы послушать певчих».

Очень может быть, что эти же господа, придя домой, накатают целые статьи о безжизненности проповеди, что у нас нет «огненного слова»... А мама будет говорить своей Лизок, что её задержал поп проповедью, что поп лишил её удовольствия послушать певчих.

Так слушаются проповеди в столице. Но наши провинциалы с проповедями делают ещё проще: как только выходит

проповедник, то половина народа сейчас бросается к дверям. У них недостаёт терпения прослушать самого краткого поучения. Проповедь, — это такое, значит, для них бремя, которое и 10 минут выносить они не могут. Кто же виноват в том, что поучений наших не слушают? Кто виновен, вообще, в упадке религиозно-нравственного состояния общества, который видит даже само общество? Мы, со своей стороны, стараемся делать, для поддержания веры и нравственности общества, всё; но мы ничего не можем сделать: нас не слушают, потому что мы унижены, придавлены; мы брошены на произвол судьбы; из-за каждого куса хлеба мы вынуждены торговаться даже пред совершением св. Таинств и тем унижать и себя, и дело нашего служения; мы должны обличать пороки тех, от которых зависит вся наша участь; в защиту религии нам не дают возвысить нашего голоса, — нас уничтожают. Этот крест несущи на себе и я...

Нам приводилось слышать суждения такого рода: для изучения Закона Божия существуют специальные учебные заведения — семинарии и академии; для светских же учебных заведений достаточно познаний и самых общих, лёгких или, точнее сказать, поверхностных, так как каждое из них имеет своё, специальное, назначение, и учащимся не доставало бы времени на изучение их специальности, если бы они на изучение Закона Божия употребляли времени более того, сколько употребляется ими теперь.

На это мы скажем, что предмет Закона Божия на столько важен сам по себе, что одно предпочтение ему какого бы ни было предмета есть уже преступление. Это первое. Второе: всякий учёный, прежде чем он сделается физиком или химиком — есть христианин, — он при крещении ещё принял на себя обязанности изучать Закон Божий и исполнять его.

Следовательно, должен делать это, даже просто, как честный человек, принявший на себя известного рода обязательство. Недостанет времени на занятия Законом Божиим? Но есть пословица, что «самый глухой человек в мире тот, который не хочет слушать». Так и здесь: времени всегда найдётся, если только захочешь. Притом, если наука готовит человека для жизни; то учёный, и с тем вместе, хороший христианин, есть всегда и хороший семьянин, и хороший гражданин. Стало быть, жизнь его была бы полнее, благороднее. Мы думаем, что при должных занятиях Законом Божиим в высших заведениях, многое изменилось бы в жизни общества к лучшему. Мы думаем, что тогда не было бы нужды в таком множестве судебных палат, окружных судов и под., которые теперь не более, как пластыри на больном теле, не излечивающие болезненного состояния организма. Мы думаем, что молодые люди, получивши сами основательное религиозно-нравственное воспитание, со временем принялись бы с большим рвением за религиозно-нравственное воспитание и народа. Мы уверены, что и духовенство было бы поставлено в более естественные отношения к обществу, и избавилось бы от незаслуженных им нареканий.

XX

Известно, что нет в мире ни целого сословия, вообще, ни одного человека, в частности, со всеми совершенствами; равно как и нет ни одного негодяя, в котором не было бы хороших сторон. Во всяком мы найдём и хорошие, и дурные стороны, только с некоторым перевесом той или другой стороны. И только одно духовенство, во мнении большинства общества, составляет в этом исключение. У него во всём видят только дурное. Светская литература много говорит о нём, но в нашу защиту не сказала ещё ни слова, как будто, действительно, в духовенстве ничего хорошего и нет, и быть не может. Всё что вы ни делаете, всё перетолковывается в дурную сторону: молчите вы, — осуждают; говорите, — опять осуждают. Со мной однажды, действительно, был такой случай: однажды, на дороге в Москву, со мной сидел какой-то господин. У нас зашла речь об одном предмете. Дело хорошо было известно ему и очень интересовавшее меня. Он говорил, а я со вниманием слушал. В вагоне нас было всего четверо. Мы сидели в одном углу, а в другом углу сидели два купца. Купцы долго смотрели на нас и потом один другому говорит: «Смотри-ко: тот говорит, а поп всё молчит, всё молчит, а глазами так и ест».

— Они этаки! Он пошёл молчать.

Потом зашла речь о чём-то, хорошо известном мне и интересовавшем моего собеседника. Я стал рассказывать, а тот слушать.

— Смотри-ко, поп-то разошёлся! Всё молчал да и принялся!

— Они всё так! Молчит—молчит, да уж как примется, так уж держись.

— Он сперва всё высматривал, каков тот. Высмотрел да и говорит чай: нет, ты меня послушай-ко!

Я заметил своему собеседнику:

— Слышите, как меня пробирают?

— Если б у них побольше было совести, так меньше осуждали бы вас. У нас священников осуждают все и за всё. Посмотрел бы лучше всякий на себя: он-то кто таков, много ли в нём-то самом святости-то? На этих людей, батюшка, не стоит обращать внимания.

И в литературе нашей, день ото дня, всё чаще и чаще стали появляться статьи о духовенстве. Писать о духовенстве теперь вошло, кажется, в моду, как вошло в моду строить памятники и печь юбилейные пироги. Это наша русская слабость: коль скоро примутся за что-нибудь, так уже до приторности. Теперь: где бы что ни случилось, — во всём виновато духовенство. «Явились нигилисты, — кричат газеты, — и духовенство наше просмотрело!» В Пензенской губернии крестьяне убили колдунью Чиндейкину и в одной из газет писалось: «Почему же бездействует духовенство? Почему оно не станет между обездоливаемыми и обездоливающими со словом любви и примирения и просветительной христианской проповеди?»

«Как на обстоятельство, уменьшающее, будто бы, вину духовенства в бездеятельности, указывают обыкновенно на материальную необеспеченность духовенства, на зависимость его в материальном отношении от паствы. Но кто же виноват в этом, прежде всего, как не само духовенство и духовные управления? Почему центральные и местные духовные управления не разработают вопроса о переводе поборов духовенства деньгами, хлебом и т. д., на постоянное жалованье? Почему

само духовенство, независимо от центральных и местных духовных учреждений, не входит в соглашения, с помощью земства, дум, городских и крестьянских присутствий, с населением о прекращении поборов и замены их определённым жалованьем?»

«Нет, суть дела вовсе не в материальном положении духовенства, а в малом образовании лиц духовного звания и в кастовом их духе, поддерживаемом нынешней постановкой специального духовного образования».

«Этот кастовый дух нашего духовенства будет жить до тех пор, пока будут существовать специальные учебные заведения для детей духовного звания. Не говоря о недостатках программ этих учебных заведений в общеобразовательном отношении, каждое из названных заведений включает в себе особенную специфическую атмосферу, обращающую пастырское служение в ремесло, непременно наследуемое от праотцев, мертвящую доброе, чистое, религиозное чувство и дело. Вся атмосфера этих учебных заведений проникнута мелочным торгашеством, чиновничьим отношением к делу, бумажным формализмом, крючкотворством и подъячеством и т. д.»

«До тех пор будет жить кастовая особенность духовенства, пока не народится у нас общеобразовательная школа для всех сословий и классов, со специальным богословским отделением для лиц, желающих посвятить себя пастырскому служению, высшее образование для всех сословий и званий — университет, со специальным богословским факультетом для лиц, желающих получить высшее духовное образование».

Обвинение сильное; но разберём его насколько оно практично.

«Почему духовенство не станет между обездоленными и обездоливающими?»

В России, как и всюду, столько «обездоленных и обездоливающих», что не достало бы и попов, если б они захотели становиться между всеми ими. Притом: мы можем говорить только «обездоливаемым», а «обездоливающим-то» не угодно ли говорить вам самим, г. репортёр, если у вас есть ревность к проповедничеству. Гарантируйте нашу жизнь и службу от их мщений, и вы увидите, что за «словом любви» дело не станет. Но пока мы находимся в полной, крепостной зависимости от общества, то, во-1-х, на это решимости достанет не у многих, и во-2-х, говорить-то не позволяют!...

«Почему духовенство бездействует?»

Но мы положительно утверждаем, что мы все силы наши употребляем к искоренению предрассудков; но искоренить их не так легко, как кажется. И в людях образованных, понимающих дело, предрассудков ничуть не меньше, чем в простом народе, только предрассудки эти другого, конечно, рода, и они крепко держатся их. Что ж тут поделаем мы? Что, например, значит носить по усопшем траур, везти гроб на катафалке, одевать и прислугу и лошадей какими-то уродами, как не имеющий никакого смысла предрассудок? Христианин должен верить, что усопший от жизни, переполненной огорчениями всякого рода и болезнями, переходит в жизнь вечную, где нет «ни болезни, ни печали, ни воздыханий», — в жизнь, где он будет зреть самого Творца вселенной и красоту всего мира, — в жизнь, переполненную спокойствия, радости, восторга, блаженства, — он должен сорадоваться счастью усопшего; но он плачет, носит траур и окружает прах его какими-то страшными лицами. Потрудитесь уничтожить предрассудок носить траур, убедите, что катафалки и пугала при них не имеют смысла, — и

мы примем на себя ваше обвинение в нашей бездеятельности. Потрудитесь вразумить нашу, так называемую, интеллигенцию, в особенности барынь, что встреча со священником не приносит несчастий. Что может быть нелепее этого? А между тем предрассудок этот крепко укоренился во многих людях образованных и высокопоставленных. К нам в село, однажды, приезжает из Москвы для осмотра поселения питомцев Московского Воспитательного Дома почётный опекун Арсеньев и рассказывает, что он неделей раньше выехал было к нам; «но только что, говорит, выехал из ворот, как встречается мне поп. Я велел, говорит, объехать квартал, воротился домой и прожил дома ещё неделю, чтобы изгладить это неприятное впечатление». Это было давно, это правда, но Арсеньевы попадают и ныне на каждом шагу. Я всегда наблюдаю за встречающимися со мной и вижу не редко презабавные вещи. Что же нам делать тут? И кричать с церковной кафедры: не ахайте и не плюйте в сторону, когда встречаетесь с нами; не корчьте рож и не гримасничайте; не отворачивайтесь; не сворачивайте в сторону; не ворочайтесь назад; не вкладывайте булабочки в лиф вашего платья, в левую полу вашего сюртука; не переставайте дышать, когда проходите мимо нас; не держите себя за левое ухо; не креститесь, не подходите под благословение! Попробуйте искоренить этот предрассудок, если вы сами не держитесь его. Против предрассудков мы, со своей стороны, говорим; но вековые обычаи и предрассудки веками и уничтожаются. Если предрассудков так крепко держатся люди образованные, то к необразованным нужно быть ещё снисходительнее. А следовательно и духовенство винить нельзя.

«Кто виноват в том, прежде всего, что духовенство не обеспечено в содержании, как не само духовенство и духовные управления? Почему центральные и местные духовные

управления не разработают вопроса о переводе поборов духовенства деньгами, хлебом и т. д. на постоянное жалованье?»

Вопрос этот разработан очень-очень давно. Когда я был ещё в семинарии, то, в 1845 году, ректор семинарии давал мне переписывать для кого-то проект об улучшении быта духовенства. Мне лично, стало быть, известно, что об этом деле толкуют 35 лет. До того времени, как я переписывал, толковали, может быть, прежде не один десяток лет. И всё-таки ничего не натолковали. Следовательно дело не в разработке, а выполнении разработанного. А это зависит уже не от нас.

В 1879 году наш преосвященный просил начальника губернии, чтобы тот оказал своё содействие и употребил своё влияние, чтобы прихожане назначили духовенству определённое жалованье или определили известную таксу за требоисправления. Преосвященным указана была норма, которой прихожане держались бы приблизительно при определении жалованья и таксы. Начальник губернии сделал распоряжение по волостным правлениям и, вместе с тем, предписал уездным исправникам наблюдать за ходом дела и содействовать в обеспечении духовенства. Но так как дело это отдавалось, однако же, на «добрую волю» прихожан, то они и положили, почти все: за наречение имени младенцу и за крещение по 3 коп., за исповедь 2 коп., за свадьбу 50 коп., погребение младенца 5 коп., взрослого 20 коп., с выносом от дому до церкви и от церкви до кладбища 40 коп., за обедню по усопшем 30 коп. и т. под., так что священнику при 1500 душ муж. пола в приходе, не приходилось получить и 80 руб. в год. Некоторые приходы положили жалованье 100–150 руб. в год на весь причт. Некоторые же приходы положили: «быть по-старому». Тут уже влияло само духовенство. Такие постановления — «быть по-старому»

— были, большей частью, в приходах многолюдных и состоятельных, где духовенство видело, что с жалованьем 150 рублей и таксой 2–5 копейки оно получило бы в десять раз менее того, что получает оно теперь. «Присутствие по крестьянским делам» приговор некоторых обществ возвратило назад. В волостных правлениях получили эти приговоры, но других сходов не собиралось, — так дело и заглохло.

Мои прихожане — народ не богатый, но до крайности добрый и почтительный ко мне. Могу похвалиться, что таких хороших отношений прихожан к своим священникам я не встречал нигде. За все требоисправления у нас установилась такса, и такса самая небольшая. Поэтому никаких торгов и споров у нас не бывает, почти, никогда. Но и эту, без всякого торга, плату я лично никак не могу брать. Я положительно стесняюсь брать плату за требоисправления. Душа моя не может выносить того, чтобы отслужить и протянуть руку. Однако же нужно жить от требоисправлений. Я отдал дело это дьякону-псаломщику. Он и берёт у меня за всё. В доме, например, я отслужу молебен и сию минуту уйду. Дьякон без меня получит плату. В церкви отслужу молебны, панихиды, похороны, окрещу, — и уйду тотчас. При свадьбе: я пересмотрю документы, и велю дьякону написать обыск. Потом, в своё время, иду и венчаю. Взял ли дьякон за свадьбу, сколько он взял, всё ли опустил в кружку, — не спрашиваю этого. Дьякон может красть у меня на половину. Но, при полном моём к нему доверии, я уверен, что он дело ведёт честно, так как, вообще, он прекроткий и предобрый человек.

Сам я совершенно не могу брать за требы, но всё-таки желаю брать, потому что этим нужно жить, и поручаю брать другому, в мою же, главное, пользу. Что же это значит? Это означает ненормальное отношение наше к приходам. Моё же

личное состояние, просто, смешное: сам не беру, а брать другому, для себя, велю. Когда дьякон берёт за требы, особенно, когда бывает много свадеб, то мне часто приходит на ум один анекдот: в крепостничество крестьяне двух разных барщин вздумали убить своих господ. Собрались, долго толковали: как и где убить и, наконец, порешили убить. Порешили, но только одни и говорят: «Убить-то убить, да господата-то наши хороши». — «А наши ещё лучше ваших», — говорят другие. — «Так как же быть?» — «А вот как: вы убейте наших, а мы ваших». Значит и дело сделано, и совесть чиста. Так выходит дело и у меня с приходом. У меня лично недостаёт совести брать, не брать же совсем, — не могу: жить нужно и мне, и причту. И я велю брать другому. И в самом деле, если сам не берёшь, то, как будто, легче на душе. Да, брать за требы и при этом торговаться, — выносить не всякий может, это я знаю по себе.

В приходе, в 1600 душ муж. пола и при 66 десятинах земли, я получаю около 300 рублей в год; иногда 10–15 рублей больше, иногда 10–15 рублей меньше.

В то время, когда было предложено прихожанам положить духовенству жалованье или установить определённую таксу, прихожане мои приходят ко мне и говорят: «Батюшка! мы на сходе положили давать вам жалованье: вам 600 рублей, а дьякону 200 рублей. Землёй владейте, как владеете. (Сами прихожане владеют 37–42 дес. на двор). Довольны ли вы этим?» Я, конечно, был очень доволен, поблагодарил их и спросил при этом:

— Казённые недоимки за вами есть?

— Малость есть.

— Но если Бог пошлёт пожар, голод, то тогда чем будете вы платить казённые подати?

— Коли нечем будет платить, то, конечно, и платить не будем до тех пор, пока не поправимся.

— А нам чем будете платить тогда?

— Коли нечем будет платить казённых податей, то, известное дело, и вам нечем будет платить.

— Чем же мы будем жить тогда?

— Да мы уж не знай, как быть тогда.

— Теперь, — когда всё благополучно, — казённые подати все у вас вносят добровольно, без всякого понуждения?

— Где без понуждения! Разве это возможно! Народ всякий: у иного и есть, а он не отдаёт. И староста, и старшина, и становой с иным бьются—бьются, насилие выколотят.

— А наше жалованье кто с этаких будет выколачивать? Добровольно ведь, тоже, не все отдадут?

— Не все; а выколачивать кому тут.

— Стало быть я полного жалованья не получу никогда? Нельзя ли наше жалованье внести в общую смету?

— Можно. Только в волостной сперва отберут то, что надо им; а вам дадут, что останется. А, пожалуй, там иногда и ничего не останется.

— Как же тогда?

— Мы не знаем.

Мы потолковали-потолковали, да с тем же и разошлись. Мне пришлось только поблагодарить их за их расположение.

Таким образом, опыты показали, что никакие сделки с прихожанами без содействия власти невозможны.

И проекты, и законы писать легко; но для того, чтобы вышло что-нибудь, действительно, дельное из проектируемого, нужно пожить среди того народа, для которого пишутся эти законы и проекты. Нас и начальство наше обвиняет в нестарании, в небрежности о самих себе. Но кто сам себе враг? Если бы можно было сделать что-нибудь, то давным бы давно было сделано. Если же не сделано, то это значит, что мы ничего сделать не можем.

XXI

«Почему духовенство не входит с соглашением с прихожанами с помощью земства?»

Об отношениях земства к духовенству скажу то, чему я был свидетелем, и в чём я сам принимал непосредственное участие; скажу тоже факт.

Как только получилось распоряжение о земских учреждениях и когда никто ещё не был знаком с земскими положениями, я получил, по эстафете, от преосвященного предписание немедленно явиться к нему для личных объяснений. Будучи сельским священником и благочинным, и имея в поручении, в то время, следственные дела, я подумал, что преосвященный желает дать мне какое-нибудь новое поручение, и тотчас отправился к нему. Но преосвященный сказал мне: «Учреждаются земские собрания, в них должны участвовать члены и от духовенства. Постарайтесь быть гласным. Я нарочно призвал вас, чтобы вы успели ознакомиться с земскими положениями». Через несколько недель я вызываюсь в собрание мелких землевладельцев для избрания уполномоченных. Здесь я был избран и со мною было избрано и ещё священников 10. На другой день нас попросили в дом городской думы, чтобы, совместно с крупными землевладельцами, избрать гласных в земское уездное собрание. Между крупными, на половину, были со мной более или менее знакомы. По мере того, как собирались уполномоченные и «крупные», стали образовываться группы. Группы эти расходились, из них образовывались новые, опять расходились и таким образом прошло часа два-три. Наконец ко мне подходит один мой хороший знакомый «из крупных» и говорит: «Вас выберут». — Хорошо, говорю. Через несколько времени он подходит ко мне опять и

говорит: «Откажитесь от выбора, вас не выберут». — Нет, говорю, этого сделать я не могу. Преосвященный желает, чтоб я был выбран. — «А! преосвященный! Это другое дело». И ушёл. Образовалась кучка человек в 20, уже из одних тузов. Мой знакомый был тут же. Долго все о чём-то толковали, потом машут мне «Z.Z! пожалуйста к нам!» Мы, говорят, положили избрать одного священника в гласные. Кого из вас избрать: вас, или М.С.В-ва?

— Конечно М.С-ча, если уж так! М.С.В-в есть первенствующее лицо после преосвященного, — он кафедральный протоиерей, член консистории, мой начальник, и я не хочу быть предпочтённым ему.

— Ну, так уж извините! Мы выберем его.

Начались выборы. Я забаллотирован, М.С.В-в выбран. Выборы производились очень долго. Приходилось, по неволе, делать несколько перерывов. Все метались, суетились, — как будто приступом города брали! В минуты отдыхов большинство отправлялось в буфет, в особенности «крупные». К полуночи все казались сильно уставшими, так что забыли и об определении своём: избрать одного только священника, и избрали ещё одного, А.И.Дроздова. А.И.Дроздов, как и я, был знаком с большинством «крупных». Как только сосчитали его шары, то один из «крупных» закричал из всех сил: «Честь и слава с-му дворянству, двоих попов выбрали!»

На второе трёхлетие Дроздов был избран членом училищного совета и служит с честью; до него, в первое трёхлетие, училищ от земства не было, и 1000 рублей, ассигнованные земством на училища, возвращались обратно. С поступлением же Дроздова открыты были школы почти во всех сёлах и во многих деревнях, и не 1000 рублей уже, а 6000 рублей оказалось недостаточным для пособия школам и на жалованье их

наставникам. Это было явное доказательство того, что священник А.И.Дроздов не был бездеятельным членом земства. Два трёхлетия был, потом, гласным и я. Моё мнение было уважено собранием, по которому были приглашены в уезд две акушерки.

Закон Божий в школах священники преподавали безмездно. Но, однажды зашла речь о том, что законоучителям было бы справедливо давать жалованье. Как только сказали это, то Ш., крупный землевладелец, закричал на всё собрание «О Боже мой! До чего мы дожили; закон Божий стал продаваться!» Незадолго пред этим, Ш. был сам мировым судьёй и, однако же, жалованье своё, в тридцать раз большее того, что просили положить законоучителям, не считал продажей правосудия.

Чрез год опять зашла речь о жалованье законоучителям. Тут И. И. Б., тоже крупный землевладелец, нигде не учившийся, закричал: «Чему попы учить-то будут? Они сами-то все дураки!» И ни один из гласных не отозвался в защиту так бесцеремонно оскорбляемого духовенства! Ни Дроздова, ни меня в собрании в этот день не было. Мы, конечно, постояли бы за честь духовенства.

В 1875 году выбор гласных особенно был замечателен. Образовались две партии «из крупных», предводители которых, до ножей, не могли терпеть друг друга, о чём известно даже официально. Все разместились на две стороны, и только составили отдельную маленькую группу, в шесть человек, священники, другую, человек в 10, купцы, и третью, человек 7, крестьяне. Начались споры из-за прав на выборы. Чего-то тут не было высказано! Не обошлось дело и без личных оскорблений. Долго крупные спорили и перебирали друг друга, наконец, дошло дело и до прав духовенства. Один из нас был с доверенностью от своей церкви, имеющей достаточное для

ценза количество земли, а мы, остальные, были уполномоченными от мелких землевладельцев. Более двух часов спорили о том, имеет ли право церковь выслать от себя уполномоченным своего священника. Из всего собрания, человек в 80, один только кн. Щ. отстаивал права священника. Надоели, казалось, споры всем. Купец К. подходит к священнику и говорит «Батюшка! решите наш спор, возьмите вашу доверенность, да и идите домой». «Нет, говорит священник, откажите, и я уйду без спора». Наконец, решили допустить его до баллотировки, и принялись за нас! И опять, почти все, кроме того же кн. Щ., спорили и доказывали, что допускать нас к баллотировке не следует. Находились добрые люди, которые указывали даже на статьи закона (о земск. полож.) в нашу пользу. Но за то, когда они умолкали, — целые бурные потоки, уже не воды, а лавы лились на них! Основанием к удалению нас полагалось то, что в положениях о земских учреждениях ничего не говорится ни о церквях, ни о духовенстве. «Если и есть указ св. синода, копия которого сообщена была консисторией в земскую управу и находилась здесь в собрании, то распоряжение св. синода, говорилось собранием, для нас не обязательно, что синод только для «попов». Если указ этот последовал и вследствие сношений обер-прокурора св. синода с товарищем министра внутренних дел, то и тогда он необязателен. Это частная переписка, не проходившая чрез Прав. Сенат законодательным порядком. Нам закон только то, что прошло чрез сенат. Исполняя распоряжение министра, т.е. то, чего нет в законе, хотя бы это было пояснением и дополнением его, мы делаемся преступниками закона». И на эту тему, повторяю, толковалось целых четыре часа.

Кн. Щ.-в доказывал собранию, что распоряжение министра вышло после издания положения о земских учреждениях; что

оно не успело ещё пройти чрез Прав. Сенат, но что оно имеет для собрания обязательную силу. Заметно было, что и противная сторона не совсем не согласна была с его мнением, но уступить не хотела.

Во время прений, С., «крупный» землевладелец, не раз ходил между купцами и крестьянами, сидевшими отдельными кучками безмолвно, и толковал им, что «синод существует только для «попов» и распоряжения его обязаны исполнять только «попы»». Из купцов П. был молокан, Г. раскольник, богатые крестьяне Р. и С. раскольники, которым внушение С-а было, конечно, по душе. С. рассчитывал, что когда дело дойдёт до баллотировки вопроса, о чём заговаривалось уже несколько раз, то купцы и крестьяне будут на его стороне — и вопрос не пройдёт. Наконец, порешили, но так, что, по русской пословице, и овцы целы и волки сыты; гласно решили: «допустить», а негласно: «забаллотировать». Допустили, — и всех забаллотировали, кроме одного, имевшего доверенность от своей церкви, и то потому, что он был законоучителем детей председателя.

Баллотировалось разом на шести ящиках, и господин, сидевший у ящика, если у него баллотировался священник, то, давая шар, говорил: баллотировается священник, не называя по фамилии, — понимай-де! В то время, когда считали мои шары, ко мне подходит кучка человек в шесть и спрашивает: «Что, хороший человек Z.Z.?» — «Да, очень хороший, потому что Z.Z. — я». — «Ах, извините!» Хороши же, значит, избиратели, когда узнают о человеке тогда уже, когда положили шары!

Священников в гласные не выбрали, чем явно доказали нерасположение к нам. Судите сами теперь, можно ли, хоть сколько-нибудь, надеяться после этого на содействие земства в деле улучшения материального быта духовенства?!

XXII

«Нет, суть дела вовсе не в материальном положении духовенства, а в малом образовании лиц духовного звания».

Против того, что мы мало образованы, мы не спорим. Большинство из нас, священников, прошли курс только среднего учебного заведения. Но почему же нейдёт никто на наши места с академическим и университетским образованием? Дорога не загорожена; мест свободных везде много. Чем плакаться о горькой участи «обездоливаемых» и кричать на нас из Петербурга, пожалуйста к нам! Примите на себя сан священника и проситесь хоть в то село, куда поступил я по окончании семинарского курса. И верите ли, говорю вам как честный человек, что в настоящее время священническое место там свободно, церковная сторожка, наверное, есть и теперь. Стало-быть и квартира готова. Есть, вероятно, и у крестьян по две избы, как было при мне. Всё на вашей стороне: и лета, и образование, и ревность к просвещению народа и защите «обездоливаемых», — дело только за рясой. Идите в село во священники, покажите собою пример и нам, и вашей собратии, сделайте почин вы, а там пошли бы, может быть, и те из ваших собратий, статьями которых переполнены и журналы, и газеты о тупости, глупости и бездеятельности духовенства.

Действительно, поучительно было бы для нас посмотреть, что стали бы вы делать, если бы к вам пришли три—четыре мироеда, да и стали внушать вам самым положительным тоном: «Ты мир почитай, спины своей не жалей. Не поклонись миру, так сейчас вон с квартиры, а другой хозяин во всём селе тебя никто не пустит!» Примите при этом к сведению, что приказывается мироедами. Угроза их вовсе не пустая

болтовня. В этом уж поверьте нам. Думается, что вы согнули бы вашу спину, как не гнём её и мы.

Может быть, вы скажете, что у вас нет призвания? Но если у вас есть призвание учить нас, священников, то каким же образом у вас нет призвания учить нашу паству? Так проситесь, в таком случае, в архиереи! Но только позвольте ещё заметить, что жизнь архиереев в несколько раз, — несравненно — хуже нашей. В материальном отношении они обеспечены много лучше нашего, все относятся к ним с благоговением, кланяются им, целуют руки и пр., но всё это лесть, обман, своекорыстие, пронырство!... У епископа нет человека, который относился бы к нему по-человечески: не может и епископ сказать ни с кем откровенного слова, — по душе. Около него двуличность на каждом шагу. Является барин или барыня и выражают пред преосвященным все знаки умиления. Но это только для того, чтобы расположить к себе владыку, и душисть попа. Увижусь с подобными людьми я, — я могу сказать откровенно, не боюсь никаких влияний, — и мне переберут архиерея по косточке, тогда как только, может быть, вчера чуть не лизали его руки. Купцы, по-видимому, народ религиознее других и принимают к себе преосвященных с полным радушием. Но мне не приводилось ещё слышать от них вполне честного слова об архиереях: торгашество, мелочность в каждом их слове, при разговоре о преосвященных. Самое же горькое зло, неотступное, как тень, — это их домашние секретари. Преосвященные считают их людьми домашними, своими, людьми мелкими, ничтожными, преданными себе, — и доверяют им, как себе самим во всём. Но эти «свои» преданы только себе самим, но отнюдь уже не им. Я не говорю уже о том, что они скрывают прошения, на «справку» представляют только те из них, которые им нужны и проч. Скажу только, что

преосвященные советуются с ними, рассуждают с ними о делах епархии, — и они сильно злоупотребляют их доверием. Кратко сказать: самого честного, самого благородного, самого кроткого и доброго, самого благонамеренного епископа они вводят в неприятные отношения с духовенством и тем бесчестят его честное имя. Над епископом именно выполняется слово Господне: **враги человеку домашние его**. Какова должна быть жизнь человека, если он знает, что за ним наблюдают каждый его шаг и перетолковывают в дурную сторону; что он окружён всегда и всюду обманщиками, льстецами и своекорыстниками?! Поэтому жизни епископа позавидуют только те, кто не знает её.

«Суть дела в малом образовании лиц духовного звания». Но нас десятки тысяч; прежде нас были опять десятки тысяч; прежде их — опять десятки тысяч... Неужели же из сотен тысяч не было, хотя бы случайно, ни одного умного человека, которые нашёл бы способы поставить духовенство в лучшие отношения к обществу? Да это, прямо, невозможно! Притом позвольте заметить в другой раз, что духовенство, по относительному числу, образованнее всех сословий, — без исключения. Неужели совсем нет у нас людей деятельных? Нет, если мы находимся в ненормальном отношении к обществу и если не много сделали для его религиозно-нравственного состояния, то причина тому **вне** нас.

«В кастовом их духе, поддерживаемом нынешней постановкой специального духовного образования».

«Кастового духа» у нас нет. Двери учебных духовных заведений открыты для всех сословий. Если же нейдёт туда никто из других сословий, то виноваты в этом не мы. Пошлите туда учиться вашего сына, если он есть у вас, — и мы будем очень рады.

Но вы ратуете даже против того, зачем существуют специальные учебные духовные заведения? А мы спросим, со своей стороны: почему же и не быть им? Морское министерство имеет свои специальные учебные заведения; военное — свои; государственных имуществ — свои, и проч. Почему же не должны иметь их мы? Всякая специальность и может быть изучена основательно только в специальных учебных заведениях. Для основательного изучения того, что требуется по нашей специальности, мы должны иметь и имеем специальные заведения. Иначе и быть не может.

Но мне не раз приводилось слышать, что семинаристы дики, неразвиты, не умеют держать себя в хорошем обществе и т. под. Это, отчасти, правда. И что «если бы были всесословные учебные заведения со специальными классами богословия, то семинаристы, т.е. дети духовенства, были бы «развитее»». На это мы скажем: «может быть», но не утверждаем. За то положительно утверждаем, что богословская наука потеряла бы много.

Нам говорят: «Дети духовенства, обучаясь в всесословных учебных заведениях, переняли бы от товарищей своих манеры в обращении, научились бы лучше, — приличнее, держать себя в обществе». На это мы отвечаем: в семинариях обучаются дети псаломщиков, дьяконов и священников. В этом числе очень много есть детей таких священников, которые видят в своих домах хороших людей, и дети их бывают у них. От них многому хорошему могут научиться те, которые нигде не бывали. Кто теперь в общесословных заведениях, — гимназиях? Там малость из учеников есть из дворян-помещиков, большинство же: дети мелких чиновников, купцов, сапожников, портных, слесарей, столяров, плотников (сын моего одного прихожанина, плотника, в гимназии), колонистов-нем-

цев и под. В курсе старшего моего сына, учеников из дворян не было ни одного. Скажите же беспристрастно: какое товарищество лучше? Если б даже детей дворян и чиновников в гимназиях было и больше, чем теперь, то чему особенно хорошему и полезному для жизни могли бы научиться от них наши дети? Бойкости только, развязности? Но лицу, готовящемуся в духовное звание, жертвовать богословскими познаниями из-за бойкости, — есть безумие. Кроме же того: наше назначение — скромность; наше место — деревня, глушь, где недоступного барина, самодура-купца, кулака-торгаша и мироеда-мужика не ублажить никакими «манерами», пред каждым «согнёшь спину» и поклонисься. Тут приходится привыкать к «манерам» другого рода!

Нам говорят, что «из всех сословных учебных заведений в духовное звание поступали бы лица всех сословий. А так как люди, выходящие из светского общества, пороки общества знают лучше, нежели духовенство, замкнутое само в себе и отчуждённое от общества, то могли бы лучше громить общественные недуги».

На это мы скажем: духовенство выходит на служение миру не из пустынного острова. Оно рождается, растёт и живёт в том же мире, которому потом служит. Стало быть не может не знать и хороших, и дурных его сторон. Но когда мы делаемся пастырями, то, по особенностям нашего служения, мы узнаём общество лучше, чем кто-либо другой. Но от знания до слова, или обличения, ещё далеко. Недуги общества мы знаем хорошо; но, как я сказал уже, не можем говорить всего, что находили бы нужным говорить, потому что проповеди наши находятся под двумя цензурами. Первая — это в городе особый цензор священник, в уезде — благочинный. Ни тот, ни другой, из опасений строгой ответственности, не дозволят вам гово-

рить ничего резко обличительного обществу. За этой цензурой есть вторая цензура, — это обличаемое общество. Эта вторая цензура есть самая строгая и самая неумолимая. Она не допустит вам не только разглагольствий, но и ни одного, самого лёгкого намёка на его пороки. Намекните только на его пороки, — и оно поднимет на вас все силы злобы, ненависти, мщениия, предаст вас суду тех, пороки которых вы обличали, — и вы погибли на век... Многие примеры такого рода научили нас быть до последней степени осторожными. А при таком порядке дела всякая ревность самого честного проповедника улегается невольно. Следовательно, ревность неопытного проповедника, поступившего в наше общество из другого сословия, как лица, незнакомого с нашим бытом и обстановкой, послужила бы ему же, прежде всего, к его же гибели. А гибель его дала бы обществу повод держать себя, в отношении к проповеднику, ещё, так сказать, кичливее и быть взыскательнее. Ревностный же обличитель общественных недугов, не имеющий возможности удовлетворять своему рвению, был бы в тягость самому себе.

«Этот кастовый дух нашего духовенства будет жить до тех пор, пока будут существовать специальные учебные заведения для детей духовного звания».

Учебных заведений, исключительно для детей духовного звания, нет. Об этом мною говорено уже было. Специальные же учебные заведения для готовящихся в духовное звание необходимы. Истины веры настолько велики и важны, что составляют целую науку и требуют глубокого, всестороннего и многолетнего изучения, чтобы понимать их согласно учению православной церкви. Можно быть плохим химиком, плохим ботаником, зоологом и под. Вред для слушателей будет только

в том, что они меньше будут знать эти науки. Но православно-му проповеднику не знать основательно православного учения нельзя. Пашковы и бесчисленное множество подобных им у нас на глазах. «Малейшие недостатки в знании веры, как справедливо замечает «Церковно-общественный Вестник», могут породить печальные последствия. Самая терминология, когда придётся говорить о предметах духовных, запутает человека неопытного, вовлечёт в ересь, раскол, породит целую массу курьёзных суждений о предметах веры и нравственности или же заставит разливаться в пустых фразах, ничего не говорящих уму и сердцу слушателя поучений». Поэтому, одного богословского отделения, без предварительной подготовки, недостаточно.

«Не говоря о недостатках программ этих учебных заведений в общеобразовательном отношении, каждое из названных заведений включает в себе особенную специфическую атмосферу, обращающую пастырское служение в ремесло, непременно наследуемое от прапраотцев, мертвящую бодрое, чисто религиозное чувство и дело. Вся атмосфера этих учебных заведений проникнута мелочным торгашеством, чиновничьим отношением к делу, бумажным формализмом, крючкотворством и подъячеством и т. д.».

Набор слов без всякого содержания! Такой набор означает только то, что вопрос о духовенстве стал модным вопросом. Все заговорили о духовенстве, и все — один перед другим — стараются чернить его, хотя бы в том, что говорится, правды было слишком мало. В самом деле: приведённые мною слова так бессодержательны, что я не нахожу нужным отвечать на них. Однако ж всё это печатается, как бы ни было бессодержательно, всё пускается в общество, общество читает, и в людях,

не вникнувших в бессодержательность слов, увеличивается неприязнь к нам.

XXIII

Одна из уважаемых газет, рассуждая о духовенстве, задаётся вопросом:

«От чего только православное духовенство нуждается в обеспечении и улучшении быта, не смотря на господствующее своё положение? Почему нет у нас вопросов об улучшении быта раскольничьих попов, ксендзов, пасторов, раввинов и мулл?»

На это мы, прежде всего, заметим, что «господствующее положение» в России имеет православная церковь, а не служители её. Между бариним и его слугой есть разница. Смешивать церковь и её служителей, — значит смотреть без должного внимания на тот вопрос, который берёмся решать.

«Почему нет у нас вопроса об улучшении быта раскольничьих попов?»

Я сделаю небольшую выписку из журнала православного миссионера Саратовской губернии (Епарх. Вед. 1880 г. № 15) и она, надеюсь, будет достаточным ответом.

«Изменник отечественной церкви, бывший священник с. Лопуховки, Вольского уезда, Саратовской губернии Василий Иванович Горизонтов, объехав более отдалённые места Саратовской губернии, побывав в Москве и на Дону у казаков, поселился в с. Сосновой-Мазе, Хвалынского уезда, Саратовской губернии, гнезде раскола. Здесь, охраняемый целой дружиной рослых молодцов, его уставщиков в молельне, он зажил преспокойно. Масса народа со всех сторон стекается к нему со своими различными духовными нуждами, — приезжают сюда вёрст за 50–100 и более, щедро награждая Горизонтова и его

служителей деньгами, и ещё более ублажая яствами и питьями... Постоянный кутёж, попойки в сообществе девиц и женщин, состоящих при Горизонтове в качестве его келейниц и клирошан, продолжают часто далеко за полночь и нередко оканчиваются ссорой и дракой... Истинное-древнее благочестие не дёшево достаётся старообрядцам. Они платят 3–5 рублей за крестины, 20–25 рублей за свадьбу и баснословная цена, восходящая до 1000 рублей за сорокоуст и даже более. «Дал я это ему 500 рублей, рассказывает один крестьянин, чтобы, значит, помолился 40 обеден за усопшего родителя моего, потому обещание тако дал я пред Богом, а он, батюшка-то (Горизонтов) и говорит мне, да таково сердито, что я инда спужался: ты, баит, смеяться что ли вздумал надо мной, за такую великую вещь даёшь мне столько? Да мне, говорит, одному этой суммы твоей мало! А чего я дам уставщикам, которые будут петь на два клироса и которые не один ведь человек? Безбожники вы, говорит, антихристы этакие, и пошёл этак меня корить, на чём свет стоит только. Стою я и думаю себе этак: должно прибавить, нужно, да и кладу потом ещё 300 рублёв; послужите, мол, батюшка, Христа ради, больше этого не могу дать. Помяк не много этак, посадил меня рядом с собой, да и говорит мне: ну, Иван Герасимович, для тебя я только уважение сделаю в этом случае, а то мне, говорит, нельзя дешевле служить, сам много плачу другим. Одна-че, муку для просфор, вино красное, ну, и угощение там после каждой обедни, — всё это он на меня навалил. Тебе, баит, дело это сподручнее, сколько хочешь, столько и купишь всего там».

Со своей стороны мы скажем, что это не единственный случай. Так поступают попы и начётчики всех старообрядче-

ских сект. Нам лично известно множество подобных случаев. Бывает ли так у нас — православных? Никогда и нигде! Бывают и у нас и припрашиванья, и даже вымогательства; об этом мы уже писали, — но копеечные. Дело нашего служения мы настолько почитаем великим и святым, что и этого — копеечного домогательства хотелось бы избежать.

«Почему не ропшут на своё положение ксендзы и пасторы?»

В немецких колониях наших ксендзы и пасторы получают из управления государственными имуществами почти такое же жалованье, как и мы, именно: ксендзы по 171 р. 10 к., пасторы по 142 р. 90 к. в год. Но в саратовских колониях, ещё в начале поселений, контора иностранных поселенцев распорядилась, чтобы и пасторы, и ксендзы имели от обществ хорошие квартиры, отопление, жалованье и зерновой хлеб... Ни ксендзы и ни пасторы сами знать не хотят ничего: дома строятся, ремонтируются, отапливаются, а также собирается хлеб и привозится на дом по распоряжению сельских властей. Поэтому всякий ксендз и пастор может заниматься своими обязанностями безотрывочно и вести себя с достоинством. С того времени и до сих пор все они обеспечены с избытком.

Сами колонисты заняли лучшие места по Волге и близ неё. Поволжские немцы, — это, как клопы в ином доме, где есть они: где трещинки, там и клоп. Так и у нас по Приволжью: где тёпленькое местечко, — тут и немец; а о лучших местах и говорить нечего, — они все за немцами. При всех удобствах и обилии земли, они не платили никаких повинностей, — ни денежной и ни воинской, — они жили и просвещали нас: вырубали леса у соседей — русских мужичков, отхватывали пахотную землю, косили их луга, и вытравливали своим ско-

том их посевы, снимали у помещиков мукомольные мельницы, строили свои, и грабили мужичка-помольца; поступали в управляющие именьями, арендовали именья и свободные казённые земельные участки, — и мужика душили. При таком положении дать обеспеченное содержание ксендзу или пастору для них не стоило ничего. Однако ж, несмотря на это, в положении ксендзов и пасторов принимала деятельное участие контора иностранных поселенцев: без полного обеспечения духовенства не позволялось строить киров и костёлов; в случае неплатежа жалованья или неисправного сбора хлеба контора делала распоряжения.

Очень недавно ещё, что немецкие колонисты сравнены в правах с русскими, но перемена, в их быту, страшна: купцы, ремесленники и промышленники остались тем же, чем они были, но крестьяне-земледельцы беднеют с каждым, кажется, днём. Колонисты-немцы, как земледельцы, — народ самый плохой: где немцы снимали землю и сеяли хлеб, там земля проросла пыреем и бурьяном, и русский мужичок, после немца, сеет только в крайности. Лошадёночки плохенькие, плужишки дрянь, рук, как следует, приложить лень, — и ковыряет кое-как. Боронят, — так смотреть смех: иной мужичина, раза в четыре здоровее своей лошади, запряжёт её в борону да и залезет верхом. Лошадёночка чуть не падает, его ноги чуть не волочатся, — а он сидит себе и глубокомысленно тянет свою люльку. Нищие у нас теперь, преимущественно, немцы. Если они не примутся за работу, как следует, то большая часть обеднеет очень скоро, и обеднеет хуже всякого русского мужика. По ходу дела можно заключить, что немцы обеднеют. Тогда закричат и умники наши, — ксендзы и пасторы, и закричат громче нашего. Однако ж теперь, несмотря на своё обеднение, духовенству они платят так же, как и

прежде, кроме, разумеется, нищих. Платить вошло уже у них в обычай; и вековые обычаи веками и уничтожаются, тем более, что сами пасторы и ксендзы поддерживают свои доходы такими средствами, каких мы, православные, употреблять не можем. Вот пример: между двумя деревнями моего прихода, Александровской и Владимирской, на казённом участке, арендуемом купцом Ткаченко, есть немецкий посёлок, дворов в 15. Ныне летом (1880 г.), по случаю бездождия, я молебствовал в одной из своих деревень. К нашему молебну пришли все немцы-лютеране: мужчины, женщины и дети. После молебна мне нужно было идти через немецкую деревушку. Женщины и девушки ушли от меня вперёд, сажень за 50, и тихонько запели. Я догнал их. Мужчины видят, что я слушаю пение, обрадовались, ободрились, подошли к женщинам и стали петь. Потом встали все на колени и долго молились, поднявши руки кверху. Я стоял без шляпы и смотрел. После молитвы все они окружили меня и, со слезами на глазах, говорили мне: «Вы молитесь со своими прихожанами, а наш пастор не едет к нам вот уже три года. Чтобы приехать, он просит с нас 15 руб. А мы, вы знаете, люди бедные, где взять нам 15 руб.? Родятся ребята, умирают, никто не приобшался уже три года, а некоторые и больше, — а он не едет, да и только!» Такого вымогательства в русском православном духовенстве вы не встретите нигде, в этом мы ручаемся чем угодно! Без крещения, молитвы, общения брошена целая деревня, — и ничего, как будто так и быть должно. Про вымогательство пасторов и ксендзов литература ни слова. Но сделай что-нибудь только подобное мы: не поезжай к больному ночью в слякоть, метель, дождь, в деревню, хоть только один раз, или спроси за поездку 10 коп., — и заовпят против нас на все голоса! Спроси мы, за поездку, за 15–20 вёрст, в слякоть ночью, что у нас не редкость, 5–10 коп.,

беда: все закричат, что попы и жадны, и бессовестны и проч.! Нас зовут, и мы ездим всюду и во всякую погоду, безоговорочно, молча, не трубя про свои труды и лишения. Как нас ни поноси общество, какие клички нам ни давай, какие анекдоты ни сочини про нас, но кто всмотрится в нашу жизнь беспристрастно, то увидит, что бескорыстнее большинства православного духовенства нет никого. Хвалить и защищать духовенство мне решительно нет надобности. Я говорю только то, что есть на самом деле и желал бы, чтобы мои слова были проверены теми, кого они интересуют, особенно теми, кто видит в нас одно только дурное.

Случается так: в час ночи ложишься или собираешься ложиться спать; вдруг слышишь: бросились собаки. Значит, что кто-нибудь у ворот есть чужой. Оказывается, что приехал крестьянин звать к больному, в страшную метель или проливной дождь.

— Что ты, спрашиваешь, приехал в такую пору?

— Да матушке принеможилось.

— Давно ли она больна?

— Охает-то она недели три, да теперь говорит: «Ступай за попом, под сердце подкатило, как бы не умереть».

Едешь. Оказывается, что она преспокойно сидит на лавке, в переднем углу наряжена и здоровее тебя.

— Зачем ты в этакую пору прислала за мной? Ведь ты здорова?

— Како, батюшка, здорова! Третью неделю и на улицу не выхожу. Ныне весь день маковой росинки и в роту не было. Исповедуй, кормилец!

— А приобщиться желаешь?

— Как же, кормилец, желаю; только ты теперь исповедуй, а причаститься-то я завтра, Бог даст, приду в церковь к обедне. Там ты, кормилец, и причасти меня.

— Так ты и пришла бы завтра в церковь, там и исповедалась бы, чем таскать меня ночью, в такую непогоду.

— Да оно дома-то исповедываться как-то лучше, слабодней. А там коли тебе говорить с нами? Я для тебя же! Да и из шести недель-то не хочется выдти: нынешний денёк, как раз, шесть недель, как я исповедовалась.

И, действительно, случилось, что утром такие старухи приходили пешком в церковь, вёрст пять или восемь. Часа полтора проездишь. В пять часов нужно служить утреню. Окоченевший, зимой, идёшь из церкви домой, а там уже ждёт тебя мужик опять в деревню. Приедешь, пробежишь по комнатам раз 50, — и к обедне. А там: молебны, похороны, крестины и проч., и маешься до одурения.

Однажды приезжают за мною ночью два мужика-братья и просят ехать к ним в деревню приобщить отца их, убитого мужиком. Поедем, говорят, батюшка поскорее! Не знай застанешь, не знай нет, — уж больно избили его.

Ночь была страшно тёмная, летом. Вхожу в избу: горит огонёк, в избе полумрак; среди пола, на войлоке, лежит здоровенный мужичище; сам он, подушонка и войлок в крови. Над мужиком, на лавке, сидит женщина — сноха. Я вошёл и она стала толкать его в плечо: «Батюшка, батюшка! Вставай, батюшка-кормилец, священник приехал!» Мужик молчит. Я вижу, что он едва жив, без чувств, и, не желая беспокоить его, говорю снохе: не беспокой его, я сяду и подожду, когда он придёт в себя.

— Нет, он проснётся!

И опять начала толкать. Раз пять я останавливал её, а она, всё-таки, своё, — толкает. Наконец, мужик очнулся и, не поднимаясь сам, поднял руку и промычал: «А! батюшка? Где он? Причасти меня! Я его!» — да и хватил по-русски...

Я к детям: он пьян?

— Малость есть.

— Как же вы смеее возить меня, беспокоить, к пьяному?

— Да уж больно избили его. Было бы тебе известно, коль не станешь причащать.

Утром я велел прислать к себе старосту. Оказалось, что мужик этот очень богатый житель дер. Кувыки, Ермил Фёдоров Питерский, был выбран в волостные, «добросовестные», и, как начальство, требовал, чтобы все, встречающиеся с ним, изда-лека скидали перед ним шапки. Как только кто не скидал, сажан за 10, шапки, то он, как здоровенный мужичина, коло-тил каждого изо всех своих сил. Случилось, что с ним встре-тился такой же дуб, как и он, но только моложе. Питерский ударил его, а тот и ну его по-своему, да и задал ему... Питер-ский послал за мной, чтоб я приобщил его, чтоб ему можно было подать прошение, что его избили до того, что он умирал. Подобные случаи у нас не редкость и ныне: зовут в деревню к больному, а больной: «Батюшка! Было бы тебе известно, меня избили. Причасти!»

— Где избили, в кабаке?

— Да, признаться, так. Как бы не умереть, причасти, я по-дам просьбу.

Что ж? Побранишь, да и только. Но от этого не легче. Вре-мя отнято, а завтра пришлёт другой пьяница.

Нас могут укорять, что мы не внушаем о значении и важ-ности таинства причащения. Но мы внушаем, насколько

можем, да ничего не поделаешь. Ведь это всё то же, что иной департаментский чиновник: ходит именно только в ту церковь, в которую ездит жена директора; кладёт поклоны именно в тот момент, когда молится она; в публичных собраниях бывает именно там, где бывает она; на столе у себя держит именно ту газетку, какую читает директор. Он хорошо сознаёт, что он подличает, а, всё-таки, думает: не мешает подслужиться, авось обратят внимание. Чиновник чрез подличанье хочет вылезть в люди, а мужик — спить полуведёрную. Человек везде одинаков.

Однажды ночью привозят меня в один дом. Вхожу, мужик выгоняет из избы ягнят. Спрашиваю: «Кто же больной у вас?»

— Да, видно, я, кормилец.

— Но ведь ты здоров, зачем же ночью беспокоить меня? Приобщиться мог бы ты и днём, если желаешь.

«Какие у меня ребята-то, кормилец, дай им Бог добро здоровье; не то, что у кума Фёдора! Его, вот-этта, чуть-было большак не прибил. До старосты доходил. Тот: я, говорит, тебя!... А я вот только сказал, что что-то неможется, не съездить ли за попом, а они и поехали. Дай им Бог добро здоровье, почитают меня, старика». И пошёл, пошёл старик хвалить своих ребят!... Я ему: «Нужно и меня пожалеть, вас у меня не одна тысяча, нужно и мне дать покой...» А он: «дай Бог им добро здоровье! Только и промолол, а они: «не съездить ли?» И пьют они у меня мало. Вот-этта...» И пошёл!

Такие случаи у нас беспрестанно. Поставь каждый себя на нашем месте: достанет ли у кого терпения и нравственной силы: вставать ночью, ездить и ходить во всякую погоду и часто попусту, бросать свои занятия, перерывать их на самых важных пунктах; бросать перо, на половину не выразивши

мысли; бросать книгу, не дочитавши десятка строк; бросать хозяйство — покос, жнитво, молотьбу и проч. с прямым ущербом для хозяйства; безотговорочно ездить в зной, пыль, бурю, дождь, снег, метель, — бросать и занятия и отдых и — за ничто, без всякого вознаграждения! Ну, потрудитесь представить себя на нашем месте! Поверьте, что у вас не хватило бы терпения и на один месяц.

Но я заговорился, и прошу извинения у читателя.

Того, чем переполнена наша жизнь, ничего подобного у ксендзов и пасторов нет. Неотрываемые от своих домашних или кабинетных занятий, при достаточном материальном обеспечении, при участии в этом обеспечении начальства и при крайнем вымогательстве, они живут покойно и молчат. О нас же со стороны не заботится ровно никто, а таких вымогательств, на какие указал я, делать мы не можем. От того мы и бедны, от того мы и вопим. Мы вызываем общественное сочувствие, но голос наш, — или голос в пустыне, или отвечают нам в роде того: «Да ведь вы и тупы, и глупы, и безнравственны, и ещё есть, тоже, просите! Смотрите, как пасторы и ксендзы сумели поставить себя! Вот что значит быть умным-то!» Общество не хочет видеть, почему молчат они, и ставит их нам в укор. Мы желали бы, чтобы нас сравнивали с ними; но в чём? Чтобы правительство, как и контора иностранных поселенцев, приняли участие в обеспечении нас. Мы довольны были бы немногим; но желали бы, чтоб за теми лотками и решетками, которые получаем мы теперь, мы не ездили сами и псаломщики наши не ходили по дворам с мешком на плечах.

«Почему не жалуются на своё положение муллы?»

Муллы у нас все — народ торговый. Это первое. Второе: в Крыму они получают 10% всего дохода: они берут десятую овцу, десятого телёнка, десятый сноп, десятый стог сена,

десятый пуд фруктов и под. Мне лично известны некоторые крупные крымские землевладельцы, и кроме того, крупным землевладельцем в Крыму мой зять. Все они с радостью отдают свои степи в аренду из десятой части урожая. Мулла же получает эту десятую часть ни за что. И ещё бы кричать ему, что ему жить нечем! В нашей губернии татар, тоже, множество. И муллы, кроме отсыпного хлеба и живности всякого рода, получают 10% с каждого калыма. Жених платит за невесту, положим, 300 р. Из них получает мулла 30 р. Слыханное ли дело у нас, чтобы за свадьбу дали духовенству 30 р.? Если б городскому нашему духовенству давали не 10%, а только 1%–2% с приданого невест, то, наверное, оно согласно было бы не брать ничего ни за какие требы. Я говорил, что нам желательно было бы, чтоб нас сравнивали с муллами. Это, конечно, не в десятой части доходов и не в 10% с приданого, а именно в том, чтоб нам не вымаливать себе пропитание по дворам, с лукошком или мешком в руках.

XXIV

Другая из уважаемых и распространённых газет, рассуждая о духовенстве, говорит, что «улучшать быта духовенства и не следует по той причине, что оно сделается тогда ещё безнравственнее и сопьётся совсем. Мужик, говорит она, разбогатевши, делается непременно пьяницей».

Но, во-первых, разбогатевший мужик пьяницей не делается. От того-то он, между прочим, и богат, что он не пьёт. Если же и пьёт, то в известное время, и дело своё не забывает. Пьянствуют преимущественно люди бедные. В этом поверьте опять нам, живущим между мужиками. Во-вторых, на каком основании сравнивать нас с мужиками, если б даже мужики и делались пьяницами, разбогатевши? Почему не говорилось и не говорится этого о чиновниках, когда увеличивают им оклады жалованья? Неужто чиновники, с увеличением оклада жалованья, все поделались пьяницами? Неужто писец, сделавшись столоначальником, с увеличением жалованья, делается пьяницей? Столоначальник, сделавшись начальником отделения, делается пьяницей ещё горчайшим? Начальник отделения, сделавшись вице-директором, делается ещё худшим? Что такое министр, после этого? Если б нам и дали жалованье, то какие-такие капиталы дали бы нам, чтобы мы их и не видавали, и не имели в руках своих; что они вскружили бы нам головы и мы перебесились бы? Если б нам и дали жалованье, то дали бы самое скромное. Одним оно улучшило бы содержание; для других оно сравнялось бы с тем, что они получают теперь; для третьих же оно было бы, может быть, в четырёх-пять раз менее того, что они получают теперь. Между тем платёж за требы прекратился бы. Стало быть, многие потеряли бы многое, и они остались бы крайне недовольны. В нашей

губернии есть церкви, которые продают свеч более 100 пудов в год, и есть такие, где не продаётся и полпуда. Есть священники, которые получают не более 50 р. в год; но есть и такие, которые получают более 3000. И эти трёхтысячные отнюдь не пьяницы, и дайте им какие угодно капиталы, — головы им не вскружите, пьяницами они не будут. Наши епископы и теперь не пьяницы, не были они пьяницами и тогда, когда владели вотчинами и брали с духовенства оброки.

Мы слышали, что покойный высокопреосвященный митрополит московский Филарет не желал, чтобы духовенству дано было и то жалованье, которое получаем мы теперь, — что духовенство, при жалованье, **возгордится**. Правда это или нет, что так думал высокопреосвященный, я, конечно, ручаться не могу; но слух такой у нас был и держится до сих пор.

«Обеспечить духовенство казённым жалованьем? Но подобное обеспечение убило бы последние следы общественного и религиозного значения духовенства и превратило бы его окончательно в чиновников».

Подобные мнения нам встречаются не в первый уже раз, и мы отвечаем: наши епископы, в старину, брали с духовенства подати и владели вотчинами и имели должное «значение» для обществ и церкви. Теперь они живут на одном казённом жалованье. Неужто значение их для церкви и общества пало? Напротив, оно возвысилось. Мы можем сказать, что мы знакомы с историей русской церкви, знаем и современное состояние церкви на Балканском полуострове и в Малой Азии. Наш епископ не посылает теперь десятников и поповских старост за сбором податей, за десятой копной хлеба и сена; не тащит со двора последнюю овцу; не сажает нас на цепь, не приковывает в подвале, не сажает на столб, не порет плетьюми и не делает ничего, что делают теперь греческие епископы со своим

духовенством, — и теперь мы идём к нему и принимаем его у себя в доме, как начальника, как отца, нимало не опасаясь, что он будет вымогать у нас наше достояние. Наши отношения к нему чисто как отношения детей к отцу. Можно бы надеяться, кажется, что и отношения прихожан наших к нам были бы такие же, если б и мы перестали жить их трудом.

Опасаются, что мы сделались бы «чиновниками». Но почему так страшно это слово? Если б даже и чиновниками, так что ж в этом есть особенно дурное? Министры, великие князья, даже самые наследники престолов получают чины. Что ж, от этого хуже государству? Священники получают протоиерейство, епископы — архиепископство, это тоже, своего рода, чины; все мы получаем ордена, а это более, чем жалованье, приближает нас к чиновничеству; что же теряет чрез это вера и нравственность? Но мы давно, если уже так, чиновники, — мы давно состоим на казённом жалованье, но только желалось бы, чтоб это жалованье было настолько достаточным, чтоб нам не брать за совершение молитвословий и таинств, чтоб наше служение было облагорожено. Стало быть о чиновничестве дело решено давно, только эти чиновники желали бы, чтоб оклад их жалованья был увеличен.

Законоучители казённых учебных заведений разве теряют что-нибудь в своём пастырском достоинстве, состоя на казённом жалованье? Отношения их к ученикам разве были бы лучше, если б они жили поборами с учеников?

По нашему разумению, возражение о чиновничестве — возражение бессодержательное.

XXV

Во внутреннем обозрении одного из лучших и уважаемых литературных журналов, недавно были помещены рассуждения о духовенстве. Мы прочли их и приняли было только к сведению; но в одной газете нам попался, потом, такой о них отзыв: «**вполне здравые**» мнения по этому предмету (об улучшении быта духовенства) высказаны во внутреннем обозрении...

Коль скоро печать обращает внимание общества на помянутую статью, называет выраженные там мысли «вполне здоровыми» и тем желает привлечь внимание общества, то мы не можем оставить статьи этой без ответа.

«В обозрении» говорится: «Все чувствуют, что положение духовенства ненормальное, мало того, ненормальное, — развращающее».

Положение «развращающее»! Но единственно, в чём можно укорить некоторых из нас, и то только некоторых, — это нетрезвость. Но другие сословия, — любое, пьют разве меньше? Мы не витаем где-нибудь на облаках, и живём в том же мирском омуте, где живут и все, переполненном всевозможными пороками; а «прикасяясь смоле», и всякий, самый чистый «очернится». Не даром же ревнители спасения уходили в пустыни. Самую нетрезвость нашу, поэтому, нельзя ставить нам укором. Ведь вы же ставите нам вино и закуску, когда мы бываем в домах ваших для молитвословий, пьёте сами и просите пить нас! Зачем этот соблазн? Ведь вас же нужно угощать, поить, кормить и кланяться, когда заставляет нас крайность вымалывать у вас что-нибудь?! Крестьяне, в этом случае, справедливее: мне не раз приводилось производить следствия о нетрезвости кого-нибудь из причта. Спрашиваешь крестьян:

трезво ли ведёт себя известный член причта? Мне почти всегда отвечают, что «пьян бывает не редко; но ведь мы же поим его, с нами же пьёт он; как его винить в этом?» В людях интеллигентных кутежа бывает не меньше, чем пьянства у мужика, и кутежи не в пример размашистей. Люди образованные бывают рады, если в компанию к ним угодит священник, готовы залить его и вином, и водкой; но за то этот несчастный священник надолго будет служить предметом самых злых насмешек, не обращая и внимания на те безобразия, каким предавались они сами, в часы разгула.

«Все говорят: надобно поднять уважение к духовенству в народе и в обществе, надобно заставить духовенство заботиться об этом».

Мне очень хорошо известен один приход такого рода: приход большой, не бедный и состоящий из множества деревень. Недавно поступил туда священник, вдовый и имеющий четверых детей. Во всём селе он не мог найти себе ни одной крестьянской избы для квартиры. Несколько недель колотился он в церковной сторожке и, наконец, одни мужичонышко сдал ему, по 3 руб. в месяц, свою избёнку, а сам ушёл в город. Однажды, ныне летом, я проезжал чрез это село; священник узнал, что какой-то священник остановился на постоялом дворе, пришёл ко мне и попросил к себе на стакан чаю; оказалось, что мы были знакомы. Он рад был случаю отвести душу, на несколько минут, с посторонним человеком и, притом, знакомым и со своим собратом. Идём: избёночка за селом, над берегом речки, маленькая, низенькая, гнилая, покосившаяся, полуоткрытая, с двумя крохотными тусклыми оконцами, с большой глинобитной печью, пол из коротеньких горбылей, наброшенных кое-как; ни сеней, ни амбара, ни погреба, ни чулана, — нет ровно ничего. Священник на его большее горе,

высокого роста. Он не может даже встать во весь рост и сделать пять шагов от одной стены до другой. Спит с детьми на полу; кухарки по тесноте, не держит. Кушанье готовит себе сам, при помощи детей-мальчиков; изредка только помогает ему соседка-старуха. Жизнь этого несчастного священника такова, что я не вынес бы и трёх дней такой жизни и заболел бы непременно. Что это за помещение, — так это невыносимо!

В приходе его есть дворяне-землевладельцы. Один из них имеет 1000 дес. земли и до 200000 руб. в банках; другой имеет тысяч шесть дес. земли и 250000 руб. в банках; один помещик имеет 500 дес. земли, прочие около этого. Все дворяне эти лично мне очень коротко знакомы. У всех их я бывал в домах, а у некоторых по нескольку раз.

Сколько раз священник просил прихожан своих, и помещиков и крестьян, дать ему сносную квартиру или построить общественный дом; сколько кланялся, просил со слезами; сколько пропойл мужикам водки, — всё напрасно. Наконец, старшина сжалился, собрал сход и на сходе положили построить общественный дом для квартиры священникам; написали приговор и стали подписываться. Но в это время, откуда ни возьмись, приезжает в волостное правление один из крупных землевладельцев, прихожанин его (имеющий 200000 руб. в банках), Н.И.З., служивший когда-то чиновником особых поручений при Муравьёве в Вильно, и которого сам Михаил Николаевич удалил за жестокое обращение с поляками и, в особенности, с ксендзами, — вбегает и начинает кричать и доказывать, что строить дом попу не нужно; что попы дерут и с живого и с мёртвого; что пусть он живёт где знает; что крестьяне и без того бедны и пр. и пр. Что сельские крестьяне не должны давать ему под дом и места, если б он вздумал строить свой или на церковные средства; так как земля при-

надлежит одним крестьянам сельским, а поп для всего прихода⁸. Мужики сперва призадумались, а потом видят, что барин старается о них же, подняли шум, ссору, — и порешили: не давать попу ничего, и, под диктовку Н.И.З., написали приговор, «чтобы священник не смел строить дом и на церковные деньги, если б он вздумал строить, так как деньги, в церкви, они дают Богу, а не на дома попам». Несчастный священник зарыдал на сходе и пошёл домой, не помня себя.

Пусть же кто-нибудь потрудится поднять уважение к духовенству в Н.И.З. Если с ним не сладил и сам Михаил Николаевич и вынужден был удалить его от себя, то священник-то что поделает с таким господином? А это случай не единственный. Я сам пил эту горькую чашу, если изволите припомнить начало настоящих моих записок. Не думайте, чтоб священник был и «туп, и глуп, и безнравствен», — нет, как честный человек говорю: священник человек умный, трезвый и прекроткого характера. И я не басни рассказываю, а говорю факт, совершившийся в 1880 году.

Священник подал прошение в консисторию, прося её содействия в обеспечении его квартирою. Консистория сама не имеет никаких средств к побуждению прихожан и потому предписала священнику, чрез благочинного: «усугубить убеждения прихожанам к отводу квартиры или постройке общественного дома». Чрез месяц священник донёс благочинному, тот консистории, что он много раз просил прихожан своих об отводе ему квартиры и постройке дома, но те не делают ни того, ни другого. Консистория отнеслась за содействием в

8 При этой церкви земли ни пашенной, ни сенокосной и ни усадебной нет.

губернское правление, то предписало полицейскому правлению, это — становому приставу. Приехал пристав, созвал человек 20 мужиков и те от имени всего прихода дали новый приговор, что ни квартиры, ни дома они дать не могут. Так дело и кануло; так бывает у нас всегда и всюду. Недавно я видел этого священника. Жаль взглянуть на этого несчастного, убитого вдовством, нуждой и наглостью!... Он уже положил ни одного из трёх сыновей своих не пускать в духовное звание.

Вскоре после описанного (18 авг. 1880 г.) я увиделся в вокзале ж.д. с самым крупным землевладельцем этого села и говорю ему: «Смилуйтесь, добрый N.N., над своим священником, окажите ему какую-нибудь помощь. Вы посмотрите, какую нужду терпит этот несчастный!»

— Вы знаете, что я постоянно живу в Москве. В это имение я приезжаю всего месяца на два летом. Пусть помогают ему Н.И.З. и другие; они живут постоянно в имениях, и, не бойсь, тоже, чай и Богу молятся. Это дело их.

— В вас вся сила. Начните, за вами и Н.И.З. и другие что-нибудь дадут. Что стоит для вас дать 50 руб. на постройку дома! То же, что для меня 5 коп.!

— А 50-ю вы шутите?

— Вы не шутя и дайте.

— Я здесь не живу, я не прихожанин. Как только детей поместил в военную гимназию, — я переселился в Москву. Помогать попам, — дело прихода.

— Но у вас 3000 дес. земли, сами вы выехали отсюда всего года три-четыре и теперь, всё-таки, живёте каждое лето месяца по два?

— У меня только земля, ну, и пусть его ходит по ней, сколько его душе угодно.

— Приятнее было бы услышать от вас и мне, и священнику вашему, если б вы сказали: ну, и пусть его косит и берёт дров, сколько ему угодно. У него одна коровёнка, сена нужно ему пудов 200, т. е. восемь крестьянских возов; а лесу у вас полторы тысячи десятин.

— Тысяча шестьсот сорок десятин.

— Что же стоит для вас дать двадцать деревьев валежнику, подгнившего и сломленного ветром? У вас гниёт там не одна тысяча деревьев.

— Этого нельзя, никак нельзя! Вы не знаете хозяйства. У меня в лес нет следу. Я не пускаю ни за грибами, ни за ягодами. Проезжай кто-нибудь, проложи тропинку и повалят лес со всех сторон, и не укараулить; сами объездчики будут красть. Ныне народ какой? Вор на воре. Бывало, как чуть что, так велишь влечь ему полтораста, так обкрадывать барина в другой раз и не захочет. А ныне он тебя обкрадёт, да он же и говорит: полный расчёт давай, а то к мировому! Нет, батюшка, нельзя, нельзя!

— У вас сотни возов можно набрать по опушке, не делая и следа в лес.

— Нельзя, я сказал вам, нельзя! Да какой я прихожанин! Там много без меня.

Барин мой стал сердиться, и я бросил разговор о священнике.

Укажите нам, после этого, способы «поднять уважение к духовенству» в таких людях! Можно ли строго, после этого, осуждать священника, если б он стал притеснять своих прихожан в плате при требоисправлениях?!

«Нужно позаботиться о создании такого положения, чтобы священник стал сам уважать себя и сознавать, что он имеет право на это уважение».

Потрудитесь! Вы большую принесли бы пользу и церкви, и духовенству, и обществу.

«А для этого есть только две меры: или пусть государство окончательно признает факт кастового состояния духовенства, санкционирует его (каста тут не причём!) и примет на полное своё попечение всё духовенство, положив ему такое жалование, чтобы оно могло существовать не только безбедно, но и устроиться с некоторым комфортом. Тогда не будет тех близких, сердечных отношений между духовенством и народом, какие были бы желательны (а наши епископы, законоучители, священники при посольствах, миссионеры? Выпускать их из виду нельзя), но за то не будет и вражды. Духовенство станет в официальное отношение к народу. Священник будет чиновником, но чиновником приличным, который взятку не берёт, тем более не прибегает к вымогательству, не занимается кулачеством и вообще никакими, компрометирующими священный сам способами наживы».

«Но такое положение духовенства будет несогласно с православным учением о церкви...»

Мы желали бы слышать однако: как православная церковь учит о жалованье духовенству от казны и о поборах с прихожан? Ни то, ни другое учение церкви нам неизвестно и знать нам желалось бы. Почему не цитировать этого учения? Пишущий, вероятно, знает, что епископы наши состоят на жалование и, однако ж, он не считает этого несогласным «с учением о церкви»; но если бы состояли на жалование и приходские священники, то это было бы несогласно «с учением о церкви». Почему теперь законоучитель получает жалование, — это

согласно «с православным учением о церкви»; приходской священник и, в то же время, законоучитель, получающий жалованье от казны, — это согласно «с учением о церкви»; священник-миссионер, живущий исключительно жалованьем, — это опять согласно «с учением о церкви». Вероятно всё это так, потому что хроникёр ничего об этом не говорит. Но если бы стал получать жалованье и приходской священник, то это было бы «несогласно с православным учением о церкви». Вероятно, хроникёру известно постановление вселенского или поместного собора, в роде такого: «аще епископ имети будет дом, одеяние и нечто снадное от епарха, да будет ему в честь и в славу святей церкви: аще же будет имети тоежде пресвитер, да извержется»? Я говорил однако уже, что мы давно состоим на попечении правительства и получаем от него жалованье. В виду этого не для чего грозиться учением церкви.

«К тому же государство едва в силах будет его осуществить. На полное обеспечение духовенства потребуется не менее, чем сколько теперь расходуется на всю армию. Таких денег государству взять негде».

Для обеспечения в содержании духовенства потребовалось бы несравненно меньше, чем на армию. Напрасно, г. хроникёр напускает страхи и на себя, и на общество. Впрочем, мы не слышали он него какую цифру кладёт он в жалованье. Имеет ли государство деньги и откуда их взять, если мало их у него, мы, может быть, сказали бы что-нибудь похожее и на правду; но пока продолжим наши выписки.

«Остаётся употребить другой способ: пусть государство уничтожит духовенство, как касту, пусть уничтожит духовные школы, низшие и средние, и предоставит, как было в древнее время, самому обществу приискание священников для себя, где и как оно знает. Пусть само общество и приготовляет себе

лиц, пригодных для священства, и само выбирает их без всякого вмешательства в это дело высшего духовенства».

Это такое же решение вопроса, как решил один ученик о грамматиках: нейдут грамматики в голову — «пожечь надо все грамматики на свете, — и делу конец!» Порешить всего попов, и хлеба просить не станут.

«Предоставить самому обществу приискивать священников для себя, где и как оно знает».

Чтобы быть компетентными судьями достоинств священника, избиратели должны стоять выше избираемого и по религиозному образованию, и по нравственности. В обществе же, даже в высших его сферах, мы встречаем очень редко лиц, имеющих основательное богословское образование. Читая произведения людей учёных, изумляешься часто глубине и многосторонности их знаний, в особенности в области науки о природе; но как только эти люди коснутся религии, то видишь, почти всегда, полнейшее их незнание её. Видишь, что они никогда не изучали её, не вдумывались в неё, не знают духа её, не понимают даже основ её. Если же и лица, или по своему высокому положению в обществе, или по учёности, стоящие во главе общества, имеют познания в религии недостаточные, поверхностные, то чего же можно ожидать от остальных его членов? Познания остальных членов ещё слабее. Естественно поэтому, что люди, имеющие поверхностные познания в религии, не могут быть его (избираемого) ценителями, а следовательно и избирателями. Из кого это общество стало бы избирать в свои религиозно-нравственные руководители? Из того же самого общества, где основательным изучением богословской науки почти никто не занимается. Но если бы в обществе было и более людей, способных быть священниками по своим научным качествам, чем теперь, то одни из них не

пошли бы на эту должность, при настоящей обстановке священника, а другие едва ли были бы избраны, хотя бы большинство и желало их, потому что общественных выборов, в собственном смысле этого слова, у нас нет. На общественных собраниях лица избираются на общественные должности и решаются общественные дела совсем не обществом, а самым небольшим меньшинством.

Из многих случаев, которых я был свидетелем, я укажу на один, где земским собранием решался один довольно серьёзный вопрос.

Собрались гласные земства. В центре засели отставные ротмистры, титулярные, служившие до первого чина в канцеляриях губернаторов, дворяне, спустившие уже свои имения или заложившие во всевозможных банках и пробавляющиеся на счёт остатков жениного приданого, чиновники, управлявшие крупными имениями и заботившиеся о чёрном дне, более своём, чем доверителей, и сделавшиеся теперь сами крупными землевладельцами. Многие из них с небольшим запасом в голове, но за то — ораторы вполне, хотя, по всей вероятности, не всегда понимают и сами то, что говорят они; кроме себя и своей партии не знающие никого и ничего, и мнение своей партии готовые отстаивать всеми зависящими от них способами, — словом: истые, патентованные земцы. За ними сели люди состоятельные, крупные в полном смысле, но которые рассуждать в собрании о делах серьёзных считают делом совсем не дворянским. За ними села мелкота, которой всё равно, как бы ни решали центральные вожак их, — они на всё согласны. Если б даже из них кто и сказал что-нибудь, то их никто не стал бы и слушать. Купцы сели отдельной кучкой чинно; отдельно и молча сели и крестьяне.

Председательствующий позвонил, и всё замерло. «Господа, сказал он, заседание открыто! Имею честь доложить собранию, что собрались сюда для... Покорнейше прошу обсудить этот вопрос».

Тотчас же один из бойцов попросил себе слова, за ним другой, третий и четвёртый. Секретарь записал фамилии. Первый оратор начал речь. Сперва говорил он тихо и заикаясь, но потом, мало-помалу, вошёл в себя и покрывал всё собрание. Долго и неустанно говорил он: говорил он и об агрономии, и об астрономии, и о семье крестьянской, и о чести дворянской, — обо всём на свете, не сказал только ни слова о деле, за которым пришли и он, и другие. Долго говорил, наконец, утёр лоб и сел. Час, между тем, прошёл. За ним стал говорить другой. Этот второй был оратор ярый: от с первого же слова заговорил бойко и без запинки; но за то, от первого слова до последнего, никто не понял, что ему было нужно. Третий был такой же, как и предшественники его. Только от четвёртого можно было уже ясно понять, что ему было нужно и к чему он старался направить собрание. Один из купцов заметил другому: слышь, куда гнёт? Но публике не сказал ни слова. Прошло более трёх часов, утомились все, но дела не подвинули ещё ни на шаг. Председатель объявил заседание закрытым на 15 минут. Дворяне отправились в буфет, прочие же все или остались на местах, или собирались в кучки и горячо спорили. Всякий видел, что дело клонится не туда, куда хотелось бы большинству. Бойцы видят, что дело не совсем гладко, и вопрос при баллотировке может не пройти, — опять затянули дело и — то к той подойдут кучке, то к другой, то там закинут словечко, как бы мимоходом, то в другом месте, а некоторые расселись и между купцами, и крестьянами. Кончился перерыв, — и опять посыпались речь за речью, опять прошло два часа. Сделан был опять

маленький перерыв, богатые опять успели и выпить, и заку- сить; но большинство осталось и голодным, и истомлённым. Все голодные готовы были порешить дело как-нибудь, лишь бы развязаться. И, действительно, после двух ещё перерывов порешили, но порешили так, как хотелось меньшинству. В конце концов бойцы добились-таки своего, хотя к общему неудовольствию большинства.

Так выбирался бы и священник, если бы выбор его предо- ставлен был обществу. О достоинствах, необходимых для пастыря церкви, не было бы и речи, как, зачастую, не бывает её об умственных и нравственных качествах при выборе предсе- дателей земских управ и мировых судей, за которых часто весь их век работают их письмоводители. Нет сомнения, что избранному из дворян дали бы из земских сумм приличное содержание; но что этот избранный не прочтёт наизусть безошибочно и десяти заповедей, так в этом мы уверены, а о дальнейших познаниях в религии и говорить нечего.

Скажу несколько слов и о том, как, зачастую, решаются дела и на крестьянских сходах.

У меня, однажды, было нужно выбрать церковного старо- сту. Сельский староста приказал, и десятник пошёл стучать по окнам: «На сходку! Церковного старосту выбирать!» Собрались мужики и сидят, час, два, три и толкуют почти шёпотом: кого выбирать? Одни говорят: Ивана, другие Петра, третьи Фёдора; сидят и ждут мироедов. К вечеру пришли и те, и стали в сторону, особняком. Мужики поднялись и стали спорить: поднялся говор, шум, крик, — кто что несёт, не разберёшь ни слова, слышен один только гам, и больше нечего. Один отстаи- вает одного, другой другого. Мироеды стоят и молчат; но староста у них давно уже намечен, давно уже они раз пять опили его. Давши мужикам наговориться досыта, один из

мироедов выходит вперёд и говорит: «Старостой надо быть у нас Фёдору Иванычу!» Мужики подхватили в один голос:

«Фёдора Иваныча, Фёдора Иваныча! Лучше его и не найтить! Где он? Десятник, беги за ним!» Фёдора Иваныча на сходе нет. Пришёл Фёдор Иваныч и все закричали: «Фёдор Иваныч! Поздравляем тебя! Мы выбрали тебя в церковные старосты».

— Благодарим покорно, господа старички!

— Водочки надо, Фёдор Иваныч, поздравить надо, как есть честью обмыть, посылай ведёрку!

Выпили ведро, и заговорили пуще прежнего! «Ещё, Фёдор Иваныч, посылай полведёрки, жалованья прибавим, не бойсь, доволен будешь!» Принесли и ещё полведра. Крику, гаму, — на целую ночь!

Утром мужики идут на пустое место, где они вчера пили, сидят пригорюнившись и ждут: не представится ли случая опохмелиться. Приходит Иван Гаврилыч и просит, чтобы в старосты выбрали его, что он поставит три ведра водки. Мужики радёхоньки случаю опохмелиться.

— Что ж, закричали все, тебя, так тебя, нам всё едино! Чем Фёдор лучше тебя?

И начинают выставлять все стародавние его провинности. Мужики нашли, что хуже Фёдора и в миру нет.

— Десятник! Беги за старостой, скажи ему, чтобы велел собирать сходку!

Опять собрались мужики, опять долго кричали и долго спорили, а мироеды стоят себе и молчат. Наконец один вышел в средину и говорит, что они миру не переборщили, что Ивана Гаврилыча выбрать в старосты они согласны. И пошли опять попойки! Пили, пели и безобразничали два дня.

На третий день Фёдор Иваныч идёт к старосте и говорит, что мир его разорил и окамфузил, и просит собрать опять сходку. Опять собрались пьяные мужики и опять гам, крик, ссора, хохот такие, что нельзя слышать и своих собственных слов. Приходит после всех и Фёдор Иваныч; все утихли.

— Господа, старички! Вы выбрали-было в церковные старосты меня; я, значит, за честь, убогавторил вас водочкой; а напослед вы окамфузили меня: выбрали Ивана Гаврилыча. Чем я прогневал вас?

— Ничем, знамо, ничем!

— Коль дело за водкой, так я пятерик ещё ставлю, лишь бы некамфузно было на людей глядеть.

Между тем сын и работник Фёдора Иваныча с двумя ведерными бутылками стоят уже за углом сборной избы. Мужики это видели. Против таких доводов устоять нельзя. И все в один голос закричали: Фёдора Иваныча, Фёдора Иваныча! Начинают ругать и хулить Ивана Гаврилыча. Выпили по стакану, и староста scomандовал: «Кто не больно пьян, человек десять, пойдёте к священнику с докладом, что мы выбрали в церковные старосты Фёдора Иваныча. Перечить он не станет; а ты, писарь, завершай дело, пока мы ходим: пиши приговор». Писарь, пьяный, тотчас за приговор; крестьян он знает всех на память подряд и записал всех, — и тех, которые на лицо, и тех, которых не было здесь, и даже записал, с пьяну, и тех, которые с полгода тому назад померли, так что мне пришлось после возвратить им приговор. С неделю мои мужики безобразничали. Потом собираются опять на сход. Староста говорит: «Мы, господа старики, выбрали было Ивана Гаврилыча, он убогавторил нас водочкой. Как же быть теперь, за что он тратился?» После долгих споров мироеды порешили дать ему один остров покосу, который отдаётся в сдачу, ежегодно по рублю за 60.

Так, зачастую, у нас решаются дела на мирских сходках. Если б, действительно, предоставить право крестьянам самим выбирать себе священников, то туда поступали бы и сельские писали, и кондукторы железных дорог, и сельские учителя, а скорее всех — грамотеи-мужики тех же обществ, словом: тот, кто поставит больше водки и ублажит коноводов.

Однажды, при преосвященном Афанасии (Дроздове) в двухштатном селе М. найдено было нужным закрыть один штат и одного из священников перевести в другой приход. А известно, что переводы для нас прямое разорение. Один из священников собирает сход, ставит ведро водки и просит, чтобы прихожане просили у преосвященного оставить его у себя. Те составили приговор и послали к преосвященному ходоков с прошением; поехал и сам священник. В его отсутствие другой священник тоже собирает сход и ставит водки два ведра. Мужики пишут приговор и посылают в прошением ходоков к преосвященному. Приезжает из города первый священник и узнаёт, что мужики послали просить другого священника, а его отписали негодным и нелюбимым. Он собирает сход и ставит четыре ведра водки. Мужики пишут опять приговор, расхваливают его, и просят оставить, а того, как негодного вывести. Преосвященный, получивши на одной неделе три прошения и приговора, противоречивших одно другому, не мог понять, что это значит. У одного из священников сын был в певчих и жил в архиерейском доме. Преосвященный призвал его и просил сказать ему всю правду, что всё это значит, и тот откровенно рассказал ему. За откровенность преосвященный оставил его отца, но за то перестал обращать внимание на мирские приговоры.

Мы, со своей стороны, попросили бы всех и каждого, кто только берётся в своих статьях за роль реформатора церкви,

прежде всего, не мудрствуя лукаво, поосновательнее изучить учение православной церкви о церковной иерархии, и при этом взглянуть хоть только в одно место св. писания, именно послание апостола Павла к Титу, 1 гл. 5 ст. Он увидел бы, что пастырство принадлежит епископу, а пресвитер есть не более, как его помощник, избираемый им в пособие ему. Право избирать пресвитеров, или священников, принадлежит епископу. Общество же имеет право на это избрание такое же, какое имеют земские собрания и крестьянские сходы на выдачу дипломов на какую-нибудь учёную степень.

Эти два рода мирских сходок, — земские собрания и крестьянский сход, — я показал, между прочим, и затем, чтобы читатель мог уяснить себе, с кем священник должен иметь дело и какие употреблять способы, чтобы выйти из какой-нибудь крайности.

«Как было в древнее время».

Когда это, — в древнее время? При Геннадии новгородском?

«Без их (прихожан) согласия священник не может быть ни перемещён, ни уволен, ни подвергнут какому бы то ни было взысканию, в случае вины...»

Вопрос о суде над духовенством возбуждался, в недавнее время, официально; но дело осталось так, как оно было.

Епископ избирает себе помощников, — священников, он имеет и право отстранять лиц, несоответствующих своему назначению.

К крайнему сожалению, мы не можем сказать, чтобы суды епископов были всегда безусловно справедливы; в настоящих «Записках» моих я указал уже несколько этому примеров. А в одной из соседних с нами губерний один священник, в тече-

нии двух лет, переводим был в тридцать два места. Только что несчастный переволокётся на место, как местный благочинный объявляет ему, что он переведён на другой край епархии, сот за пять вёрст. Только что приедет туда, ему объявляют, чтоб убирался немедленно в третью сторону, — и так тридцать два места! Ходить бы, может быть, горемычному, как вечному жиду, и доньне, если б не помер сам епископ. Епископ этот говаривал, что священник должен иметь одну только повозку, и куда я пошлю, туда и поезжай. Наместник этого епископа, на дороге в епархию, прочёл в одной газете о страданиях священника; тотчас, по приезде, вызвал его к себе и перевёл в губернский город в лучший, — богатый, — приход. При покойном этом владыке случалось, что по четверо священников съезжалось вдруг на одно место. Съедутся батюшки со своим имуществом и недоумевают: кто же из них действительный священник этого прихода? Все четверо имеют переместительные указы на это место! Потолкуют, погорюют и поедут все к благочинному. Благочинный говорит: «Вероятно, вы, о. Феодор, должны остаться на этом месте, потому что указ о вашем переводе сюда мною получен после всех». А нам куда деваться? — спрашивают другие. — «Ступайте опять ко владыке». Поплачут, да и поедут.

Заговоривши об этом владыке, не могу не сказать об одном случае. В этой губернии у меня был благочинным самый ближайший мой родственник. В его ведомстве, однажды, пьяница и негодяй пономарь, на пасху, в доме крестьянина, во время молебна, об евангелие, лежавшее на столе, стал выбивать трубку. Священник, прекраснейший человек, удержал его и потом донёс благочинному. Благочинный, мой родич, приехал, сделал дознание и донёс преосвященному. Преосвященный накладывает на рапорте резолюцию: «Пономаря Ч.

перевести в село Z. (приход несравненно лучший), священника Г., за допущение выколачивания трубки, послать в Н. монастырь на два месяца; благочинного же Д., за распускание благочиния, удалить от должности». Прошло два года. Преосвященный сдаёт предложение: «Священника Д. сделать благочинным лично». Это значило: местный благочинный заведывает церковью и причтом — младшим священником, дьяконом, четырьмя дьячками, а до Д. касаться не имеет права. Все документы просматривает местный благочинный; но того, что писано или подписано рукою Д., касаться не имеет права. Известное какое-нибудь распоряжение делается на весь округ, благочинный получает указ и на эту церковь; но Д. получает для себя лично, указ особый. Формулярные списки пишутся у нас в общей тетради о всех членах причта; но Д. свой собственный формуляр подаёт, при особом рапорте, отдельно. В конце года известную сумму от церкви отбирает местный благочинный; ведомости этой церкви вносит в свои общие по благочинию ведомости, а Д. подаёт ведомость отдельно, словом: он начальником лично над собой самим и смотрит только за собой самим! Так прошло опять два года. Через два года Д. опять сделан был благочинным округа и пользовался уже полнейшими милостями преосвященного.

Однажды, мой родственник, благочинный уже опять, Д. выдавал замуж свою дочь, мою крестницу, и я с женой поехал на свадьбу. На дороге в одном селении я остановился переменить лошадей, и, от нечего делать, пошёл к священнику. Священник встретил меня помертвевшим. Я отрекомендовался ему и сказал куда и зачем еду. Он несколько секунд подумал, перекрестился и подал мне руку. «Мы, батюшка, сказал он вздохнувши, дрожим здесь за каждую минуту: как только увидим в селе чужого священника, то и думаем, что он приехал

на наше место. Поэтому я вас страшно испугался. У нас живёт себе священник, ничего не подозревая, вдруг является другой священник и предъявляет указ на это место. А мне куда, спрашивает хозяин? — Я не знаю, меня самого перевели против моей воли. Едет горемыка в консисторию, а там оказывается, что места и не дано никакого, или дано где-нибудь в тридесятom государстве. Дом, хозяйство, посевы, — пропадай всё!»

У родственника моего я увидел какого-то неуклюжего господина в рясе. Спрашиваю: кто это? Это дьякон, мой крестник, говорит мой родич. Ныне, в январе, я был у владыки; он был до того ласков ко мне, что даже посадил. Говорю себе с преосвященным и думаю: не воспользоваться ли его милостями, пока есть они; ведь они ненадолго? И говорю ему: у меня есть крестник, пономарь; женатый, с двумя детьми. Восемь лет уже он ездит просит посвятить его в стихарь, и всё не удаётся. Ни читать, ни петь, ни писать он не умеет, — дурак совсем, — но мне хотелось бы, чтобы ваше преосвященство посвятили его, чтобы ему не ездить и не тратиться попусту; лучше того, что он есть, он не будет во весь век.

— Где он?

— Здесь в городе.

— Я завтра буду служить; вели готовиться в дьяконы. Я дам ему богатое место.

И, действительно, посвятил в дьяконы и дал отличное в моём же благочинии место. Жаль только, что того дьякона, на чьё место послал этого дурака, перевёл вёрст за четыреста.

Этот преосвященный, под весёлую руку, говаривал: «Наша власть — деспотическая. Нам в храмах божиих поют: исполла-эти-деспота!»

Если проявляются общие человеческие слабости в судах епископских, то на беспристрастный суд прихожан и земства мы совершенно не полагаемся.

Мне, как приходскому священнику и благочинному, хорошо известно, что, как ни пьянствуй, как ни безобразничай священник или причетник, прихожане никогда не будут просить об удалении их, если только они не имеют личных неприятностей с кем-нибудь из влиятельных лиц. При следствиях, прихожане о пьяницах всегда дают хорошие отзывы. Епископ поэтому не только может, но обязан удалить такое лицо, как вредно влияющее на приход. Что делать, если священник будет потворствовать сектантам, сам впадёт в раскол, ересь? Прихожане-сектанты за такого готовы всегда положить свои головы. Неужто так и оставить его в приходе навсегда, если прихожане не изъявят «согласия» на его удаление? Нет, епископ обязан удалить его и предать суду. Так всегда и поступала православная церковь: так судимы были Арий и многое множество ему подобных. Низкопоклонничеством, подличаньем и происками пред людьми, считающими себя интеллигентными, и пятериком вёдер водки пред крестьянами, расположение и защиту в приходе может всегда найти и всякий, кто на это способен, и быть в то же время отъявленным негодяем и служить ко вреду церкви. Между тем, вредных для дела людей не терпят ни на какой должности. Рассказанные мною сейчас решения земских собраний и приговоры крестьянских сходо́в служат, кажется, достаточным тому доказательством. Для большей же доказательности того, что церковно-приходской суд не может считаться судом беспристрастным и справедливым, я сделаю небольшую выдержку из «Саратовских Епархиальных Ведомостей» (1880 г. № 28) о суде, из практики раскольников:

«Недавно был в Дубовке (Саратовской губ.) известный защитник австрийского священства, секретарь хвалынского епископа (Саратовской губ.) Амвросия, Н.П.Маслов, с благочинным, для суда над Дубовским попом Павлом, по возведённым на него винам, — что одному богачу не вынимал частей из просфоры, поданной им, что одного отлучил своею властью от церкви, что некоторым жёнам назначал непосильные епитимии, — в роде 1000 поклонов до земли в сутки и под., что он корыстолюбив, и др. вины. 1-го июня был собор по этому случаю; некоторые богачи совсем было заклевали попа; но хитрый гусяк умел склонить на свою сторону некоторых богатых купчих; и одна из них, баба бойкая, явившись на собор, распудила всех поповский обвинителей, расконфузила их и, как искусный адвокат, довела дело до счастливого результата: попа не только не осудили, не лишили места, но не осмелились и *хульна суда нанести* ему, и поп в восторге, благодаря К.Т. Один из бывших на соборе вынужден был публично выразиться в присутствии православных: какие мы дураки-то! Руководимся в делах веры таким священством, которое всегда готово, по необходимости, склоняться даже пред одной богатой бабой!»

Уж не таков ли должен быть суд и в православной нашей церкви? Нет, нам нужна не защита прихожан, **нам нужно, чтобы нас признали людьми со всеми человеческими правами!**...

Что суд всегда принадлежал епископам, каждый может видеть это, между прочим, из истории церкви Курца (24 стран. 5 строка). Для большей убедительности я нарочно выставляю светского писателя. Об адвокатуре со стороны прихожан нет ни слова.

«Когда священники принадлежали к составу общества и избирались им, священник оставался полноправным членом общины, участвовал во всех её делах и, как человек грамотный в своей пастве и поэтому уже пользовался её уважением; община заботилась о достаточном его содержании, как священника, и считала своею обязанностью защищать его, как своего члена...»

Почему бы не подтвердить сказанного историческими указаниями: когда и где всё это так было? У нас так говорят, обыкновенно, раскольники: «креститься подобает двумя перстами, так учат св. апостолы». Апостолы нигде не говорят ни о двухперстии, ни о троеперстии, говорят им! — «Так написано в старых книгах». Один вздор написал, а другой на слово верит.

Если община у нас на Руси защищала своих священников, то где же она была, когда архиереи попов пороли плетьюми, сажали на цепь и пр. и пр.? Надеюсь, что никто фактов этих опровергать не будет. А между тем семинарий тогда не было. Сделалось ли бы так, как воображают некоторые, мы возьмём в образец сельских волостных старшин. Старшина есть начальник волости и избирается «общиной» — волостью. При учреждении волостей, конечно, предполагалось, что народу дана свобода действий, — ближайшего начальника крестьяне избирать будут из себя самих, человека из той же «общины» и во всё время службы состоящего в той же общине, — именно так, как желает хроникёр выбирать священников. Предполагалось, конечно, также, что будут избираемы люди и по умственному, и по нравственному состоянию стоящие выше других и будут употреблять все силы о благосостоянии общества; но так ли вышло? В старшины попадает или выжига, или богатый мужик, — старшин только два сорта, в этом поверьте нам. О нравственных и умственных достоинствах не бывает и речи. Я

однажды, вскоре по закрытии окружных правлений, спрашиваю крестьянина: ну, что, теперь окружных начальников у нас нет, управляетесь своим братом-крестьянином же; конечно, лучше стало? «Нет, батюшка, много хуже: те брали сотнями, а наш-то брат и сотни-то берёт, да и двугривенным не брезгует». Кроме взяток, пред нашими глазами беспрестанно как издеваются, как бессовестно они ведут себя перед крестьянами! Например, съехались крестьяне на волостной сход, старшина видит это, и отправляется удить рыбу. К обеду воротится домой, не торопясь пообедаёт и ляжет спать. Ему и горя мало, что его ждут 100 человек. Выспится и часа полтора просидит за чаем. И мужики голодны, и лошади поморились, но он и знать этого не хочет, тогда как дела всего на полчаса. Знай-де нас, что мы начальство! Смешно, иногда, смотреть на чванство департаментского чиновника, приехавшего в деревню ревизором; но начальник-мужик, — это из свиней свинья!

Таковы были бы и избираемые «общинной» священники, и точно такое же отношение они имели бы к приходам.

Заботится ли общество об обеспечении в содержании избранного ими старшины? Ни мало. Он заботится сам о себе: соберутся с крестьян деньги, возьмёт с писарем своё жалованье, а казённое останется в недоимках; при каждом удобном случае дерёт и с правого, и с виноватого, — и всё тут. «Считает ли общество своею обязанностью защищать его?» Попался в беду — и идёт под суд, а избиратели его хохочут. Так было бы и с выбранным священником. Таким образом всё, что говорят об общине, о выборе, о защите и проч., — есть чистейшая утопия.

«Поставленное таким образом духовенство быстро изменит свой вид».

В этом мы совершенно согласны. Но к лучшему ли для веры и нравственности? Берут при этом одну сторону, — материальную, но наш вопрос шире.

«Духовное звание не будет никого пугать и в него охотно будут поступать лица всех сословий».

Согласны мы и с этим. Так как от священника будут требовать таких познаний и нравственности, как от сельского писаря и кондуктора железных дорог, то, конечно, все, не имеющие определённых занятий, бросятся туда; а за 3–5 вёдер водки крестьяне, зачастую, примут кого угодно.

«Реформы в духовенстве невозможны, пока духовенство существует в виде касты и такую же кастю будут оставаться духовные школы, состоя исключительно из детей духовного звания».

Ни духовенство само и ни школы его ничего кастового не составляют. Идите к нам и вы сами, и дети ваши, мы просили вас уже не раз. А это показывает, что касты мы не составляем; специальные же школы необходимы. Но о каких реформах говорят нам, что они «невозможны»? Если о религиозных, то они, действительно, при специальных школах, «невозможны»; прочие же возможны совершенно все, потому что мы не глупее других, поймём всё хорошее и усвоим.

По случаю исключения смоленским епископом Иоанном половины учеников, составитель рассматриваемой нами статьи говорит: «это яснее всего показывает, что у духовных школ нет хозяина, поэтому она бесправна и беззащитна».

Исключение Иоанном половины учеников, — факт грустный в высшей степени, — это правда. Подобное этому было и у нас при Афанасии (Дроздове) в 1847 году. Но отчего столько

застрелилось, в последнее время, гимназистов, отчего столько и гимназистов, и студентов сослано в Сибирь и пропало без вести, не от того ли, что «хозяев» слишком уж много? Вышло, что у семи нянек дитя без глаз. Которое из двух зол лучше?

«Поэтому самое лучшее, что можно сделать с семинариями, — закрыть их, потому что они дают плохих пастырей».

Неправда. Выходят из семинарии пастыри и «плохие», но больше хороших. Руководствуясь предлагаемым правилом, потребовалось бы закрыть все учебные заведения, без исключения, потому что во всех их всегда были и есть теперь ученики и хорошие, и «плохие». Но если в учебном заведении чувствуется в чём-нибудь недостаточность, то её, обыкновенно, пополняют, но заведения не закрывают. Пусть будет сделано так и со специальными духовными заведениями, если они недостаточно соответствуют своей цели. Нельзя, например, закрыть медико-хирургическую академию и медицинские факультеты при университетах из-за того, что докторов много плохих, и заменить их фельдшерскими школами. Точно так и здесь.

Надобно отнести к особому промыслу Божию о церкви то, каким образом дети духовенства выходят хорошими людьми, при тех условиях, при которых они воспитываются.

Я говорил уже об училищной моей жизни; коротенько скажу, к слову, и теперь. Как воспитывался я, так воспитывается и всё остальное духовенство.

XXVI

Батюшка наш был кроткий, добрый и крайне бедный священник. Дохода он не имел и 50 рублей в год. Землю в пользование причта барин прихода отвёл такую, что батюшка иногда сдавал её рублей за 5–6 в год за всю, а иногда не снимал её никто. Своими руками земли батюшка не обрабатывал, а наёмным трудом мог засеивать только десятины две-три. Когда я подрос, он отвёз меня в училище и поместил на многолюдной, тесной и грязной квартире, в сообщество с такою же мелюзгою, как я, и вместе с остолопами, выгоняемыми из училища за безнравственность и леность и готовившимися в пономари. Батюшка мой хорошо понимал, что это за квартира; но взять мне лучшую он не имел средств. Мои детские силы не вынесли того гама, грязи и атмосферы, что было там, и я заболел на первую же треть. Квартира от училища была далеко, в класс нужно было являться чем свет, — и ты, несчастный, тащишься туда, иногда по колено в грязи или снегу, ещё до рассвета. Классы без оконных рам и дверей, — это буквально, — и зимой, в особенности в бурю, мы решительно мёрзли. Учителя, — варвары, — били и секли часто, просто для собственной потехи и развлечения. Инспектор Архангельский строго наблюдал, чтобы к утрени ученики не опаздывали, и мы, по очереди, перед праздниками, не спали ночи, чтобы бежать в церковь после первого удара в колокол, иначе, — запрет, а церковь была далеко.

Через год я поступил в хор архиерейских певчих. Певческая, — я не нахожу слова, которым можно было бы определить её. Это омут всевозможных мерзостей, гадостей, пьянства, разврата, цинизма и варварства! Тут ребёнку было поучиться чему... Составитель статьи о духовенстве, из кото-

рой я уже приводил выше выписки, говорит: «Нет смысла готовить священников для действия в сём грешном мире и с детства воспитывать их в полном уединении от этого мира». Не плачьтесь, господа радельцы о нуждах духовенства, на наше неведение «мира», — мы видывали виды, каких, может быть, не видывали и вы. Вы согласились бы со мной, если бы пожили там, хоть только дней пяток; а я выжил там целых пять лет, и притом в лета самые впечатлительные. По выходе из певчих, я перешёл из казённого дома на частную квартиру: квартира была такая же тесная и многолюдная, как когда я был в училище в первое время. Тут батюшка мой привёз другого сына, и через два года — третьего. Как мы содержались, — так и припоминать страшно!... Семинаристов держат на квартирах, обыкновенно, семейные вдовы-мещанки, семейные отставные солдаты и т. п. Они берут понемногу за квартиру, и кормятся около постояльцев. Часто, и даже большей частью, и сами хозяева, и члены семейств их бывают люди самые непутные. Множество юношества, нашего брата, погибло именно от квартир... Я припоминаю теперь некоторых товарищей, которые, сами по себе, были славные юноши, но которые сгибли именно от квартир!

В классы нужно было являться зимой чем свет; идти бы, но у тебя нет или мяса, или муки. Встанешь до света и победишь с салазками на рынок, версты за три; а там стоишь и мёрзнешь, пока выйдут торговцы. купишь, и опять бежишь, как сумасшедший, на квартиру и в класс. Прибежишь, — а у ворот уже ходит инспектор. «Поди сюда!» — крикнет бывало. И, не говоря дурного слова, задаст такую встрёпку, что свет помутится... Дня через три-четыре приходишь из класса и промёрзший, и голодный, и усталый, а хозяйка докладывает: «Я

вам ныне не стряпала ничего: у вас нет уж ни муки, ни говядины, ни пшена».

— Как так? Мяса должно быть ещё дня на четыре, а муки и пшена месяца на два!

— Не сама же я, чай, поела! Вышло всё, вот вам и сказ. Чай, вы не воздух глотали в эти дни, а ели.

— Что ж ты не сказала с вечера?

— Вы сами должны знать.

Но долго толковать и некогда, и без толку. Сейчас на базар, в обжорный ряд, купишь себе хлеба, печёнки, рубцов; ешь да и плачешь. После пяти-десяти таких случаев перетащишься на другую квартиру, — а та ещё хуже.

При этом имейте в виду, что мы, оторванные с младенчества от надзора отца и матери, живём в училищах без всякого присмотра: становишься на квартиру, куда попало; убираешь постель, переменяешь бельё, когда вздумается; идёшь, — куда хочешь; дружишь, — с кем знаешь; делаешь, — что угодно, — свобода полная.

Чем же кончилась наша трудная семинарская жизнь? Я окончил курс и городское нищенство переменил на деревенское; а братья мои окончили курс в С.-Петербургской духовной академии и живут теперь в Петербурге, занимая весьма хорошие места. Над нами, троими братьями, как раз, выполнилась русская пословица: «в семье не без урода». Те братья вышли людьми, а я-то уродом, — «сельским священником»...

Бывши священником, законоучителем и благочинным, я имел уже несравненно больше средств, чем мой батюшка, и не мог, конечно, допустить, чтобы мои дети жили на таких же квартирах, как жил я с братьями. Дети мои на квартирах не видели тех безобразий, какие видели мы, и слава Богу, дело

идёт у меня с ними пока так, как нельзя лучшего и желать. Думаю, что точно также поступило бы и остальное духовенство, если б оно имело к тому средства. А это имело бы огромное благотворное влияние на целые поколения и на сотни тысяч юношества. Теперь же строгой нравственности от духовенства и требовать нельзя. Напрасно нападают на духовенство, не зная всей горечи его жизни и причин ненормального его состояния.

В настоящее время при многих училищах и семинариях устраиваются общежития. Нет спора, что общежития, — дело хорошее, но они имеют свои и нехорошие стороны, именно: некоторые преосвященные, а за ними и училищные власти, требуют, чтобы ученики жили в казённых домах все без исключения; в заведении строгий присмотр за учениками днём, и без всякого присмотра ночью; нет никаких игр и невинных развлечений в часы досуга, и плохой надзор за опрятностью. Принуждать всех поступать в казённый дом отнюдь не следует. Я, например, никак не желал бы, чтобы мои дети жили казарменной жизнью. Мне не хотелось, когда учились мои дети, чтобы они изменяли свой образ жизни против домашнего; поэтому они квартировали всегда в домах священников или знакомых мне хороших чиновников; комнаты были чистые, сухие и светлые; бельё и верхнее платье всегда чистое; в свободное время были в семействе хозяев; утром и вечером пили чай; в большую перемену бегали домой выпить стакан кофе и под. За что я стал бы морить своих детей на щаж и каше, держать в такой разнообразной семье, как бурса, когда я имел возможность содержать их лучше? Заниматься дети мои могли, сколько угодно, без всякой помехи; за нравственностью их был всегда семейный надзор, людей вполне благонадёжных, которых я не променял бы ни на какого надзирателя. Точно

также не следует заставлять помещать своих детей и тех отцов, которые надеются дать детям своим лучшую обстановку. Есть общежития, где с мальчика за помещение, стол, чистку белья, освещение и, конечно, отопление, берётся по 30 руб. в год. Какого содержания можно ожидать за такую плату? Оно и действительно крайне плохо. Это старинная бурса, в полном смысле слова. Поэтому нужно предоставить дело это воле родителей и не считать учеников, не желающих жить там, неблагонадёжными и не гнать их за неблагоповедение.

В общежитии непременно должны иметься: мячи, кегли, бильярд, рояль и мастерская, в роде столярной. Опытнейшие педагоги — иезуиты всегда имеют в своих учебных заведениях что-нибудь в этом роде. Но особенно полезно было бы ввести игру на рояле, живопись и столярное мастерство. Это послужило бы священнику развлечением, в часы его безделья, на всю его жизнь. Вероятно, в этих видах, иезуиты не принимали никого в свой орден, не знавшего какого-нибудь мастерства, что и весьма практично. Мне известны и теперь некоторые священники, которые, от нечего делать, строят себе мебель и даже экипажи. Эти же занятия развлекали бы учеников и теперь, вместо того, чтобы играть в карты и тянуть водку, как это делается часто ныне.

«Другое дело специальные богословские науки; те могли требовать отдельного преподавания в течение одного, много двух лет».

Годичный курс есть такой короткий срок, что в год-то сапожник не выучивается и сапог тачать, как следует. Урядникам, и то положен трёхмесячный курс, а на богословскую науку автор приведённых срок назначает год!

«Нужно предоставить самому обществу заботиться о приготовлении себе духовенства. В настоящее время, затруднения в этом решительно нет никакого: те же самые учительские семинарии, которые готовят теперь народных учителей, будут готовить в каждом народном учителе лицо, способное быть и священником».

Из кого набираются теперь ученики в некоторые учительские семинарии? Туда поступают уже взрослые юноши, но, увы, нередко исключённые из духовных училищ, гимназий и семинарий за леность; окончившие курс в духовных училищах, но, за слабостью познаний, не поступившие в семинарию, — это по преимуществу; потом: обучавшиеся в приходских и уездных школах, — эти составляют меньшинство. Значит: большинство — народ малоспособный. Каковы они на местах их службы? И по нашему наблюдению, и по отзывам членов училищных советов, — это народ с большим мнением о себе, но, зачастую, с малым толком в деле.

Давно, ещё министр Киселёв постановил, чтобы волостными писарями были из крестьян. Но, вероятно, так же как и теперь, некоторые, думали, что писаря из крестьян будут больше заботиться об интересах крестьян, что для крестьян такой писарь будет «своё», но это была ошибка. Неудобно ли взглянуть, что эти «своё», проделывают с крестьянами! Точно также было бы и тогда, если б из этих «своё» поступали и во священники. Они непременно стали бы стыдиться своего происхождения и чванством, и с наглостью доказывать всякому, что они не то, как об них думают. Такая слабость проявляется часто в людях даже образованных. У меня, например, в Петербурге был один, ныне покойный, бывший знакомый, с которым мы когда-то вместе учились, некто... ну,

да Господь с ним! Он был издателем одного журнала, но не скажу какого, хотя и знаю. Он слышать не мог, что он из духовного звания, что отец его был военным священником. «Поповщина, бывало говаривал он, бывши уже в Петербурге, — это печать антихристов: куда ни явись, все узнают, что я из кутейников». Но нашему: бедное и низкое происхождение делает человеку ещё больше чести, если он сумел выбиться в люди почётные.

Познания в религии они имеют самые-самые поверхностные; но не упускайте из виду, что в учительских семинариях они слушали священников, основательно знающих закон Божий. А так как составитель рассматриваемой мною статьи предлагает проект свой не на один год, а на целые столетия, то значит, что в следующем же за нами поколении священниками и законоучителями в учительских семинариях будут обучающиеся закону Божию в тех же учительских семинариях. Стало быть познания и самих законоучителей должны быть слабее ещё, чем теперь познания народных учителей, так как образования, выше учительской семинарии, не полагается. Мы уверены, что немногие из учителей переведут на русский язык и объяснят и теперь молитву: «Достойно есть», а тогда едва ли будут в состоянии безошибочно написать её наизусть и на славянском-то языке.

Но так как и в университетах полагается слушать богословские науки один только год, то и от законоучителей гимназий и профессоров-законоучителей университетов, и от самых иерархов наших можно будет ожидать очень немногого. И если б, действительно, установилось всё по мысли некоторых господ, то «преобразования» в нашей церкви, пожалуй, были бы возможны, потому что, по пословице, для слепой курицы всё пшеница...

Если автор помянутой статьи более целесообразным находит, чтобы священниками в народе были люди из того же народа, то пусть направит этот народ и земства, чтобы они избирали из сельских школ лучших мальчиков и посылали учиться в духовные училища и семинарии и потом просили их к себе идти во священники. Это право они имеют, — духовные учебные заведения открыты для всех сословий. Тут явная выгода, в религиозном отношении, будет та, что кандидаты на священнические должности основательнее изучат свою специальность и не было бы той невозможной ломки, которая предлагается некоторыми прожектёрами. Пусть убедит и гимназистов идти во священники. Отказа в посвящении не будет, если они будут найдены достойными. Но только знайте, что священники из гимназистов, и из училищных семинарий, и из крестьян, обучавшихся в духовных семинариях, детей своих в мужики не пошлют, отделятся от них так же, как отделились мы, и требуют и себе, и детям такого же содержания и человеческих прав, как желаем мы, а может быть даже ещё большего.

Читая журнальные и газетные статьи невольно разводишь руками и думаешь: вот тут и угоди! Одни кричат: давай нам огненное слово, другие — давай нам мужика!

Но, не в обиду будь сказано: коль скоро не знаешь дела, за которое берёшься и, в добавок, пишешь пристрастно, то дело не пойдёт на лад. Мы, однако ж, совсем не против проектов: чем больше их, тем лучше. Пред отпуском крестьян на волю, я помню, чего-то не писалось! Проекты, обыкновенно, подобны неводу в притче Господней: тащи всё, умные рыбаки хорошее возьмут, а негодное выкинут.

«Большая часть семинаристов только и учится для того, чтобы иметь кусок хлеба».

Что же тут особенного? Спросите любого ученика училища, гимназии, студента: что имеют они в виду, трудясь и тратя своё здоровье? У всех одна цель: «кусоч хлеба». Исключение составляют только состоятельные дворяне, занимающие высшие государственные должности, у коих цель иная, и купцы, чтобы получить льготу, при всеобщей солдатчине. Что имеют в виду чиновники, учителя и профессора, влача свою тяжёлую лямку до 25–35 лет? Не тот же ли кусоч хлеба? На нас только, как на бедного Макара, все шишки летят!...

«Преподавание в семинариях, в особенности богословских наук, поручаемых обыкновенно лицам монашествующим, за редкими исключениями, было самое жалкое».

Неверно. Ректор и инспектор только были «лица монашествующие», но прочие преподаватели всегда или из белого духовенства, т. е. приходские священники, или светские. Но позвольте вам сказать: ведь клобук ума не закрывает. Обыкновенно говорят, что самые слабые студенты духовных академий идут в монахи из-за архиерейства, и что им первоначально поручаются учительские должности. Но, не говоря о множестве живых и умерших, позвольте спросить вас: неужто не доказал своей учёности и громадного труда высокопреосвященный митрополит московский Макарий? Он был и преподавателем богословских наук в своё время. Вы скажете, может быть, что это единственный пример? А Соловьёвых между господами учёными много ли осталось после его смерти? Нет, и между монашествующими бывали люди достойные полного уважения. Не угодно ли вам принять в этом свидетельство лица светского, которого суд, надеюсь, вы не сочтёте пристрастным, А.П.Беляева (см. «Русская Старина», сентябрь 1880 г.). Скажите

беспристрастно: прежде и теперь преподаватели в светских учебных заведениях, конечно, не монашествующие, все неукоризненно хороши? Есть хорошие, но есть и такие, которые «всуе и землю утруждают». Так и между монашествующими: есть и хорошие, есть и весьма плохие наставники. Чужой же души никто не знает, и по каким побуждениям люди избирают монашество или другой образ жизни, — это знают они одни, да Бог. Но, обыкновенно, на монахов нападают ещё больше, чем на нас. Дело это уже известное.

Теперь в ректора и инспектора академий и семинарий монашествующие не посылаются. Членам правлений этих учебных заведений предоставлено право, при участии депутатов от приходского духовенства, избирать кого им угодно, и монашествующие, действительно, почти не избираются, ну, и ладно...

«Архиерей имеет, замечают в одном из журналов, неограниченную власть над священником: он может, по одному своему усмотрению, сослать священника на так называемое послушание в монастырь на какое угодно место, может переводить, куда ему вздумается, может совершенно уволить его от должности».

Права этого теперь не имеется. Тяжело и теперь, под час, бывает нам; но не гневите Бога: хорошо бывает и у вас, господа светские! Знакомы мы и со светской службой. Знаменитый третий пункт Свода Законов ещё ведь не зачёркнут?

«В наше время порядочный хозяин не оставит устаревшего у него на службе дворника и не обидит его за какую-нибудь неважную вину смещением его на другое, менее выгодное место, в особенности, если он человек семейный».

«Порядочный хозяин», может быть, этого не сделает, а об начальстве уж помолчите. Я служил министерству государственных имуществ двадцать четыре года; служил, могу сказать, с полным усердием; преподавал: Закон Божий, историю России, русский язык, литературу, арифметику и географию (я говорил уже об этом в одной из предыдущих глав моих «Записок») и, не предупредивши, не сказавши мне ни разу ни слова, меня уволили, не сказали и спасибо.

«По идее христианского учения, удовлетворение христианских потребностей и не может принадлежать никому, кроме самого общества (неправда!). Ибо всякое христианское общество есть уже церковь, независимо от того, состоит ли оно в каком-нибудь отношении к государству, или находится одно себе на каком-нибудь пустынном острове, точно также, как независимо и от того: есть ли в нём облечённые в духовных сан лица или нет...»

Потрудитесь прочитать хоть катихизис Филарета о девятом члене символа веры, и вы увидите своё заблуждение.

«По учению христианскому, всякий верующий есть eo ipso и иерей, носящий в себе involute право на все те действия, которые совершает и священник».

На это я скажу: ни вы сами и никто другой не имеет права совершать таинства церкви и священнодействовать, вообще, без рукоположения епископского. Но в другом месте автор цитируемой статьи сам же говорит: «Каждый воспитанник, выбранный обществом и посвящённый в этот сан»... И нужно посвящать, и не нужно посвящать!... Это показывает крайнюю слабость познаний учения церкви.

«Из этого ясно, что во всяком христианском обществе или церкви (стало быть, можно говорить как угодно: волостное правление Мариинского общества, или: волостное правление Мариинской церкви? Старшина Мариинского общества, старшина Мариинской церкви?) священство открытое, облечённое преимущественным или исключительным на это правом, немислимо иначе как под условием, что этому лицу передаёт свои права священства всё то общество, которое, зная высокую нравственную жизнь известного лица и его особые дарования для церковного учительства, найдёт его способнейшим и достойнейшим священства перед всеми другими членами общества».

Епископ, священник, десятник, староста, старшина, гласный земского собрания, ходок по делам, — одно и то же? Разница только в том, что каждому назначается своё дело?

«В таком, именно, смысле понимала всегда христианскую идею и православная (будет вернее, если будет сказано: реформаты, протестанты, методисты, квакеры и пр. и пр., а наши: молокане, беспоповцы, спасовцы, нетовцы, подпольники и пр. и пр.) церковь, предоставляя выбор лиц духовных той пастве, в которой они должны быть пастырями. (Вы перемешиваете: выбор лиц, предоставляемых епископу для посвящения, с правом для каждого лица священнодействовать). Это постановление церкви, составляющее одно из коренных её прав на название православной (неужто потому наша церковь называется правосмыслящею или православною, что прихожане представляли епископу кандидатов?) соблюдалось и в нашей церкви».

Почтенный писатель, которого я цитирую, берётся быть преобразователем духовенства и даже церкви, не зная совершенно ни отношений духовенства к обществу, ни общества к духовенству и ни даже самой религии. И между тем он был слушателем законоучителя, лица высокообразованного. Что за люди выходили бы из университетов тогда, когда законоучителями их были бы лица, прослушавшие сами богословскую науку один только год, и опять от такого, который, в свою очередь, слушал только один год?!

«В обществе чувствуется, в настоящее время, общая неудовлетворённость современным состоянием церкви».

В другом месте, той же статьи, автор говорит: «Всякое христианское общество есть уже церковь». Далее опять говорит: «Всякое христианское общество или церковь»... Стало быть: общество и церковь, — есть слова синонимические. Поэтому приведённые мною слова хроникёра нужно понимать так: в обществе чувствуется неудовлетворённость современным состоянием общества. И это действительно справедливо: чувствуется сильная недостаточность религиозно-нравственного его состояния. Очень, при этом, утешительно, когда слышишь голос скорби из среды самого общества! Но хроникёр, как видится из дальнейших его слов, под словом: церковь, разумеет духовенство? Напрасно. Духовенство не церковь. Если понимать это слово так, как объясняет его православная церковь, то неудовлетворённости никакой нет, и быть её не может.

«В газетах не редко встречаются заявления о необходимости в ней (церкви) преобразований».

Ни в каких преобразованиях церковь не нуждается, и нуждаться не будет, держась строго всегда православного вероучения.

«Одни из газет требуют (!) поместного собора; другие даже вселенского».

Господам, «требующим» соборов, мы посоветовали бы, прежде, чем требовать, ознакомиться с историей церкви и всмотреться, по каким случаям и в каком состоянии вероучения собирались соборы. Они увидели бы, что ничего, подобного прежнему состоянию церкви, нет, и что уже всё приведено в определённую и ясность; следовательно и соборы совершенно не нужны. Если и есть теперь разномыслие в вероисповеданиях: православном, римско-католическом, англиканском и протестантском, то эти вероисповедания положили такие рубежи между собою, что их не соединят никакие соборы, доказательством чему могут служить, между прочим, собрания так называемых старокатоликов, где в беседах с ними участвовали и православные, и англикане.

В нашей литературе весь «сыр бор загорелся» из-за денег, — ничуть не больше: духовенство наше, и в настоящее время лучше, чем было оно даже за каких-нибудь тридцать лет. Мне, как священнику, живущему среди этого духовенства, и благочинному, известно это лучше, чем жителю столицы и лицу светскому. Заступаться и защищать духовенство, я уже говорил, я совсем не имею надобности. Дело это такого рода: духовенство всегда терпело страшные унижения и нужду; но пока дети его непомерным трудом и невероятными лишениями всякого рода могли ещё пробивать себе дорогу, — оно, забитое, голодное и холодное, молчало; молчала и литература; стало быть и во мнении общества оно не представляло ничего,

особенно выдающегося дурного, хотя, повторяю, было много хуже, чем теперь. Но как только начали душить наших детей: выгонять из учебных заведений, сокращать число учащихся штатами по классам, отнимать высшее образование, и этим делать их париями, пролетариями, бродягами и возмутителями общественного спокойствия; тех, которые, выстрадали, вытерпели всю неправду, 10–12 лет не спали ночей, подорвали здоровье и доплелись-таки, кое-как, до окончания курса, — стали давить и гнать в пономари на нравственную и физическую смерть, — духовенство не выдержало и, благодаря уважаемому журналу, «Церковно-общественному Вестнику», издаваемому почтенным и уважаемым А.И.Поповицким, единственному духовному журналу, сочувственно относящемуся к нам, стало иногда заявлять и о себе самом, о своём невыносимо тяжёлом состоянии, и вот некоторые из писателей подняли крик: «Попы и тупы, и глупы, и безнравственны, и имеют развращающее влияние; выгнать их всех, набрать мужиков», — и, Боже мой, чего-то не заговорили, благо и тема широка и духовенство не отвечает ни на какую брань, боясь горших последствий отвне... И не без основания молчит оно, — оно хорошо знает, что ожидает тех из отцов иереев, которые заговорили...

Если есть некоторые особенности в нашей организации, то они совсем не те, на которые обыкновенно указывает литература. Эти особенности: определения на места, надзор за духовенством и церквями, консистории, производство следствий, суд, наказания, подводная повинность, денежная повинность, благочинные, ремонтировки церквей и церковных домов, постройка духовенством собственных домов на чужой земле, состояние училищ, состояние наших вдов и

сирот, состояние самих нас, в случае нашей болезни и выхода за штат и пр. и пр.

Обо всём этом мы и поговорим в следующих главах наших «Записок».

XXVII

При открывшемся каком-нибудь месте преосвященному подаётся несколько прошений. Если проситель есть лицо заслуженное, хорошо известное ему, и он находит просителя соответствующим этому месту, то он даёт место, иногда, почти тотчас же; если же нет особенно выдающихся заслугами, то прошения откладываются, иногда, на довольно долгие сроки, особенно, если место славится своею доходностью, — «приход хороший». Преосвященные выжидают просителей ещё. Тогда начинают орудовать домашние архиерейские секретари: иной сокол ошпишет всех до единого, понемножку, но иногда этот пушок доходит и до сотен рублей. Дело в том, что преосвященные, в некоторых случаях, советуются с ними, спрашивают их, как лиц, стоящих ближе к духовенству, — а они дело своё знают, — знают, кого расхвалить и отрекомендовать на известное место, и кого очернить. Иногда же преосвященные и не думают советоваться с ними и спрашивать, в чём бы то ни было, их мнения; но они всё-таки выдают себя духовенству за советников, берутся ходатайствовать, — и обируют. Продержавши прошения некоторое время, преосвященные сдают их в консисторию с резолюцией: «представить справку». Это значит: представить формулярные списки просителей. Здесь начинает обдeldывать просителей канцелярия консистории: ныне некогда писать, завтра срочные дела свои, после завтра, — не до тебя: а просители живи и проживайся. Потолкнутся просители в передней, потрутся около столов с недельку, потолкуют между собой, сделают складчинку рублишка по два-по три, — и справки готовы. Ни члены, ни секретарь и не подозревают, что творится у них за стенкой, но тут своё дело знают. По представлении преосвященному справок, место

даётся им по его личному усмотрению. Случается иногда, что пропадают и справки, и самые прошения. Это значит, что их стянул тот, кому это нужно, — чтоб это лицо не получило просимого места. Иной преосвященный проживёт весь век, ему и на ум не придёт, что у него выкрадывают прошения, а тут себе на уме... Преосвященный, при множестве дел, уж никак не может припомнить всех прошений; не подозревая плутни, он и не припоминает их и даёт место известному лицу. Тот же, чьё прошение скрадено, видит в консистории, что место дано не ему, отправляется преспокойно домой, говоря, — что его прошения архиерей не сдал и больше не думает о нём. Явится, потом, на свет и это прошение, но на нём будет резолюция: «место занято».

Хорошие места разбираются скоро. Эти места даются людям более достойным по своим умственным и нравственным качествам, если только не вмешался в это дело домашний архиерейский секретарь и не имел успеха в своих плутнях. На городские священнические места, иногда об известном лице просят преосвященного и прихожане. Но, вообще, места даются более справедливо, чем у светских, где так называемые «связи» играют такую огромную роль. Ни тётушки, ни бабушки у нас не имеют никакого значения.

Плохими приходами называются те, где мало прихожан и те бедны, или где находится много сектантов. В эти места посылаются или в наказание из богатых приходов, или люди безнравственные, пьяницы, по несколько лет шатавшиеся без места. Места даются этим людям, чтобы, просто, дать им какой-нибудь кусок хлеба, особенно, если они люди семейные, чтобы не надоедали своими неотвязными просьбами или, просто, чтобы отвязаться от них, или, наконец, потому что люди хорошие нейдут туда и нет лучшего кандидата. В прихо-

дах эти люди ведут себя безобразно, точно также, как и до того времени.

Сострадание к бедствующему семейству, нет спора, дело хорошее; но родной отец должен заботиться о своих детях прежде всех и более всех. Если же он сам не заботится ни о себе самом, ни о детях своих, то с какой стати заботиться о нём людям посторонним? Дело тут в том, что из-за куска хлеба двоих или троих, жертвуется религиозно-нравственным состоянием многих сотен, а иногда и двух-трёх тысяч людей, — целого прихода. Такой член причта есть язва для прихода. Дело это мне известно хорошо, и я могу указать на самые лица и на множество примеров. Как вредны для приходов члены причтов с дурной нравственностью и нетрезвые, представлю в доказательство статью из «Церковно-общественного Вестника», № 85: «Драчливый миссионер». Так вредно они влияют всюду: от безобразий их падает вера и нравственность в православных; от порочной их жизни, слабые в вере отпадают в раскол; на них указывают, как на причину холодности в вере и те, которые и при лучших пастырях не были бы религиознее; из-за них хулится всё духовенство и даже самая религия. Сострадание не всегда полезно.

В селе Усовке, Саратовского уезда, не моего округа, мне однажды было поручено произвести следствие, по делу о нетрезвой жизни двоих тамошних священников: Ивана Троицкого и Михаила Архангельского. Троицкий жил там, до того, более двадцати пяти лет, а Архангельский из запрещённых священников был послан туда незадолго. Село Усовка, — село приволжское, богатое, большое и раскольническое. При спросе о поведении священников (!), один крестьянин говорит мне: «Был у нас один штат, жил у нас один о. Иван, и жил больно плохо, — так плохо, что хуже и быть нельзя. Вот и прослышали

мы, что у нас открывается другой штат, и думаем: не даст ли нам Господь священника получше этого? Этого раскольники наши совсем споили: обедни служит редко, а когда и служит-то, так что за служба! Из церкви опять тотчас в гости; православные-то, и те перестали ходить в церковь. Человек он вдовый, поддержать некому, — совсем пропал! Открылся другой штат, приехал другой священник, немолодой уже и семейный; на квартиру стал у моего шабра. Дождались мы другого священника, — но этот другой — хуже всякого свиного пастуха! Так от пьёт, что и сказать не можно. Вот я, иногда, приду к нему, по шаброву делу, да и стану его урезонивать: «Батюшка, говорю я ему, жить-то тебе не так бы надо! Так жить нельзя и последнему мужику, как живёшь ты. Нас за вас укоряют раскольники». А он так пугнёт меня, что и последний бурлак не выругался бы этак. И что делают наши архиереи? Зачем они дают священнические места этаким людям, да ещё в таких сёлах, как наше? Наше село богатое, народ весь придерживается раскола, над нами все смеются, что выйти на улицу нельзя. Это оба такие попы, что мы не дали бы им и свиней пасти, а не то, чтобы стадо Христово! Михаилу дали место, чтоб не умер с семьёй с голоду? Но коль не хочет жить, как надо; коль не хочет делать дело, за которое взялся; ну, и умирай с голоду, никто не виноват. Как проголодается, так дурь-то бросит. Зачем из-за пьяницы губить стадо Христово? У нас из-за них и остальные-то ушли в раскол»⁹ В таком роде мне дали показания и другой, и пятый, и двадцатый... Все показания я написал слово в слово и, по особому распоряжению преосвященного,

9 Я помню это показание слово в слово.

следственное дело отослал по почте прямо к нему. Через две-три недели являюсь к нему сам.

— Вы производили следствие в селе Усовке?

— Я.

— Уж какое же вы сделали мне там назидание!

— Извините, ваше преосвященство! Я нахожу нужным показания понятых людей писать слово в слово.

— Да, так и нужно, конечно.

Преосвященный задумался, минуты три молчал, и потом с грустью сказал: «Да, действительно мы виноваты, что посылаем таких на священнические должности! Но чем виноваты несчастные дети!... Жена Архангельского пришла ко мне с кучею детей, упала в ноги и навзрыд плакала, что она с детьми умирает с голоду. Сам Архангельский поклялся мне, что он пить не будет. Я, конечно, не поверил ему, но детей пожалел».

Оба, Троицкий и Архангельский, были запрещены в священнослужении и удалены от должностей. Троицкий получил место в моём округе, в с. Увеке, чрез год убежал к раскольникам и теперь живёт на Дону у казаков.

В одно время, летом, в Увек приехали четыре казака, на тройке хороших коней, в хорошем экипаже, дня четыре с Троицким пьянствовали и потом, ночью, все пропали. Где теперь Архангельский, — не знаю. Раскольники укоряли отцом Иваном православных, и сами же увезли его к себе.

Теперь в приходы, наполненные раскольниками, как малоходные, посылаются исключительно подобные Михаилам Архангельским и Иванам Троицким. Эти люди, уже сами по себе, есть язва для приходов, — для православия. Но раскольники, по-видимому, дружатся с ними, спаивают их окончательно, нарочито поят пред праздничными днями, чтобы они

не совершали церковной службы. И, действительно, в иных подобных приходах служба совершается пять-шесть раз в году. Раскольники же, наоборот, в укор православным, стараются отправлять своё богослужение, как можно торжественнее, собираются и старый и малый, и, уходя домой, хохочут над православными.

Живи духовенство не от требоисправлений, имей оно определённое и уравненное содержание, — нет сомнения, что в раскольнические сёла шли бы люди достойные, могущие приносить пользу православию; при нынешнем же порядке туда будут поступать только Иваны и Михаилы и, при всех усилиях администрации и миссионеров, раскол не слабеет, а усиливается, — так будет и дальше.

В настоящее время жалованье распределено у нас не равномерно, приходы разделены на классы. Там, где приходы многолюдны, настоятель получает 144 рубля в год, его помощник 108 рублей. В средних приходах настоятель получает 108 рублей, помощника ему не полагается; в малолюдных настоятель получает 72 рубля. Многолюдные селения, обыкновенно, более или менее, богаче малолюдных. Там, кроме обязательных треб, за которые оплачивается часто с избытком, бывает множество необязательных: служатся по домам всенощные, молебны, панихиды, служатся сорокоусты и др. Есть приходы, где священники получают до 3000 рублей. Таких приходов хотя и немного, но всё-таки они есть. В таких приходах и жалованья положено больше, высокий оклад, 144 рубля. В малолюдных селениях народ всегда бедный; за обязательные требы, крестины, похороны и т. под., платит 3–5 коп., молебнов, кроме пасхальных и праздничных, не служится, всенощных, сокороустов не бывает никогда совсем, — и священник получает 100, 70 и даже 50 рублей; казённого жалованья

получается 108–72 рубля. Кто же пойдёт в такой приход? Иван, да Михаил, когда выгонят их из Усовки. Очень нередко, что туда попадают люди и очень хорошие; но, за то, они несут такую нужду, что читатель не поймёт её, если б я и сказал ему.

У меня, например, в соседстве есть священник, в с. Слепцовке, состояние которого до того бедственно, что не понимаешь, как существует он? Село это приписано к моему, и священник пишется моим помощником, хотя там имеется своя церковь, своя земля при ней, свой отдельный составляет приход, словом: приписка эта не имеет никакого смысла. В приходе числится 661 душ. м.п., — народ крайне бедный. Правда, там есть и помещики, и даже очень состоятельные, но от них не разживёшься и гнилым поленом. Кружечного дохода священник не получает и ста рублей, казённого жалованья 108. Хлебный сбор бывает самый скудный. При таких средствах едва только можно пробавляться одному с женой, но у этого несчастного шесть сыновей! В прошлом году он поместил одного, старшего, в училище, и не знал, как он будет содержать его; но ныне отвёз другого. Что он будет делать с ними, я и не понимаю. А между тем в запасе у него ещё четыре. Что же он будет делать чрез четыре-пять лет? Шестнадцать прошений подавал он о перемещении его в приходы, более состоятельные; но всегда «ин прежде его слазит», — всегда не удаётся ему почему-то. Между тем, это человек в высшей степени симпатичный: умный, прекроткий, предобрый, тихий, скромный, вежливый, непьющий никаких вин, не то чтоб водки, — этот человек считался бы совершенно на своём месте в любом городе.

Я сейчас сказал, что в многолюдных приходах жалованья полагается больше, противу малолюдных. При таком распределении его имелось в виду: за требоисправления не брать

ничего, и у кого больше треб, — больше труда, тому больше и вознаграждения. Такое распределение совершенно справедливо: больше трудился, — больше и получишь; но только оно не может быть приложимо к нам. По моему мнению, в малолюдных приходах жалованья, или вообще содержания, нужно давать много больше, чем в многолюдном, и именно вот почему: чтобы сравнить, по возможности, доходы всех приходов и этим сделать их такими, чтобы в них шли, без различия, люди, достойные своего дела, и тем поднять религиозно-нравственное состояние несчастных, брошенных без доброго примера, без пастырского слова, без молитвы и таинств церкви, на позор и жертву расколу, — прихожан бедных и раскольнических приходов. Пусть духовенство не берёт ничего за обязательные требоисправления; но в многолюдных и богатых приходах оно, всё-таки, навёрстывает тот недостаток жалованья, противу жалованья малолюдных, другими доходами: за всеобщные, сорокоусты и др. В обиде оно не будет никогда. Точного, безусловно, уравнивания быть никогда не может, приходов не уравнивать ничем; но чтобы между ними не было такой громадной разницы, — это сделать возможно. Мне скажут: за что причт будет иметь больше жалованья в малолюдных селениях, когда у него треб совсем мало? Я уже сказал: чтобы поднять религиозно-нравственное состояние народа, чтоб приходов таких не обегали люди хорошие, чтоб они не были достоянием только Михайлов да Иванов и подобного народа. Цель мою я нахожу честною. Притом, кому какое дело до того, что получает его сосед? У меня, например, в 1879 году было 217 крестин, а в Слепцовке 80. Если б у него было не 80, а 800, — это для меня совершенно всё равно. Теперь он получает 108 рублей, и если б стал получать не одну, а несколько сот, — это опять для меня безразлично: я получаю своё, он своё.

Нельзя упускать из виду народ, для которого мы существуем. Но в распределении жалованья и в сокращении штатов имелось в виду одно духовенство, а народ оставлен без внимания.

По настоящему положению о псаломщиках, туда могут поступать только окончившие курс семинарии; оканчивающих же курс очень мало и вообще, но и из них в пономари никто, почти, нейдёт. Поэтому мы довольствуемся пока остатками пономарей старых, народом, наполовину, крайне дурным; но скоро переведутся и эти. Поэтому, по моему мнению, нужно дать опять доступ в причетники всем, исключаящимся из училищ и семинарии, как это было до, так называемой, реформы. Правда, что обстоятельства изменились: теперь хорошего причетника за 25 рублей в год не купишь; они найдут, как и теперь находят, места в купеческих магазинах, конторах, на железных дорогах, но всё-таки некоторые угодят и к нам. Недавно я пробовал приглашать к себе из лиц других сословий в псаломщики, назначал 200 рублей жалованья, и никого не нашёл. Псаломщическое дело у нас, — презабавное дело. Жалование полагается псаломщикам: дьячку 36 рублей, пономарю 24 рубля в год. Псаломщических мест по каждой епархии много; путь туда неокончившим курса семинарии преграждён; захотели, чтобы пономарями были всё народ учёный, всё богословы; а в семинариях, между тем, штаты сократили и ввели такие строгости, что до богословского класса доползают не многие, каких-нибудь 10–15 человек, и эти немногие в пономари нейдут. Мы приходские священники, и пробавляемся пока старыми поддонками, да так, что хоть плачь, — служить совсем не с кем, один другого хуже. Непрактичнее этого дела и не выдумать! Хотели что-то сделать, задумали, да и не додумались.

XXVIII

Получивши приход, член причта приезжает на место и, буквально, «не имать, где главы подклонити». Я говорил уже, как жил я, тотчас по поступлении во священника, в церковной сторожке, потом в мужицкой избе, вместе с хозяином её; говорил также, как теперь один мой знакомый батюшка живёт в полусгнившей крестьянской избёнке, и не может стать в ней во весь свой рост. Из этих очерков читатель, надеюсь, поймёт, сколько несём мы горя, тотчас по вступлении нами в приходы. Из этих кратких очерков можно составить понятие и об остальном духовенстве. Я и мой знакомый священник не составляем исключения: участь одинакова всего духовенства сельского, и только за самыми ничтожными исключениями.

Особым будет счастьем члену причта, если в селе его найдутся у мужика две избы и одну из них уступят ему, не говоря уже о том, что в год возьмут с него за квартиру столько, что и сама изба не стоит того, и всё-таки опять на какой-нибудь один год. Как бы он ни бился, какую бы нужду ни терпел он, получай он хоть 50 рублей в год, будь и он сам, и дети босы и голодны, — но построить свой дом он всё-таки должен. Иначе ему с семьёй придётся умирать на улице. Деревня не то, что город, — весь век на чужой квартире прожить нельзя.

Собрался, наконец, с силами, положим, священник; можно бы и строиться, но где? Усадебные места — или церковные, или прихожан, в собственность приобрести нельзя ни тех, ни других; нужно строить на чужой земле. Если нет церковной усадьбы, то нужно просить прихожан, чтоб они дозволили строить на своей. Тут нужно просить и, разумеется, поить мужиков, а до этого несколько раз убогатворить коноводов-

стариков, иначе никогда не состоится никакая сделка. Запоенные и задобренные коноводы сами скажут, когда будет у них общая мирская попойка; они скажут, что на сход, прежде чем мужики не подопьют, идти нельзя, иначе потребуется много водки; что на сход нужно будет идти прямо с водкой, что тогда полупьяные мужики бывают согласны на всё. Выпивши ведра два-три, крестьяне позволяют строиться на их усадьбе; но позволение это обыкновенно даётся безо всяких, каких бы то ни было, актов. Если дом предместника был на церковной земле, то иногда бывает возможно купить и его; если ж на крестьянской, то его, почти всегда, отбивают за бесценок сами крестьяне.

Так или иначе священник дом себе поставит; хороший или плохой, — это будет зависеть от его средств. Построит дом, пристроит и всё необходимое к нему: амбарчик, конюшенку и ещё кое-что, и живёт. Живёт, но нужда заедает его. Открылось порядочное место, ушёл бы, но дом куда? Он должен пропасть за бесценок. Надеяться, что купит его наместник, — опасно: можно нарваться на такого кулака, что ему же накланяешься, чтоб хоть за полцены-то взял. Кроме того, в большинстве, духовенство имеет возможность строиться тогда только, когда дети ещё малы; но потом уже не до построек. Подумает-подумает горемыка, да и останется доживать свой век, на горе и себе, и детям.

Но есть отцы иереи, которым перейти в другой приход ровно не значит ничего. Перейти в другой приход, построить дом, продать, опять купить, сменяться приходами и домами и взять, при этом придачи или самому приплатить, — для них не значит ничего. Такой иной господин ходит—ходит и насилу-то уж усядется под старость.

В достаточных приходах люди, имеющие возможность, строить себе порядочные дома и живут весь свой век; но как только за болезнью или старостью выходят за штат, то дожить покойно в своём доме им не дадут никогда: их вынудят продать за бесценок свой дом и, или уйти к какому-нибудь своему родственнику, или построить келью на конце селения. Со вдовами поступают ещё хуже: тут бывают возмутительные вещи: тех прямо, почти, выгоняют из дому.

В селе Глядковке, бывшем моего округа, когда я был уже там благочинным, священник В. приехал туда на должность пред Пасхой и, с женой и ребёнком, поместился у одного из крестьян села, в одну избу с семейством крестьянина. Изба топилась по-чёрному (печь без дымовой трубы). Едва с месяц пробыл там несчастный! Как только сошёл снег и стало просыхать, — он вырыл в круче над оврагом землянку и жил там всё лето, пока строился его флигель. Священник М. села Ю. жил с семьёй целый год в кабаке. Во всём селе не оказалось ни одной избы, куда бы М. мог приютиться; на его счастье (!) кабак состоял из двух изб, разделённых сенями; целовальник сжалился над бесприютными и отдал им одну избу.

Если б наши консистории испытали на себе хоть часть того, что терпит сельское духовенство, то не клали бы тех непреодолимых препятствий какие кладут они при покупке домов сельским духовенством. Забавное дело! Как будто одна консистория заботится об интересах церкви, как будто там только и христиане, а прочие священники все и грабители, и святотатцы!... Все мы учились на одни медные гроши, — у всех нас были одни и те же наставники, те же инспектора смотрели и за нашей нравственностью, — всё одинаково. Но как только кто-нибудь попал, случайно, в члены консистории, — беда! Откуда

явится и ум, и благонравие, и попечение о чужих храмах Божиих и — все доблести праведника!...

Настоит крайняя необходимость и было бы, поэтому, желательнее, чтобы сельское духовенство имело церковные квартиры. Квартиры от прихожан, — одно горе. Я и причт мой, в начале поступления моего в настоящий мой приход, имели казённые квартиры. По изменившимся обстоятельствам в приходе, прихожане купили дома, где жили мы себе хорошо, и оставили нам под квартиры. Дома стали ветшать и потребовали значительной суммы на поправку. Просим прихожан, — те отказываются неурожаем хлеба. Просим консисторию, та — губернское правление, палату государственных имуществ и т. д. Год пройдёт, а дело не подвинется ни на шаг. Крыши развалились, дождь пробивается в комнаты, оконные рамы, двери, полы и пр. всё обветшало, жить не стало никакой возможности. Просить уже надоело. Прихожане стали просить меня, чтобы я чинил свою квартиру на свои средства, что они, со временем уплатят мне все расходы! Я свою квартиру, в необходимом, исправил, а причт так и остался. Года чрез два прихожане принесли мне приговор, что дом, в котором живу я, они дарят мне. Я сломал его и построил новый свой. Года через три они подарили и дьякону, и тот, также, построил свой новый. Причетнические же дома так и остались неисправленными. Лет чрез десять потом прихожане отдали оба дома в церковь.

XXIX

При новом, так называемом, преобразовании духовенства, вложено начало или источник вечной непримиримой и нескончаемой вражды между священниками двухштатных приходов, вражды, оканчивающейся, часто, пагубно для них самих и вредно влияющей на прихожан.

Из двух священников один сделан настоятелем, другой — его помощником. При таком распределении имелась в виду исключительно продолжительность службы в сане священника, не обращая внимания, кто таков он сам в себе. Вследствие чего вышло множество случаев такого рода: в приходе два священника, старик лет 75, и молодой. Старик учился, когда-то, только в училище, не умеет сказать с толком пяти слов и со смыслом написать одной строки; молодой же окончил курс в семинарии в первом разряде, умный и дельный господин. Молодой, — молод, однако ж, настолько, что при распределении штатов, он был священником лет уже 12. Старик сделался настоятелем, молодой — его помощником. Молодой говорит поучения народу, ведёт беседы с сектаторами, ведёт всю церковную письменность, переписку с лицами посторонними, ведёт счетоводство, покупки, ремонтировку церкви и пр. Настоятель же не в состоянии сделать, и не делает ничего ровно. Он только, при каждом удобном случае, выпивает, а этих случаев у нас, была бы охота только, можно отыскать каждый день, что старик и делает.

Приходы в двухштатных церквях разделяются между священниками, насколько возможно, поровну, по числу душ и дворов и по их состоятельности. По всем требоисправлениям и тот, и другой знают только свои части прихода; требоисправлений, поэтому бывает поровну. В храмовые праздники, в

Рождество, Крещение и Пасху, каждый священник со своим псаломщиком ходит, по своему приходу. Молодой священник ходит, зимой, по пояс в сугробах, на Пасху по колена в грязи, не оставит без посещения ни одного дома, — изматывает все свои силы; а старик бражничает и не пройдёт своего прихода и половины, не получит и доходу половины, противу молодого. Все доходы, потом, обоих священников кладутся в общую кружку и, при разделе их, настоятель-старик получает три части, а его помощник две. Если дело в копейках, то, конечно не стоит обращать внимания; а если в сотнях рублей? За какие блага, спрашивается, настоятель получит больше своего помощника и за какие провинности помощник батрачит на него? Настоятель получит 600 рублей, помощник его 400 рублей, псаломщики по 200 рублей, тогда как настоятель со своим псаломщиком не приобретут и 100 рублей. На такие случаи я могу даже указать. Могу указать, где помощник исправляет почти все требы и по приходу настоятеля. Такой раздел несправедлив и обиден для помощника, даже и в том случае, когда они оба исполняют дела свои, как следует, — и тогда, всё-таки, настоятель живёт трудом помощника. За что настоятель получает двумястами рублей больше, когда труды их были одинаковы? Горько бывает помощнику, особенно после праздничной ходьбы по дворам, где каждая копейка достаётся нам слишком дорого; но невыносимо бывает тяжело, когда помощник трудится до изнеможения, употребляет все усилия, чтобы добыть лишний рубль, а настоятель, в это время, пьянствует, не обойдёт и половины своего прихода, и в добавок, половину утаит и того, что добыто им. Бывают и такие случаи. Тут уже неизбежны вражда, ссора, укоризны, жалобы благочинному, доносы архиерею, — переписка, следствие и пр. и пр. Настоятели, в свою очередь, жалуются, что

помощники их не все доходы вносят в общую кружку и что делят их со своими псаломщиками отдельно. Кто прав и кто виноват из них, — это знают одни они да Бог; но каждому благочинному приходится разбирать ссоры между священниками при всяком приезде в двухштатное село. Разбираешь, а прихожане смеются, и в особенности вожаки раскольников, что попы подрались из-за блинов.

Враждующие священники, со враждою в душе, совершают богослужение; они же, враждующие между собою, должны говорить слово любви и мира своей пастве. И сами они не могут и не имеют права говорить другим о мире, враждуя сами, и слово их не может влиять на враждующих. Мне не раз приводилось слышать укоризны прихожан своим священникам на вражду их между собою.

И такое извращённое отношение к делу служения существует между нами, благодаря правительственному распоряжению о штатах!

Нельзя не удивляться, что во всём, что сделано в последнее время в организации духовенства: штатное число учеников в учебных заведениях, оставление церковей при одном дьячке, настоятельство и помощничество, сокращение приходов и пр., везде имелась в виду исключительно материальная сторона и не заметно ни одного распоряжения, которое способствовало бы религиозно-нравственному развитию народа или самого духовенства. Всё сделано как? Там убавить, тут прибавить: попов убавить, приходов прибавить; дьячков повыгнать, набрать богословов, из семинарий выгнать, — и пр. и пр. в этом роде...

За долговременную беспорочную службу, за особые труды и заслуги по церкви и приходу, дать старшинство и увеличить содержание, — было бы делом справедливым; но это только в

таком случае, когда увеличение содержания поступало бы со стороны, в виде казённого жалованья. Тут есть смысл. Но чтобы одному жить трудом другого, — этого мы не понимаем. Поэтому я нахожу справедливым, чтобы каждый священник со своим псаломщиком пользовались тем, что приобретут они.

XXX

Для надзора за порядком по церкви, — её прочностью, чистотой, благолепием, доходами и расходами, письмоводством, — поведением членов причтов, сношений духовенства с епархиальной властью и пр. существуют **благочинные**. Для этого каждый уезд и город разделяются на части или округа, церквей по 10–15, каждый такой округ имеет благочинного, который есть ближайший, непосредственный начальник духовенства.

Благочинные, хотя под разными названиями, существуют с давнего времени; но приносили ли они и могут ли приносить материальную или нравственную пользу церкви, духовенству, храмам и администрации?

Во священники поставляется, вообще, лицо, известное и испытанное епископом в чистоте веры его и нравственности. В наших дипломах, или ставленных грамотах, пишется: «...благочинного сего мужа N.N. всяким первее опасным истязанием прилежно испытавше, и достоверными свидетельствами, наипаче духовного его отца N.N. о нём уверившеся... посветили во иерея...» Стало быть, священник есть такое лицо, в котором епископ совершенно уверен, потому что больших испытаний делать уже невозможно; стало быть, ему можно доверить, что угодно и отпустить куда угодно. Так с миссионерами и поступают. Но на приходского священника епископ не полагается. Он не доверяет ни своему собственному испытанию, ни «достоверным свидетельствам, ни духовному отцу» и ни ему самому: отпустивши в приход, приставляет к нему дозорщика. Этот дозорщик, как Дамоклов меч, висит над его головой всю его жизнь: он следит за ним всюду и вмешивается во все мелочи его жизни, — безусловно во все, — не только служебные, но и домашние, и даже семейные. Он имеет право надзора во

всякое время дня и ночи. Не довольствуясь полугодичными донесениями и своими замечаниями в формулярных списках, дозорщик обязан доносить епископу обо всём, что найдёт, по своему мнению, стоящим того чтоб довести до сведения епископа; это есть агент покойного, царство ему небесное, III-го отделения! Такого строгого, такого постоянного, в таких мелочах жизни надзора нет нигде и ни за кем. Подобный надзор существует только у иезуитов и в некоторых местах Америки над каторжниками. Баллы в поведении у каторжников имеют, по крайней мере, смысл: хорошие баллы по поведению сокращают время каторги; а у нас и этого нет; иезуиты же, при общем друг за другом дозоре, известно, какой репутацией пользуются в мире. Коль скоро человек, «истязан», — испытан, как говорится, всесторонне и самим епископом, и людьми авторитетными; коль скоро ему вверена паства; дознано и удостоверено «достоверными свидетельствами», что он достоин быть руководителем веры и нравственности целого прихода, целых тысяч христиан; коль скоро ему поручен храм; коль скоро его нашли способным быть лицом самостоятельным, — то зачем ещё за ним дозорщик?! После такого «истязания» всякий дозорщик не должен иметь никакого значения. Это означает только круговое, и к себе и к другим, недоверие. После всех «истязаний» всё-таки бояться, что священник может сделаться безнравственным. При этом: как бы ни был человек благороден, с какими бы самопожертвованиями ни исполнял свои обязанности, каких бы наград он ни удостоился, — доверия от своего начальства он не заслужит никогда: дозорщик будет следить за ним весь его век, — будет следить, пока состоит он на службе, будет следить даже и тогда, когда он, за дряхлостью или болезнью, выйдет за штат и будет скитаться, бесприютный, где день, где ночь; лежи он десять лет разбитый

параличом, — дозорщик всё-таки будет следить за ним и доносить о его поведении, словом: дозорщик — это наша тень, до гробовой доски. Такое недоверие, такое неуважение к личности не может не быть оскорбительным. Я сам состою в должности этого дозорщика, — я сам благочинный и, как честный человек, говорю, что не то, чтоб видеть о себе аттестации в поведении другого лица, моего собрата, — а аттестовать других в их формулярах, — дело крайне неприятное. При прошлом обер-прокуроре Св. Синода было распоряжение от него даже такого рода, чтобы мы в формулярах духовенства обозначали: «**В какой мере** аттестуемое лицо употребляет хмельные напитки». Как понимать это: что мы должны считать умеренным и что неумеренным; где эта мера? Один, непьющий и слабосильный, при экстренном случае, выпьет рюмку одну, — и пьян; другой выдует штоф, — и ни почём. Надобно полагать, что благочинный, увидевши охмелевшего, должен аттестовать его употребляющим хмельные напитки «неумеренно». В формулярах гражданских чиновников нет графы об их поведении, нет и о винопитии; эти графы есть только у нас. Как будто одни мы на Руси пьяницы, как будто для нас одних существуют винокуренные заводы! Распоряжение бывшего обер-прокурора, как распоряжение оскорбительное для духовенства, я не исполнял и не исполняю до сих пор: об употреблении хмельных напитков я не упоминаю ни слова совсем. Означать умеренность и неумеренность... Но как смотреть на аттестацию благочинного тогда, если он сам не знает меры?!... И из нашего брата, благочинных, есть народ всякий.

Наблюдение за нравственностью наставника и блюстителя нравственности целых тысяч людей уменьшает значение его пастырского достоинства в глазах его паствы. Как, например, я доверю человеку на слово, хоть сто рублей, когда

хорошо знаю, что за ним наблюдают каждую минуту, чтоб он не проворовался, которому самому нет доверия от высшей его власти? Если за священником начальство смотрит каждый его шаг, то, естественно, что полного доверия и уважения к нему и быть не может.

Правда, что священники не ангелы, и не редко, волею и неволею, они уклоняются от пути, по которому они должны идти; но ведь и дозорщики-то не архангелы, они те же люди. И действительно: иной из нас такой взяточник, такой кутила, такой непорядочный, что любой пономарь его честнее. Нам хорошо известно как иные отцы благочинные кутят вместе со своими подчинёнными.

Но если тяжело переносить честному труженнику-священнику недоверие к тебе начальства и надзор благочинного, человека благородного, то каково это, когда дозорщик его человек непорядочный?! Каково принять его в свой дом; поить его, когда не пьёшь сам; ухаживать за ним, а иногда и укладывать; давать ему жалованье и прибавлять небольшую толику, в виде особенного к нему расположения; являться к нему в дом, по первому его требованию; исполнять все его распоряжения; знать, что он будет аттестовать тебя пред начальством в твоём поведении и даже семейной жизни; что он может наклеветать на тебя, что и сколько ему угодно во всякое время и сгубить тебя?!... Таким образом, надзор за поведением делает нас безличными, уменьшает наше достоинство в наших собственных глазах и в глазах прихожан, а, под час, и начальства.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы благочинные были безусловно для духовенства в тягость. В них есть и хорошие стороны; они приносят много, иногда даже очень много, и пользы духовенству: они помогают при составлении отчётности консистории; помогают отписываться, когда консистория

закидывает вопросами; разбирают споры между духовенством, решают их недоумения, удерживают склонных к ссорам от кляуз, и, вообще, и правых и виноватых стараются не допускать до консисторских суда и... разорения. Если бы не было благочинных, то епархиальная власть не знала бы о поведении членов причтов? Но из благочиннических аттестаций она и теперь правды знает не много. В прежнее время, когда благочинные назначались епархиальной властью, они были тяжёлым бременем для духовенства: были заносчивы, горды, взяточниками, придирались к каждому слову и делу, мстили за каждое мнимое к себе неуважение, словом: они были отпечатками старых консисторий своих, и многие, поэтому, из духовенства испытали на себе тяжёлую руку епархиальной власти. В настоящее же время, когда благочинные стали избираться самим духовенством, когда и сама администрация стала либеральнее, — они потворствуют духовенству; заискивают у него, чтоб быть избираемыми и не доводят до сведения епархиальной власти и о таких пороках, которые нетерпимы. Таким образом, при двух крайностях, епархиальная власть не имела точных сведений о духовенстве прежде, не имеет их и теперь.

Оставить духовенство совсем без надзора нельзя, благочинных духовенство боится, а это удерживает его от пьянства и других безобразий?

Нас боятся; многие удерживаются от открытого пьянства, именно только потому, чтобы не узнал благочинный. Это совершенная правда. Но так говорили и помещики при крепостном их праве! Говорили и помещики, когда-то, что мужику необходимы и няньки и палки, но когда не стало этих неразлучных пестунов, няньки и палки, то если он не сделался лучше, то не сделался хуже. Страх есть всегда плохой исправи-

тель пороков. Многолетние, вековые опыты доказали уже, что наш бдительный надзор, наши аттестации в формулярах не принесли нравственности ни малейшей пользы: пьяница также пьёт, как ты его ни аттестуй. Призовёшь иного слабого волею, попросишь его бросить пьянство, побранишь, пригрозишь; он расплатится, будет просить прощения, перекрестится и даст клятву, что он пить не будет во весь век. Но потом узнаешь, что он воздерживался всего или какой-нибудь месяц, а то так от меня же прямо заехал по дороге в первый кабаk и напился допьяна. А между тем, без надзора благочинного, без формулярных отметок в поведении, человек, почувствовавши свободу, почувствовавши, что он взрослый, совершенный человек, что над ним нет дозорщика, нет няньки и может сказать себе: homo sum, — по сознанию собственного своего человеческого достоинства, может быть, стал бы вести себя строже. Порочная же жизнь всплывёт сама собою, и без благочинных. Скольких расходов, какой возни избавилось бы духовенство от закрытия этой должности и как возвысилось бы оно в своём собственном мнении, как нравственно возвысилась бы и администрация духовного ведомства, уничтоживши у себя III отделение!

Благочинные делают различные дознания, производят следствия? Но это может делать, и с большим удобством, ближайший к месту следствия священник. Так, большей частью, теперь и делается.

Благочинные поверяют церковные документы и своим подписом утверждают верность их? Но, по представлении их в консисторию, они снова поверяются там; значит, что проверке благочинных консистория не даёт никакого значения, а следовательно нет надобности и проверять их им.

Через благочинных делаются те или другие распоряжения? Но циркулярные распоряжения и теперь печатаются в местных епархиальных ведомостях, а частные могли бы делаться непосредственно причту, что тем более это теперь возможно, при существовании всюду земской почты. Прямое и непосредственное сношение с духовенством сокращало бы и переписку, сокращало бы и время в переписках. Теперь дело это ведётся так: причт, например, желал бы, чтобы церковные квартиры его отапливались на церковные средства; для этого просит благочинного ходатайствовать пред консисторией разрешения на известную сумму. Благочинный доносит консистории, консистория предписывает благочинному: предписать причту спросить прихожан, не согласятся ли давать отопление из своих дач. Благочинный сообщает о распоряжении консистории причту. Причт доносит благочинному, что прихожане в отоплении квартир его отказывают; благочинный доносит об этом консистории. Консистория предписывает благочинному: предписать причту усугубить убеждения прихожанам в отоплении церковных домов. Причт усугубляет убеждения и потом доносит благочинному, что убеждения не подействовали: благочинный доносит консистории. Консистория пишет в полицейское управление, то — становому приставу, пристав, при случае, собирает человек десяток крестьян и спрашивает их, потом берёт от них отзыв и отсылает в полицейское управление, то отсылает в консисторию. Консистория требует от благочинного сведений: сколько церковь имела доходу и расходу в течении пяти лет и не имеет ли церковь особенных нужд? Благочинный требует от церкви приходо-расходные книги, делает справку и доносит консистории. Тогда-то уж только консистория разрешает или отказывает! Если бы духовенство не отапливалось во время переписки

своими средствами и стало бы дожидаться разрешений консистории, то не только помёрзло бы оно само, но и поморозило бы всех клопов, если они есть в его квартирах. Что тут благочинный? Не более как передаточная станция, а между тем в этих станциях время идёт. Не ближе ли к делу вести переписку с самим причтом непосредственно? Стало быть: благочинные и здесь не нужны.

Благочинные, по истечение года, составляют денежные, метрические и исповедные отчёты по своим округам, составляя их по церковным документам? Но эти документы они, вместе со своими ведомостями, представляют консисториям. По благочинническим ведомостям и подлинникам консистории составляют общие ведомости. Не ближе ли было бы к делу, если бы консистории составляли свои ведомости по подлинникам? Духовенство избавилось бы этим способом от лишних расходов и поездок к благочинному, пересылая всё по почте из уездного города. В случаях каких-либо недоумений, где теперь благочинные, действительно, помогают, они могли бы советоваться с соседями-священниками, из которых многие знают дело не хуже любого благочинного.

Если благочинные нужны для разбора мелочных дел и умиротворения членов причтов, то, кажется, можно бы иметь одно лицо на уезд, с правами мировых судей, но не больше.

Благочинные, обязательно два раза в год, ревизуют церкви и доносят консистории о том, что найдено ими? Никто и никогда не ревизовал. Объезд их не более, как сбор денег, следующих ко взносу по разным частям и, главное, своего жалованья и других подачек, подносимых ему, в виде особого к нему расположения. Но деньги могли бы отсылаться по почте, где же нет её, то нарочито посланный в город становил-

ся бы много дешевле того, что стоит приезд благочинного, или приезд к нему.

XXXI

Приходские церкви наши имеют доходы от продажи восковых свечей, от кошелькового сбора, от частных пожертвований и, в весьма немногих местах, от оброчных статей. На все эти средства церковь содержится во всех своих частях: ремонтируется самое здание, покупается ризница, книги и пр. и пр. Расходу требуется, иногда, столько, что средств её недостаёт на покрытие самых необходимых нужд её. Но, кроме расходов, так сказать, внутренних, она имеет весьма значительные расходы на сторону: 25% по распоряжению св. Синода; на содержание духовных училищ и устройство (в Саратовской губернии) общежитий при них 17½%; на общественную больницу (земскую) 2%; на содержание миссионеров: а) между язычниками империи, б) на Кавказе и в) местных и пр. и пр. Для церкви, особенно бедной, крайне тяжелы все эти налоги. Священники и церковные старосты употребляют все усилия и к увеличению доходов церкви, и к сокращению расходов её.

От церкви со всех сторон требуют отделения её доходов, — отделения её средств к собственному её существованию, и отделения весьма значительного; но никто, вероятно, не подумал: не провалилась ли у самой церкви крыша, не разваливается ли она сама? На состояние самой церкви не обращается внимания, — и церковь сносит. Все, вероятно, полагают, что церкви имеют доходы неистощимые и настолько значительные, что могут отделять от себя на все чужие нужды. Но никто и никогда не потрудился спросить нас — сельских священников и благочинных: каковы доходы сельских церквей? Никто из городских и понятия не имеет о холоде; но мы, дающие другим отопление, мы в наших церквях буквально мёрзнем от неимения средств к отоплению, не говоря уже о

других нуждах, которых никто не поймёт, если б мы и сказали. Мне, как благочинному, не раз привозили от некоторых церквей, при годичных отчётах, рубля по два — по три ржавленными грошами. — Зачем вы привезли это, спрашиваешь священника и церковного старосту?

— «Всё, что было у нас, отвечают мне, мы привезли вам; смотрите по ведомостям, — у нас осталось 20 копеек и 10 фунтов свеч на расторговлю». Не редкость совсем, если в церкви имеется только две священнические ризы.

«Преобразованы» училища; но при этом, мало того, что даны программы, назначено число предметов и преподавателей, — преподавателям назначено и количество жалованья; но денег не отпущено. Высшая власть средствами церквей и нашими карманами распорядилась по своему усмотрению. Мало этого: являются уполномоченные на съезд; у некоторых из них дети обучаются в этих же училищах, наставники знают это и подают заявление о прибавке им жалованья или единовременных денежных наград. Всем из уполномоченных памятен случай, как был исключён сын священника Агринского за неприятное столкновение отца с одним из наставников семинарии, явившимся на епархиальный съезд за прибавкою жалованья! Боясь повторения подобного случая, уполномоченные, скрепя сердце, прибавляют жалованье или дают единовременную награду.

Потребовалась в училище новая постройка, экстренная ремонтровка и т. под., уполномоченные нужную сумму разделяют на благочиннические округа; округа разделяют по доходности церквей. Или просто: 10% с доходов такого-то года. В какой церкви, по приходным книгам, значится больше дохода, на ту церковь налагается, конечно, больше и взноса, предполагая, что эта церковь состоятельнее. Такой порядок

дел вынуждает духовенство не все поступающие в церковь доходы вносить в приходные книги. Эти суммы слывут под названием «безгласной суммы». Но не везде, однако ж, не все суммы вносятся и не везде имеются безгласные суммы. О существовании их можно только предполагать, но доказать невозможно.

Куда ж деваются эти деньги? Представляется надобность купить что-нибудь: подсвечник и т. под., покупается и пишется: «Пожертвован неизвестным подсвечник». Собирается безгласной суммы достаточное количество; священник имеет в виду устроить новый иконостас, он и пишет на приход каждый месяц: «Собрано по приходу или пожертвовано неизвестным на устройство нового иконостаса 25–50 рублей» и вносит их в банк. Такая сумма будет специальною, от неё нельзя уже взять ни на училище и никуда на сторону. Собирается достаточная сумма, священник просит разрешения устроить новый иконостас, указывает на свои специальные средства, и консистория разрешает без всяких проволочек.

Все церковные документы пишутся на печатных бланках, бланки высылаются из консисторий, по 3 коп. за лист; а незадолго до этого они были по 3½ коп., между тем, как бланки для гражданских присутственных мест в частных типографиях печатаются по полукопейке и с большим количеством граф и букв. Из консисторий же церкви получают и книги для записки прихода, расхода и брачных обысков. За книгу листиков в 20 консистории берут копеек 90, 1 рубль и более; тогда как, при собственном заготовлении, она стоила бы не более 25–30 копеек. Ныне уже не высылаются, но высылались очень недавно бланки никому и никогда ненужные, особенно, по так называемому прокурорскому отчёту. Из них есть такого рода: сколько при церкви больниц, сколько монастырей и т. под.

Такого рода сведения требуются от благочинного бланках на десяти, и ему нужно десять бланков, — по всем родам сведений по одному бланку в год. Но консистории высылали, бывало, по 50–70 на каждую церковь, и за каждый бланк по 3 копейки. Пришлёт консистория тюк, рублей на 50, хоть волком вой с ним: священники не берут, а консистория требует деньги «полностью». Насилу упросишь священников, насилу навяжешь, — и вышлешь деньги «полностью». Консистории, конечно, есть расчёт, если в губернии имеется до 700 церквей; но церквам, которые считают капиталы свои ржавленными грошами, не хотелось бы делать попусту и двухрублёвого расхода. Доносишь консистории, что бланки не нужны, что их никто не берёт, — консистория не отвечает; но, месяца через три, предписывает представить деньги «полностью». Случалось и так: высылаются какие-нибудь книги с предписанием: «Раздать по вашему усмотрению». Опять книг никто не берёт, никому они не нужны, но продать нужно; ну, и начинаешь расхваливать, как торговка. При этом бывало и так, получаешь книги, в указе значится 10 экземпляров, а получаешь только 8. Сколько угодно пиши и требуй; вам не ответят, а деньги потребуют за 10. Ныне этого уже ничего нет, хотя было всё это очень, очень недавно.

При ремонтных работах церквей, церковных домов, устройстве новых иконостасов и т. под. причт представляет благочинному смету; благочинный утверждает; причт подаёт её при прошении преосвященному и просит разрешения, как на самую работу, так на нужную для неё сумму, сбережённую церковью. Консистория предписывает благочинному наблюдать за прочностью работ, за точным выполнением сметы и, по окончании работ, представить подробный отчёт; но того,

каких именно, в действительности, церковь требует исправлений, столько ли нужно материалу и стоит ли означенная работа тех денег, которые положены в смете, и даже, нужно ли производить означенную работу, не нужно ли сократить её или расширить, — об этом консистории не имеют и понятия. При таких порядках можно испросить разрешения суммы, и «Бога не боясь и человек не срамляясь», построить себе домик, как делается это, в частую, в гражданском ведомстве. Представить отчёт, — и консистория будет довольна. Ей нужно только, чтоб было спрошено разрешение и израсходованная сумма не превышала сметы. Если же сметной суммы окажется недостаточно, то консистория разрешит и дополнительную. Ни нужд церкви, ни работ она не видит. Но если б даже и видела, то от этого церкви ни лучше, ни хуже не было бы, потому что все мы: местный священник, благочинный, член консистории и преосвященный — вышли из одних технических и инженерных институтов, — все мы не знаем ровно ничего по этой части. При сметах наших бывает всегда так: что подрядчик скажет, и за сколько с ним священник порядится, то в смету и положит: скажет подрядчик, что для починки крыши нужно 100 пудов железа, окраски — 10 пудов масла и 4 пуда медянки и пр. и за работу 150 рублей, так священник внесёт и в смету, так утвердит и благочинный, так разрешит и преосвященный, в этой сумме потребует отчёта и консистория. Напиши священник, что на ту же самую работу нужно и материалу и рабочим вдвое больше, — преосвященный утвердит и это; напиши, что нужно вчетверо меньше, — утвердит и это. Словом: пиши, что угодно, — утверждено будет всё одинаково. Но за то после консистория строго проследит отчёт, проверит со сметой, и в случае превышения расхода противу сметы, задаст священнику такого жару, что не открестись, не отмолишься никакими способами, — и

штраф отдашь на бедное духовенство, и, пожалуй, прибавишь, под час, при этом небольшую толику и не на бедное.

Консистории поручают надзор за работами и потом свідетельство работ благочинным. Но благочинные в работах ничего не смыслят сами; уследить, действительно ли вышло материалу столько, что внесено в смету, — для этого нужно быть при работах и день, и ночь неотлучно; это, разумеется, невозможно. Вызывать инженеров, — не по средствам церкви. Мастеровые иногда ошибаются сами, а иногда для того, чтобы втянуть в поправку, показывают, при осмотре ветхостей, нарочито материалу меньше того, что требуется на самом деле. От этого не редко случается то, что материала недостаёт в середине самых работ. Требовать разрешения дополнительной сметы во время самых работ, — дело немислимое, по той причине, что его можно дожидаться только к следующему лету; покупать материал выше сметы, — значит заведомо напрашиваться на штраф; оставить работу до следующего лета, положим, хоть бы полуштукатуренную церковь, с подмостками и лесами, — дело хуже штрафа. В таких обстоятельствах и выручает безгласная сумма. Священник покупает материал, производит работу, отчёт же отдаёт в той только сумме, какая означена в смете. Дело оканчивается тем, что и консистория покойна, и работа произведена, и священник цел. Значит: все эти сметы, разрешения и свидетельствования не имеют ровно никакого смысла, и служат только к обременению духовенства и унижению его. Отдавать работы на материалах самих подрядчиков духовенство не находит выгодным, имея всегда пред глазами дурные казённые постройки, производимые под наблюдением архитекторов.

Наше мнение по этому делу таково: священнику вверен приход, вверен и храм его. И по праву, и в действительности

он есть попечитель храма в полном смысле этого слова; у него есть помощник, — церковный староста (в сёлах церковные старосты, лично, не имеют никакого значения: он не только не приобретёт сам ничего, но, в большинстве случаев, за ним самим нужен надзор и надзор). Общими силами, по грошам, собирают они деньги; общими силами охраняют церковь от излишних расходов; сама церковь принадлежит приходу. Никто, кроме прихожан, не построит церкви и не исправит её ветхостей. Следовательно, и нужно дать полную свободу действий в её ремонтных работах прихожанам же и во главе их, — местному священнику и доверенному от прихожан, — церковному старосте. Посторонние лица, кто б они ни были, и сколько б ни вмешивались в дела церкви, никогда не могут принести ей ни малейшей пользы. Все посторонние радители могут быть вполне уверенными, что более приходского священника им не порадеть. У всех на глазах: где священник деятелен и любит благолепие храма, — на церковь всегда приятно взглянуть, хотя приход и не отличается достаточностью; где же священник относится к ней небрежно — церковь всегда заброшена, хотя приход и достаточный; не помогут тут и консисторские радения. Многолетние опыты доказали, что ни благочинный и ни консистория не приносили, не приносят и не будут приносить, и не могут приносить ни малейшей пользы, сколько б они ни высказывали своей заботы. Благочинный ещё может, иногда, собрать прихожан и повлиять на них в исправлении ветхостей церкви; может повлиять и при подряде на работы и сбавить цены, но консистории сделать в пользу церкви не могут ровно ничего. Священникам и церковным старостам консистория не доверяет; но, при этом, она не обращает внимания на то, что ими же собраны и деньги, в которых она не доверяет им. Деньги могли быть собраны,

могли быть и не собраны и коль скоро собраны, то по одному уже этому названные лица имеют право на полное доверие в расходе. Такое недоверие не может не быть обидным. Да, не в обиду будь сказано, не консисториям, рассылающим по нашим церквам ненужные бланки и книги, заботиться о наших церквах!...

Итак, повторяю, я нахожу справедливым дать полную свободу прихожанам, с приходским священником во главе, ремонтировать свои церкви, как им угодно; консисториям же, в известное время, сообщать к сведению. При устройстве новых иконостасов, проект иконостаса должен быть предварительно представлен епископу на рассмотрение, и именно в тех видах, чтобы сохранить узаконенную временем их форму.

XXXII

Священник есть учитель веры и нравственности народа, — лицо, испытанное епископом, лицо, которое он ставит в иерея, «прилежно истязавше». В каждом священнике епископ может быть уверенным, и действительно на каждого русского православного священника можно вполне надеяться, что он не будет проповедывать народу ни ереси, ни безнравственности и ничего, возмущающего спокойствие государства. Можно вполне надеяться, что поучения его будут всегда согласны со словом Божиим. Но, однако ж, как к поведению его, так и к слову его приставляется дозорщик, называемый цензором. Если священник испытан и не подал повода подозревать его в нечистоте его веры, то зачем же дозорщик? Да он и смотрит не за чистотою проповедуемых им христианских истин; он смотрит исключительно за тем, чтобы слово его было написано красно, со всеми правилами риторики. Цензор есть, ни более ни менее, как школьный учитель, со всеми приёмами школьного учителя, а священник, и в глазах своего начальства и цензора, есть школьник. Цензор не дозволит ничего пастырю церкви, как мальчишке, сказать: 1) резко обличающего пороки общества и 2) если слово его не отделано по всем правилам искусства. Иной цензор пачкает тетрадки священников, как у последнего мальчишки, забывая и о своём, и о пастырском достоинстве священника. И почему? Потому только, что ему дано право выражать чужие мысли на свой лад, что ему кажется, что известная мысль, была бы выражена лучше так, как представляется это ему, без всякого, конечно, на то доказательного основания. При этом и выходят иногда презабавные вещи, на которые следовало бы обижаться, если бы они не были смешны. Однажды я подал свою проповедь цензору, город-

скому священнику, ныне протоиерею города Б.Л. Он измазал всю тетрадку так, что и взглянуть страшно. На другой год мне, случайно, назначили проповедь на тот же самый день. Я переписал так, как была перемазана в прошлом году, и подал тому же Л. Но он исчеркал мою тетрадку ещё хуже, чем в прошлом году, — не оставил в ней живого слова! То, что написал он сам, в прошлом году, теперь зачеркнул и против своих же слов наставил, по полям, заметок: «нескладно», «неясно», «повторение» и т. под. Вообще, можно бы только смеяться над ребячеством наших цензоров, всех без исключения, но дело в том, что они подают о своих замечаниях преосвященным, и этим можно навлечь неприятное о себе его мнение. Это и заставляет некоторых священников сидеть целые месяцы над каким-нибудь одним листом, много двумя. Не подумайте, однако же, что цензора наши какие-нибудь Массильоны. Ничуть не бывало, это народ, учившийся на те же медные гроши, как и мы грешные. В одно время в нашем городе был цензором некто А.; он теперь кандидатом, по крайней мере в его собственном воображении, на архиерея; он свои очередные проповеди или списывал с печатных целиком, или сшивал из разного тряпья. Но за то пачкать у других куда был горазд! Цензора, за немногими исключениями, в самом деле считают себя каким-то особым народом и ужасно грубо обращаются не только с молодыми священниками, но даже с самыми почтенными старцами, которым школьничество совсем уже не по душевному их состоянию. А так как без штрафов мы жить не можем, и штраф у нас в каждом деле на первом плане, то и здесь обойтись без него было бы обидно: «за нерадиво составленное очередное слово» полагается штраф 3–4 рубля. Точно также налагается штраф за неподачу проповеди совсем. Некоторые священники и предпочитают отдать 3 рубля прямо без

хлопот, — тем более, что не многие из цензоров отказываются от рублёвки или фунта чаю при приёме проповеди, чтобы не мазать.

Если цензора наши существуют для перефразировки, пачканья и глумления, то существование их слишком мелко и унизительно не только для пастыря, но и для них самих. Если необходимо требуется, чтобы учение о вере и нравственности излагаемо было красно, в чём однако ж ни истины веры и ни истины нравственности не нуждаются, то желающего поступить во священники нужно приучать к этому в семинарии, но не тогда уже, когда он сделался учителем народа. Притом: в городах, при архиерейском служении, поучения говорятя лучшими, по уменью в обработке слова, проповедниками; но обратите внимание на присутствующих в храме: как только вынесли аналой, ещё не известно кто будет говорить и о чём он будет говорить, но вынесли, — и народ бросился из церкви во все двери! Вот ваши, проповедник, и труды! Вас наградит своим присутствием только самая небольшая частица, и то — оставшаяся в храме не для вас, а для принятия благословения от епископа, при выходе его из церкви. Для деревень же городское слово нейдёт уже совсем. У нас чем проще, удобопонятнее и чем предмет слова ближе к жизни, тем лучше. А между тем каждый сельский священник должен подать три проповеди в год на просмотр благочинному. Этим путём и сельских священников заставляют корпеть над обработкою поучений.

Наставники наших семинарий, как горожане, совсем не знают нашего простого, деревенского народа, не знают его потребностей, не знают его языка и понимания; не знают того, что с крестьянами нужно говорить не вычурно, — по-городски, а просто, ясно и удобопонятно, как с ребёнком, — тем языком,

которым говорит он. Нельзя употреблять оборотов речи и слов, в которых вы заранее не уверены, что вас поймут. Иначе вас не поймут, и слова ваши перетолкуют по-своему. Не зная и не обращая внимания на младенческое состояние народа, наставники, приготовляя учителей для народа, приучают их составлять поучения самым напыщенным слогом. И был однажды такой случай: бывши в богословском классе, я приехал, однажды, на каникулы к родственникам своим в Самарскую губернию, в село Глушицу. В день коронации Государя Императора местный священник о. Михаил Церебровский стал говорить проповедь и беспрестанно восклицал «Наш монарх! Наш помазанник, монарх!»... После обедни выхожу я из церкви, два знакомых крестьянина подходят ко мне и спрашивают: «О каком это батюшка говорил помазанном монахе?» Значит, что бывшие в церкви из напыщенной проповеди не поняли ни словинушка! Скажи священник, вместо: «Монарх» — «Государь Император», — это слово понял бы всякий. Тут виноваты и семинария, и цензор.

Если цензоры нужны для того, чтоб мы не говорили ничего против веры, нравственности и правительства, то кто за нами следит, и кто уследит, когда мы говорим с народом «благовременне и безвременне»?! Мы имеем тысячи случаев наговорить народу, и в храмах и наедине, что нам угодно, и мы говорим обо всём, что находим нужным говорить, без всякой цензуры и дозора. Если же бы кто захотел говорить что-нибудь противное своему долгу, то, наверное, он не настолько туп, чтобы говорить это в проповеди, писанной по закону, на виду у начальства. К чему же цензор над тремя проповедями в году, если без него мы имеем право говорить их сотни?! Если духовное начальство хочет заставить священников этим способом написать поучения, и цензор есть контролёр, то оно должно

знать, что священник, если не написать, то списать три проповеди в год может всякий. Стало быть и здесь цель не достигается.

Вместо того, чтобы гоняться за фразёрством, я нахожу, что полезнее было бы, чтобы воспитанники семинарий приучались объяснять известные места св. писания и говорить поучения без всяких подготовок, «экспромтом». Пусть изложения мыслей будут непоследовательны, пусть будет и язык необработан; но чтоб говорилось ясно и удобопонятно. Такие поучения могли бы быть произносимы ими и при богослужениях. Простота слова не уронит достоинства св. веры и не унижит торжества богослужения. Это главное. Второе: потребность в цензорах пала бы сама собою, и в-третьих: у консисторий одним поводом к штрафам меньше.

XXXIII

Духовенство несёт и **подводные повинности**. По делам службы оно ездит к благочинному, в консисторию, в земские собрания, **на собственный счёт**; даёт подводы благочинным и следователям, хотя бы они ехали через сёла духовенства совсем по чужим делам. Иногда кому-нибудь из священников поручается произвести следствие о времени рождения кого-нибудь из крестьян, села за четыре от следователя, — духовенство всех сёл, лежащих по пути, обязано давать ему подводы туда и обратно. В течение года приходится давать подвод, иногда, не мало. Бывали и такие случаи: по одному известному нам делу, однажды, назначено было произвести следствие над протоиереем города Балашева Цыпровским члену консистории, протоиерею Крылову. Город Балашев от консистории в 240 верстах, моё селение в 45 верстах. По дороге в Балашев Крылов заехал ко мне. Я дал ему до ближайшего села тройку лошадей; ему, в знак моего особенного к нему уважения, как начальнику моему — члену консистории — полуимпериал и дьячку его, состоявшему при нём в качестве писца и лакея, рублёвку, — и мы распрощались. Через неделю мне пришлось быть в слободе Островах, верстах в 50-ти от города Балашева, совершенно в стороне, тоже у благочинного Н.А.Цветкова. Крылов при мне приехал туда. Он, значит, целую неделю колесил по отдалённым сёлам: был в Рудне и в Красном Яру (верстах в 80-ти в сторону), потом задел не только камышинский, но и царицынский уезды (вёрст 200 в сторону). Он сделал вёрст 500, если не больше, околесицы. За чем же это? Затем, что много священников и трусливее, и податливее меня. Мне известно, что он из Балашева ездил домой, не окончивши дела, два раза, и каждый раз, туда и обратно, колесил по самым

отдалённым и более богатым сёлам. Очень интересно было бы знать: чего стоит духовенству следствие над Цыпровским?...

Случалось, что консистории, кому захотят удружить, посылают к благочинным нарочных с предписанием немедленно исполнить какое-нибудь дело. Тут отцам благочинным приходилось поплатиться за весь путь, туда и обратно, уже не мало. Не подумайте, чтобы требуемые дела были срочные или особенной важности. Ничуть не бывало, пустяки. Это, просто, сюрприз, — в виде особого благоволения.

Поездки следователей и благочинных составляют для духовенства расход довольно значительный, особенно если следователем не благочинный и не имеющий от земской управы открытого листа брать лошадей «за прогоны». Тогда ямщики берут копеек по 5 и даже по 10 за лошадь с версты. За такие прогоны мне приводилось ездить не раз. Иногда есть и подорожная «за прогоны», но ямщики ждут кого-нибудь из чиновников; тогда не повезут вас ни за какие прогоны, особенно если чиновник есть земец. В таком случае духовенство везёт на своих лошадях, если держит их. Но случается и так: лошади и есть, да кучера нет, — опять беда. Однажды я летом, в рабочую пору, приехал в большое малороссийское село Р. моего округа и кроме священника никого не было дома из мужчин во всём селении: причт в поле, священников работник в поле, мужики все в поле, и дома одни бабы. Лошади у священника были дома, а мужика нигде, ни одного. Мы с батюшкой заложили тройку лошадей и усадили на козла хохлушку; экипаж у меня был крытый, я закрылся кругом, присел к уголку, чтобы никто не видел, кто едет, — и валяй! Но с дьячками на козлах мне приходилось ездить не раз. Это ещё хуже, чем с хохлушкой: тут уж, как ни прячься, всякий видит,

что едет начальство и видит, какого сорту это начальство. Это дело, — совсем дрянь. Срамота, — глаза бы не глядели!

Несёт духовенство и **денежные повинности**: оно даёт жалованье благочинным, на училищные и общеeparхиальные съезды, письмоводителям попечительства о бедном духовенстве, даёт на содержание духовных мужских и женских училищ, миссионеров епархии. Это платёж определённый и обязательный, но кроме их есть, которые хотя считаются и необязательными, но от которых духовенство отказываться не может, например, на бедное духовенство, на постройку где-нибудь, вне Руси, храма; на бедных учеников, отправляющихся в академию и т. под. В подобных случаях не приказывают жертвовать непременно, но только приказывают благочинному доводить до сведения власти, кто и сколько пожертвует. При таких отеческих предложениях благочинные своё дело знают и, чтобы подслужиться, вынудят вас дать, хотя бы вы давать и не желали. Так как число членов причтов при церквях не одинаково, — при одних церквях имеется один настоятель и один псаломщик; при других — настоятель и два псаломщика, а налоги делаются, вообще, на причт, — то и платёж не одинаковый. В моём округе **обязательный** налог падает по 15 рублей на каждого члена причтов в год; по точному же расчёту, как идёт это в действительности, священник платит от 18 рублей до 27 рублей 30 копеек, псаломщик — от 6 рублей до 9 рублей 10 копеек в год. Поэтому священник несёт налогу или платит податей из своего жалованья за два месяца и девять с половиною дней, а злосчастный пономарь за четыре месяца и двадцать дней — ежегодно. Отдав своё пятимесячное жалованье на жалованье другим, сам он, с женой и детьми, должен жить на 2 рубля 66 копеек целых шесть месяцев. Ему приходится существовать на 44 копейки в месяц. По нынеш-

ним ценам на хлеб, ту сумму, которой проходится довольствоваться пономарю, нужно увеличить, по крайней мере, в четыре раза, чтобы прокормить одну простую дворную собаку. Но, к крайней скорби, злосчастному пономарю, — единственному чтецу и певцу при нашем богослужении, — не достаётся и этих 44 копеек. Они уйдут все целиком на наём подвод должностным лицам и на добровольные пожертвования. А если, на его истинную беду, он сделает ошибку при метрической записи, то заденет частицу жалования, вроде месячного, в уплату штрафа и из второго полугодия.

XXXIV

Наше жалованье, мало того, что такого нет нигде, но оно и выдаётся нам так, как нигде. Мы получаем его из казначейства таким порядком: благочинный должен представить в консисторию, к 1 июля и 1 декабря, ведомости о том, при какой церкви сколько находилось наличных членов причта в течение полугода сколько каждый член состоял на службе в это время, и сколько кто должен получить жалованья. Консистория строго наблюдает, чтобы ведомости представляемы были в определённые сроки. Промедли благочинный два-три дня, и — консистория сделает самое строгое внушение с предупреждением, что если такая медленность окажется и на будущее время, то благочинный будет подвернуть строгому взысканию. Тут напоминается уже, значит, о неразлучном спутнике нашей службы — штрафе. Проходит июль, — духовенство начинает толковать о жалованье. Каждый, при встрече в другом, первым словом, спрашивает: «Что, жалованье выдают?» — «Прыток больно! Разве можно теперь: июль ещё не прошёл». Прошёл и июль, наступил и август, — духовенство начинает копошиться: нужно отправлять детей в училища, шить им рубашонки, шубёнки и пр., доходов летом нет совсем, — эх, как бы жалованье выдали теперь, толкуют все! — «Что, жалованье получают?» — «Не слышно!» — «Эко горе! Детей скоро нужно везти, а денег нет ни копейки!» Это общий повсюдный ропот. Везут детей, идут в казначейство один, другой, десятый, тридцатый... Жалованья не выдают. Казначей говорит, что не получено из консистории расписания. Попы и дьячки надоели уже и казначею и он велел уже сторожу не допускать к нему. Прошёл и август, а жалованья нет да и нет. Духовенство уехало по

домам. Пришёл сентябрь, духовенство опять потянулось за жалованьем, но та же история: расписания нет.

Являюсь, однажды, в сентябре я. Вхожу, ни слова не говорю никому и никого не спрашиваю, но сторож-солдат встаёт и говорит:

— Жалованье ещё не выдаётся, из консистории не получено расписания.

— Тебе казначей велел говорить это всем попам?

— Никак нет-с!

— Фу, какая гадость! Когда же это, наконец? — пробормотал я себе.

— Не могём знать-с! Надо подождать!

Выхожу, в дверях попадается один дьякон. Идите, говорю, назад, жалованье ещё не выдаётся. Выходим на улицу, встречается дьячок.

— Что, жалованье выдают?

— Выдают, — говорит мой спутник, и хлопнул себя по карману. Дьячок сделал было шаг вперёд, но дьякон: «Оборачивай оглобля-ми-то назад! Ступай-ко лучше сперва выпей на свои, а казённое- то оставь до того года».

— Разве ещё не выдают? — И при этом, выразительным русским словом, хватил самое задушевное благожелание консистории. — Тут, отец дьякон, не до выпивки! У сына в училище тулупишка нет. Пойду в консисторию справляться, казначей врёт.

На дороге попадается мне один знакомый священник.

— Завтра, — говорит, — будут выдавать жалованье! Ныне из консистории пошлют в казначейство расписание. Я сейчас иду из консистории, там набралось нашей братии человек

двадцать. Дело было за казначеем; ведомость давно написана, только подать бы в присутствие подписать. Мы приступили, просили-просили казначея, а он сидит себе и только отгрызается: «Нам не до вас, у нас своих дел по горло!» Мы и сговорились дать ему: обступили и начали просить его, сперва так, без денег, а он: «Вы, отцы, дома хлеб-то даровой едите, у вас ничто не куплено, только деньги откладываете себе; а тут купи всякую луковицу. Так надо честь знать: вы едите, и другие, тоже, есть хотят». Мы ему и ну совать, кто полтинник, кто двугривенный, а дьячок N сунул 5 копеек. Сейчас же засунул деньги в стол, вынул из-под бумаг дело и отнёс в присутствие. «Завтра, говорит, можно будет получать». Не дай мы ему, окаянному, опять пришлось бы ехать домой с пустыми руками. Я уже и так приезжаю в третий раз. Денёк теперь нужно подождать здесь; хоть и накладно, да всё не то, что из дому ехать.

На другой день являемся человек тридцать, или около этого, в казначейство. Казначей Смирнов не задерживал нас: молча он выдавал жалованье всем тотчас, но за то всем не додавал по рублю. Следует получить, например, на весь причт 126 рублей 42 копейки. Смирнов велит расписаться в получении денег и прехладнокровно подкладывает 125 рублей 42 копейки.

— Здесь рубля недостаёт!

— Достаёт! Отойдите, дайте место другому!

И это скажет он самым покойным тоном, не глядя на вас. Можете говорить ему сколько угодно, можете горячиться, можете пригрозить жалобой — это всё равно. Смирнов, как камень, сидит неподвижно и отсчитывает деньги другому. От хорошо знал, что жаловаться не пойдёт никто. Недодавать всем по рублю, — это было его постоянное правило.

Ныне, при новом составе консистории, изменились несколько и порядки: ныне консистория, отославши ведомость в казначейство, даёт знать и благочинным: кто и сколько должен получить жалованья; благочинный уведомляет духовенство; духовенство приносит ему свои доверенности и отправляется в казначейство. И нынешние порядки немного избавляют духовенство от излишних поездок, а главное, — жалованье всё-таки получается вместо июля — в сентябре.

Все люди, живущие жалованьем, получают его в 20-х числах; неужели нельзя устроить, чтобы члены причтов получали жалованье по истечению каждого месяца, по удостоверениям благочинных? Рубль полученный в то время, когда он особенно нужен, — дороже десяти.

XXXV

Следствием одиночества в глуши, нужды, совершенной зависимости от прихожан, попрошайничества, торга при требоисправлениях и консисторского управления бывает то, что духовенство теряет своё достоинство в своих собственных глазах, и делается как бы забитым, безличным. Отсюда, в людях бесхарактерных: нетрезвая жизнь, крайняя небрежность в одежде, неуменье держать себя в местах публичных и небрежность в самом требоисправлении.

Одежда, по-видимому, дело самое пустое, но для духовенства, вообще, она имеет огромное значение. Городской священник одевается всегда чисто, держит себя всегда солидно, — с полным сознанием собственного своего достоинства; а если он ещё к тому, положим, членом хоть попечительства о бедном духовенстве, то он смотрит, уж непременно на нашего брата, деревенщину, свысока: не перекрестясь и не подступаясь. Нашего брата, деревенского, узнаёшь за версту: рясёнка в три гроша, шляпёнка и того хуже. Приехавши за делом в город, сельский священник дорожит каждой минутой и бегаёт, размахивая рукавами, не обращая ни на кого внимания. Но такая небрежность в одежде и походке есть неизбежное следствие условий его домашней жизни. Летом обыкновенно, кухарки дороги и, потому, большинство священников живёт без кухарок. Вогнали, например, вечером стадо коров из поля в село, бросятся они во все стороны по огородам и гумнам, — батюшка схватит хворостину да и пустится за ними, чтобы перехватить их и не дать зайти на чужие капустники. Чрез несколько минут ему придётся идти по селу, конечно, он идёт так, как бегал сейчас за коровой, — в одном кафтане без рясы. Сами крестьяне, — те, которые смотрели бы на него, — ходят

раздевшись и разувшись; стал быть обращать внимание на то, как одет священник, решительно некому. Мало-помалу весь такой строй жизни обращается в привычку. И потому мы, деревенские, не имеем того лоску, какой имеет священник городской, и делаемся предметом всевозможных насмешек, не только людей светских, но даже и кость от костей наших и плоть от плоти нашей, наша братия, — батюшки городские, — говорят с нами не иначе, как покровительственным тоном. Я, например, человек уже не молодой, 30 лет благочинным, священников в городе знаю всех до единого, большая часть из них знает и меня хорошо, — знает, что я «судим и штрафован не был, под судом не состоял и не состою», но я очень не многих встречал священников, которые говорили бы со мной по-человечески, — непременно свысока, покровительственным тоном. От чего же это? Тут виноват не я лично, но виновато, в моём лице, наше сельское положение, — наша нищенская обстановка. К нам применяется известное изречение: «скажи мне, с кем ты знаком, и я скажу тебе кто ты таков». Об нас судят так: «ты живёшь с мужиками, собираешь лотками, одежонка на тебе в грош, — ну, и цена тебе грош».

XXXVI

Все, имеющие форменную одежду, имеют обязанность носить её только во время отправления ими служебных обязанностей; в свободное же от службы время они имеют право одеваться во что им угодно. И только исключение составляют в этом одни представители двух крайних пределов человеческой жизни: добра и зла, любви и вражды, мира и войны, жизни и смерти, — духовенство и военные. Одни они обязаны носить свою форменную одежду во всякое время и во всяком месте. Не говоря о военных, скажу о себе: почему общество требует от нас, чтобы мы всегда были в форменной одежде? Вне службы носят все, что им угодно; почему же этой свободы общество не даёт именно только нам? Я не говорю уже того, почему мы, живя среди общества, не имеем права носить и одежды общественной вообще (что, в тех особенно случаях, когда наш брат-рясоносец является в публичном месте, малую толику хвативши горького, было бы очень кстати), нет, я говорю о том, почему мы, священники, не имеем права являться в публичное место или чужой дом в одном кафтане или подряснике, — без рясы? Приходишь, например, в дом какого-нибудь дворянина, чиновника или купца, — ты в форменной одежде, тоже что в мундире, — рясе и, пожалуй, со всеми атрибутами своего сана, а хозяин принимает тебя в какой-нибудь куцовойке — и ничего. Принимая меня у себя, он, точно также, идёт и ко мне в чём ему угодно. Но приди к нему я так, запросто, без рясы! Хозяин непременно почтёт это знаком неуважения к себе и обидится; а барыня примет это за кровное, потрясающее душу, оскорбление... Скажу пример, — факт. В одном известном мне губернском городе существует до сих пор одна старая барыня N.N. — барыня богатая. Теперь она слывет под именем «от-

ставной мироносицы». Но прежде, когда последними преосвященными эти должности не были ещё упразднены и она состояла, так сказать, на действительной службе, — обивала своим шлейфом архиерейские пороги и донимала всех архиереев передачей им всех городских сплетен, — она была барыня важная и с большим значением для духовенства. Напротив её дома был дом приходского священника П.Н.С-ва. С-в был человек необыкновенно кроткий и добрый, больной, магистр академии и профессор семинарии, имевший за городом свой садик и страстно любивший цветы. У одинокой старухи-барыни было в доме, тоже, много цветов. Барыня, как говорится, души не видела в своём батюшке и оказывала к нему все знаки своего благоволения. С-в ходил к ней каждый день, а иногда и по два-по три раза, и, как любитель цветов, ухаживал за её цветами. Однажды летом, довольно рано утром, барыня, увидевши его в окне, вскричала ему через улицу: «П.Н.! Идите ко мне, у меня новые цветы». Тот, как был дома в кафтане, так и пошёл к ней. Приходит, — барыня фыркает, злится. Он и туда, и сюда: где цветы? Барыня не говорит и мечется из угла в угол, как угорелая. С-в изумился, посмотрел-посмотрел и ушёл. В 12 часов барыня в карету и к архиерею: «Поп обидел ныне: без рясы пришёл ко мне, не надо мне его, возьмите, куда знаете! Мне его не надо, не надо, не надо!...» И преосвященный перевёл его, на другой же день, в приход, несравненно худший. Хотя С-в настоял, и чрез месяц был переведён в другое место, в законоучители института благородных девиц: но, по его крайне расстроенному здоровью, это место ему было не по силам. Вот вам и рясы! Утром рано, когда барыня просила к себе священника, сама она, наверное, была растрёпой: но это сама, а священник иди, всё-таки, в служебной форме...

Другой факт. В селе Агарёвке, нашей губернии, был помещик, некто М...вский. У него был сын, мальчишка — шалопай, который, сделавшись, после смерти отца владельцем большого отцовского имения, промотался, сделался буквально нищим и помер в общественной больнице. В Агарёвку поступил во священники, в то время, когда сын М...вского был ещё мальчишкой, мой товарищ по семинарии А.С.Д. М...вский пригласил молодого священника учить своего недоросля, тот и ходил каждый день. Однажды старик М...вский уехал в город; а так как в доме у него, кроме мальчика, не осталось никого, то священник и пошёл к нему без рясы. Приезжает владелец прихода — М...вский домой, сынок не дал ещё выдти ему из кареты, выбежал на крыльцо и начал кричать на весь двор, со слезами на глазах: «Папа, папа! Поп приходил к нам без рясы!» М...вский, на другой же день опять в город, — и священник был переведён в худший, другой, приход.

Ещё один случай. В село Глядковку, моего округа, поступил некогда во священника некто В.И.В. прямо из семинарии. В. пономарский сын, бурсак, не видевший и не слышавший ни о каких светских требованиях. Месяца через два по приезде в приход, зимой, однажды прислал за ним помещик просить его к себе в деревню служить всенощную. В. надел получше подрясник, шубу, — и отправился. В передней встречает его барин: «Батюшка! Вы без рясы! Да разве это можно! У меня в доме жена, своячина-девица, как я вас представляю? Нет, уж ступайте опять домой, и всенощную отложим до другого времени. Но только помните: без рясы ко мне ни шагу в дом!»

Очень интересно было бы услышать от самого общества: почему требуют от нас, чтоб мы были всегда в форменной одежде, когда люди, считающие себя высокопоставленными, встречают нас сами, нередко, даже в халате и туфлях (подоб-

ных случаев со мной бывало множество)? Почему люди требуют от нас того, чего не исполняют сами?

XXXVII

Все жалуются на трудность поступления в учебные заведения: одних не принимают по малолетству, других по уростности, третьих по слабой подготовке и, наконец, по неимению вакансий.

Малолетство. Известно, что по малолетству не принимают и при самом поступлении в учебное заведение; но случается и так, что вначале найдут мальчика не малолетним и примут, а потом не переводят его «за малолетством». Малолетство едва ли должно служить препятствием к поступлению в учебные заведения. В подтверждение этого я скажу то, что было со мной. Старшие мои два сына помещены были мною в духовное училище, и, чрез год, должны были перейти в семинарию; но младшему из них было 10½ лет. В каникулы, пред переходом в семинарию, он говорит мне: «Папаша! Говорят, что в семинарии очень трудно; что я не пойму, что будут преподавать там и что я отстану от своих товарищей».

— Теперь ты считаешься лучшим учеником?

— Да.

— Большая часть твоих товарищей и по способностям, и по прилежанию теперь хуже тебя?

— Да.

Каким же образом выйдет так, что, чрез месяц, когда вы перейдёте в семинарию, они все вдруг поумнеют и ленивые сделаются прилежными, а ты оглупеешь; они будут всё понимать, а ты не поймёшь? Возможно это? Не беспокойся! Какими вы теперь, такими будете и в следующем классе; перехода из класса в класс вы не заметите. Теперь ты хорошим учеником, — хорошим и станешься.

Мальчуган мой ободрился и в семинарии учился без всяких гувернёров, как и прежде, так что через четыре года поступил в институт инженеров путей сообщения, где математику чуть не едят с кашей; во весь курс был там, и окончил курс в числе лучших студентов и, слава Богу, здоров. При приёме в семинарию и институт на лета его не обратили внимания. Стало быть, дело не в летах, а в способностях и прилежании.

Не переводить «за малолетством» мы находим делом совершенно нерациональным. Вступительный экзамен мальчик сдаёт не для одного года, но на весь учебный курс, и лета его должны быть принимаемы в расчёт не для одного года, но на весь курс. Училищное начальство, при приёме мальчика, должно иметь это в виду. Но на деле не редко случается так, что сначала мальчик окажется, для заведения, совершеннолетним, а потом негодным по молодости. Известно, что по малолетству не переводят даже лучших учеников, мотивируя это тем, что они не могут усвоить вполне тех предметов, которые должны будут преподаваться им в следующем классе и что им будет трудно поспевать за своими товарищами, старшими по возрасту, и что непосильные занятия вредно повлияют на их здоровье. Если имеется в виду здоровье мальчика, то, конечно, такая забота была бы крайне желательна, но, признаться сказать не верится, чтобы педагоги, или, вообще, составители уставов заботились, хоть сколько-нибудь, о здоровье воспитываемого ими юношества. Когда младшие мои два сына были в гимназии, и приедешь бывало навестить их, то посидишь с ними немного и уйдёшь, чтоб не мешать им заниматься. Посмотришь в 12 ночи, — они ещё сидят; утром встанешь рано, но они встали уже раньше тебя и опять сидят за книгами. И так изо дня в день. Тяжело, бывало, смотреть на

непосильные уроки! О здоровье тут и не думал никто. Виноваты тут наставники, ленясь заниматься в классе и сдавая всю работу на дом; но виноваты, также, и составители программ. При таких непосильных занятиях здоровья останется не много у всякого, будь ученик хоть бы и взрослый. Поэтому, если педагоги толкуют о здоровье учеников, так это есть ложь: дело показывает, что о здоровье никто и не думает. Чтоб убедиться в этом, посмотрите на любого ученика семинарии и гимназии: много ли в них жизни? Но самое поразительное доказательство, как губится юношество, даёт нам медицинский осмотр Вятской гимназии, где из 330 воспитанников найдено здоровыми только 30. И не стыдно, после этого, толковать о своих заботах о здоровье?! Единственно хорошее, что нам известно, так это есть то, что в той гимназии, где были мои дети, в перемены между классами, директор и инспектор заставляют учеников играть на дворе. За это нельзя не отнести к ним с полной благодарностью.

Не принимают по уростности. Но какая уростность? Годом старше, противу устава. Но почему составители устава не приняли в расчёт, что в жизни встречается множество обстоятельств, не позволяющих поместить мальчика именно в те лета, в какие они определили? Известно, что не все дети одинаково развиваются, — это первое. Второе: может случиться, и по всей вероятности таких случаев множество, что мальчик год проболел; может случиться, что он заболет именно в тот месяц, когда ему нужно явиться на экзамен, год пропал, — и карьера мальчика пропала на век. Я слышал о таких случаях: родители не имели, вначале, возможности подготовить детей своих: при всех стараниях их, они не могли найти себе учителя в деревню; когда же он нашёлся, и дети были подготовлены, то они оказались на год уросшими, — и пропали. Лично мне

известен такой случай: родители употребляли все силы подготавливать мальчика и подготовили; но поместить его в учебное заведение решительно не находили средств, и мальчик жил дома. Вдруг, сверх всякого чаяния, средства открылись, отец и сын бросились в заведение, но там сказали им, что год мальчик перерос и принят быть не может. Пропал и этот.

Желательно было бы знать: почему в известный класс принимаются дети только известных лет? Почему, например, в III класс гимназии 12-ти лет не принимаются по молодости, 15-ти по урослости? Почему там могут быть именно только 13-ти и 14-ти летние? Чем отличаются 12-й год от 13-го? Чем отличается второй класс от третьего? Греческим языком? Неужели же греческий язык учить с азбуки возможно именно с 13-ти до 14-ти лет, — ни раньше, ни позже, не дошёл год, — нельзя, перешёл год, — нельзя? Непонятно!

Составители уставов, надобно полагать, до последней крайней точности узнали умственное и физическое развитие человека, равно как и математически верно известно было им, что известный отдел известной науки может быть изучаем только тогда, когда мальчику исполнится 13 лет; в 15 лет это будет уже поздно, равно как и в 12 будет рано. Согласитесь же, будьте беспристрастны, что это бессмыслица! Всем известно множество таких людей, которые начали учиться не только что в зрелых, но даже в перезрелых летах и которые, потом, сделались историческими учёными людьми. Стало быть, и поэтому даже нет разумного основания не принимать мальчика по урослости, если он только достаточно для известного класса подготовлен и видны в нём способности и охота к учению.

В настоящее время для каждого класса определён известный возраст. Вопрос этот обдуман, нет сомнения, всесторонне

и определённый уставами возраст найден самым соответствующим делу обучения, именно, что только при этом возрасте юношество может и легко и вполне усвоить то, что преподаётся ему. Так. Но неудобно ли взглянуть в любое учебное заведение, как идёт там дело? Взгляните хоть в гимназию: первый класс, основной и параллельный, по 40 человек — 80; во втором и третьем тоже, по 80; но далее и далее: всё меньше, меньше и меньше, — и созреют только 7. Куда же девалась педагогическая премудрость?... На чьей душе и совести должна лечь гибель этих несчастных исключённых?! Обыкновенно говорят: «нужна же какая-нибудь норма». Но мы желали бы слышать при этом: для какой же цели?

Говорят, что неприятно смотреть, когда между мелюзгой сидит великан. Но в таком случае надобно выгонять всех великорослых, хотя они были бы и молоды. Подбор по росту бывает только в войсках, и то неимеющий ни малейшего существенного значения.

Уросшие вредно влияют на малолетних? Но почему не предполагать благотворного влияния? Почему предполагают в уросших более безнравственности? Квартируют же вместе малолетние со взрослыми? Там и хорошее, и дурное влияние могут проявляться несравненно сильнее.

В наших духовных учебных заведениях строго соблюдаются сроки. В семинарии положено принимать от 14 до 16 лет; мальчика 17 лет не примут уже ни в каком случае «за урослостью», хотя оставшиеся там на второй год бывают и 17 лет. Молодые люди употребляют все усилия, чтобы пройти чрез училища и дойти до семинарий именно в эти годы, иначе пропали на веки. Идёт человек и употребляет все силы, чтобы не засесть где-нибудь на другой год, хотя бы то по болезни. Иначе, для семинарии, будет уже устаревшим и выгнан без

всякой церемонии. Наконец, юноша, после всех усилий, окончил курс, прошёл все науки, нужные для того, чтоб быть священником, и просит священническое место. «Ну, нет, говорят ему, этого нельзя, ты ещё молод для того, чтобы поступить во священники, нужно, чтобы тебе было тридцать лет». — Зачем же так подгоняли в училищах и семинариях? — «Это «для порядка»! Кроме того, тебе нужно «упостояниться», — тебе нужно созреть нравственно, направить жизнь свою высоконравственными примерами, — тебе нужно до тридцатилетнего возраста идти в пономари».

Пономарство есть, действительно, вернейший способ для усовершенствования молодого человека, но только в чём? Во всевозможных пороках и невыразимой нужде и горе.

В самом деле: окончившего курс семинарии находят молодым для должности священника; зачем же так подгоняют в семинариях? Уставы о семинариях и о священничестве проходили чрез одни руки; какая же цель: оканчивать курс молодым, а во священники поступать старым? Чтобы придти уже в возраст «мужа совершенна»? И поэтому, чтобы сделаться достойным пастырем, нужно усвоить все качества пономаря? Сделано не дурно! Такой чести ни одному пономарю, и во хмелю, во сне не грезилось.

Если пономарство нужно для того, чтобы прошёл юношеский пыл, то в училищах наших и семинариях такие порядки, что он проходит и без пономарства.

Со времени введения новых уставов времени прошло уже достаточно для того, чтобы взглянуть на результаты положений, — взглянуть: действительно ли оканчивающие курс семинарии нравственно молоды для священства и действительно ли бывшие в пономарях священники лучше старых, поступивших во священники прямо из семинарий?

Я, состоящий сам среди сельского духовенства и имеющий своей обязанностью наблюдать за его нравственным состоянием, утверждаю положительно, что молодые люди в пономарях нравственно гибнут. Соображая же действительность с постановлением правительства, нам неминуемо приходится сделать вывод такого рода: чтобы к 30-ти летнему возрасту сделаться высоконравственным пастырем стада Христова, для этого нужно лет 8–10 потаскаться сперва по всем трущобам; другими словами: чтобы быть хорошим, нужно сперва сделаться негодяем. А так как пономарством в действительности достигается одно первое, а между тем правительству желательно, чтобы во священники поступали в возрасте 30-ти лет или около этого, то необходимо уничтожить правило о летах в училищах и семинариях.

В учебные заведения не принимают по недостаточной подготовке. Слабая подготовка для непринятия в заведение есть причина вполне основательная. Но господа экзаменаторы могут ли сказать по совести, что в несколько минут испытания они узнают ученика вполне? Всем известно, известно это и педагогам, что часто бывает, что экзаменующийся может хорошо ответить только вопроса на два-на три; их-то, случайно, его и спросят, — и получается хороший балл. Случается и наоборот: на два-на три ответить не мог, опять, случайно, спросили его, — и пропал. Поэтому приёмные экзамены должны быть самые снисходительные, потому что случайность здесь — дело обыкновенное. В наше время списки ученикам составлялись не по алфавиту, а по успехам, и ученики делились на три разряда. На выпускной экзамен, по догматическому богословию, приехал к нам преосвященный Афанасий (Дроздов). Между моими товарищами был некто Ф.Танаисов. В списках по всем предметам он писался ниже середины второго

разряда и, бывши певчим архиерейского хора, часто не ходил и в класс. На экзамене ему попался один вопрос, — он и начал резать, как «Отче наш». Не давши дочитать до конца, преосвященный закричал: «Ректор! чего ты смотришь?» Ректор встретился и смотрит: что такое? «Я спрашиваю тебя: чего ты смотришь? Смотри, как отвечает Танаисов, а между тем он записан во второй разряд. Ты должен знать, что Танаисов несёт двойные труды, он и учится хорошо, и у меня в певчих. А тебе всё равно, ты и не видишь этого!» И, не давши Танаисову дочитать, своей рукой записал его в первый разряд. Но, на самом-то деле, Танаисов почти только и знал то, что спросили его, и знал-то взбрычку, без толку.

В наших духовных училищах, на переводных экзаменах, тоже строгость страшная: из 40 человек 1-го класса едва доползает до последнего один какой-нибудь десяток, а то и того меньше. Можно было бы предполагать, что эти лучшие ученики в семинарию поступят все; но, однако же, при переходе в семинарию, им даётся такой экзамен, что человек из 40 явившихся, училищ из 5–6-ти, принимается человек 6–7, только. И не подумайте, что принимаются лучшие. Ничуть не бывало: семинарии не имеют доверия к училищным свидетельствам и, благодаря случайным ответам, часто принимают худшие. Это известно нам положительно.

Нам известны некоторые семинарии, где на приёмных экзаменах, поступают с учениками, просто, бесчеловечно: мальчикам не оказывают ни малейшего чувства сострадания; для господ преподавателей-экзаменаторов мальчишки — это не люди, а стадо баранов. Сколько горя, сколько слёз прольётся и тут, и по домам этих несчастных! Из 30–40 человек, перестрадавших училищные порядки, примутся 6–7 человек, и стонет всё духовенство: одни оплакивают участь детей, другие

сочувствуют их горю... Но, зато, нам известны такие семинарии, что в то время, когда 25–30 семейств льют слёзы, — мать-протопопица, супруга отца ректора семинарии, выказывает свои заботы о больных в семинарской больнице. Какая фальшь, какая маскировка, какое непонимание общества! Духовенству в тысячи раз приятнее было бы, если бы мать протопопица сидела дома и смотрела за собственными своими детьми, но муж её, отец ректор, не заставлял лить слёзы целые сотни семейств и не пускал по миру целые сотни несчастных детей. Напускной заботливостью зла не прикроешь и обществу глаз не отведёшь: оно хорошо видит фальшь этого дела. Тут делается именно против пословицы: снявши голову, плачут над волосами, — сотни убьют, и десять приласкают.

Семинарское начальство, набравши себе, по случайным ответам на экзаменах, худших учеников, бьётся с ними потом и составляет дурное мнение об училищном преподавании вообще и на следующих экзаменах делается ещё строже, ещё беспощаднее, — и дети гибнут.

Если учителя в училищах действительно дурны, то кто же опять виноват в этом, как не те же семинарии, из которых воспитанники поступают в наставники училищ?! Слёзы всех опять-таки падают на те же семинарии, если они не сумели или не постарались подготовить лучших наставников, лучших подготовителей для их собственных же трудов. Но чем же виноваты здесь мы, чем виноваты наши дети!...

Цель училищ и семинарий одна: готовить юношество для духовного звания; программы училищ приноровлены к программам семинарий; наставниками училищ люди, вышедшие из семинарий и знающие требования семинарий; наставникам семинарий все они известны лично, как бывшие их ученики; поэтому я нахожу справедливым, чтобы семинарии

имели доверие к училищам и учеников училищ принимали к себе без экзаменов, по одним училищным свидетельствам, — чтобы училищные свидетельства для семинарий были то же, что гимназические аттестаты зрелости для высших учебных заведений. Одно то, что из 40 мальчиков первого класса училища оканчивает курс только 6–7, одно это хорошо уже показывает, что училищная жизнь прошла детям не даром; что их там, тоже, жалели не много, что они могут быть принимаемы в семинарии по одним училищным свидетельствам. Да и стоит ли семинариям слишком много заботиться об обширных и основательных познаниях своих учеников, кроме богословской науки? Жизнь сельского священника есть жизнь нищего, бьющегося весь свой век из-за куска хлеба, где мы перезабываем всё; нищета убивает нас с первого дня вступления в должность.

Экзаменам даётся всюду решающее значение; но если бы господа смотрители училищ, ректора и директора средних учебных заведений каждодневно посещали вверенные им заведения, следили бы за преподавателями и учениками, бывали, по временам, и члены советов (в духовных училищах и семинариях), тогда начальники заведений знали бы учеников и учителей, как самих себя. Если б они взяли себе в образец покойного директора кадетского корпуса, о котором я встретил воспоминания в «Русской Старине», который каждый день бывал во всех классах, тогда и наставники не ходили бы в классы за четверть часа до конца класса, а высиживали бы полный час, и ученики готовились бы к каждому классу и были бы внимательнее к словам наставников; тогда экзамены были бы совершенно лишни, тем более, что экзамены никогда не давали и не могут давать верной оценки и только мучат учеников; случайности же делают многих несчастными.

Теперь, иногда, случается так: какой-нибудь инвалид переходит на своём веку все мытарства света, — перебивает и на море, и за морем, добьётся, наконец, через задние ходы, места начальника учебного заведения и думает, что он добился теперь полного покою, — и спит себе старец от 7 до 7 часов, прихватит, пожалуй, часок-другой и днём; или другой проигрывает целые ночи в карты; и тот, и другой подберёт себе партию прихвостников, теснит тех, которые не подлизываются к нему и, за этими трудами, ждёт не дожждётся каждый месяц 20 числа. А там, что делается в заведении, ему и горя мало. Половины учеников он не знает и по фамилии. При таком ходе дела экзамены, конечно, необходимы. Следи начальник за каждым учеником, изучи его, — тогда от случайностей на экзаменах юношество не гибло бы. Каждый внимательный наставник учеников своих знает; для кого же теперь экзамены нужны? Исключительно для одного начальника заведения. Изучи же и он ученика, тогда они совершенно лишни. Каких болезней, и нравственных и физических, избавилось бы юношество, как были бы благодарны отцы и матери!... А те месяцы, которые уходят теперь на подготовки к экзаменам, могли бы быть с пользой употреблены на более полное изучение предмета.

Правда, теперь на экзаменах бывает ещё третье, как бы постороннее лицо, — ассистент; но это такое лицо, которое давно пора бы прогнать с экзаменов. Дело в том: учителя везде делятся на две партии: партию прихвостников, подлизов, и на партию оппозиционную, дорожающую своим человеческим достоинством. Если в ассистенты попал человек одной партии с учителем, то он ставит баллы те же, какие ставит и учитель; если же он партии противной, то врагу своему он мстит на учениках, — и юношество гибнет, за грехи других, неповинно.

Экзамены необходимы только в случаях несогласия начальника заведения с наставником, — когда один из них находит ученика достойным перевода в следующий класс, другой — нет. Пусть тут дан будет экзамен, но только не при одном ассистенте, а при участии большинства всех наставников.

В учебные заведения не принимают по неимению вакансий. Не говоря уже о том, почему положено иметь в классах по 40 человек, но не по 30 или 50, мы желали бы знать: для какой цели установлены штаты вообще?

Учебные заведения суть учреждения, имеющие целью общественное благосостояние. Стало быть: чем более различных учебных заведений и чем более обучающихся в них, тем более общество, так сказать, вбирает в себя полезных деятелей и тем более, поэтому, возвышается его благосостояние. И самые деятели, получивши возможность быть полезными себе и другим, увеличивают собою и число людей возвышающих это общественное благо-состояние и число людей, способных устроить и своё собственное благополучие. Следовательно, люди, коим вверена забота об общественном благосостоянии, всеми мерами должны заботиться об общественном просвещении, т.е. и об увеличении числа учебных заведений, и об увеличении числа обучающегося в них юношества. Такие заботы о благосостоянии общества правительство наше оказывало со времени основания нашего государства. Благодаря неусыпным отеческим заботам наших государей, отечество наше, не смотря на свою политическую молодость, не смотря на страшные бедствия от удельной неурядицы, татарщины, самозванщины, войн и подобного, вошло в состав европейских государств и догнало их своим просвещением. Потребность к просвещению явилась всюду, даже между низшими классами общества; всеобщая воинская повинность, со своими льготами

за науку, подвинула потребность к образованию ещё более, словом: что бы ни было причиной, но все бросились к образованию, — и учебные заведения наполнились. Но вот вдруг Господь, вероятно, за грехи наши, насылает, как чуму, положение о штатах! Число учащейся молодёжи сразу ополовинело. Ближайшие руководители просвещения тотчас поняли, что нужно главному двигателю просвещения, подхватили его мысль, и выказали такую жестокость к юношеству, что в немилосердии своём превзошли даже его, — они не стали принимать в учебные заведения даже и того небольшого числа, какое допущено положением. Если же где, по необходимости, детей и принимали, то, в середине курса, выгоняли их, под предлогом неуспешности, и таким образом масса несчастных гасла тысячами. Стонали отцы, вопили матери, плакали дети... И — явилась масса несчастных, масса недовольных! Министерство народного просвещения сделалось министерством народного омрачения: омрачился светлый русский ум, — недовольные явились, как очумлённые, — и явилась масса таких ужасов, которые никогда не могли бы придти и на ум любящему своё отечество русскому человеку... Не даром с таким восторгом общество встретило нового двигателя просвещения, не даром успокоились разом и все недовольные. Общество уверено, что дети его гибнуть более не будут. От всей души желаем, чтобы надежды общества не обманулись.

В видах общественной пользы, в видах успокоения родителей и счастья детей крайне было бы желательно, чтобы положение о штатах было уничтожено.

Если теперь в семинариях наших не занято три четверти даже штатных мест, то мы уверены, что, с уничтожением положений, в служащем духовенстве — о пономарстве, и в семинариях — о штатах, семинарии наполнятся скоро. Если теперь

ученики не принимаются и выгоняются, как бы за неуспешностью, то это такое пустое дело, на которое не стоит обращать и внимания: мы уверены, что те же начальники учебных заведений, которые теперь находят мальчика слабым, завтра же найдут его вполне достойным, потому что эти люди не смотрят в святцы сами, они только прислушиваются, в какой колокол звонят на колокольне.

Педагоги, обыкновенно, говорят, что, при большом числе учеников в классе невозможно следить за их успехами: приходится редко спрашивать учеников, они опускают уроки и пр. Но мы на это скажем: в наше время в семинарии все классы разделялись на два отделения, и в богословском классе нас окончило курс по 83 человека в отделении — 166 человек. И списки составлялись по успехам чрезвычайно верно, обижен не был никто. Правда, труда наставнику больше; но ради тех несчастных, которые за стенами классов оплакивают горькую свою участь и проклинаят день появления своего на свет, ради слёз их родителей, почему немного и не прибавить труда? Облегчить участь несчастных, дело выше всякого труда. Притом: провинциальные учебные заведения не то, что столичные университеты, куда стекается юношество со всех концов государства. Здесь у нас слишком большого стечения учеников и быть не может; оно всегда будет ограничиваться только местным населением; лишний же десяток учеников не стеснит никого и ничем, что прежде и было.

Мы совершенно согласны, что, при небольшом числе учеников в классах, удобнее заниматься и для наставников, и для учеников, но если в первом классе 80 учеников, а в последнем только 10, то справедливо ли, для удобства и счастья 10-ти, выгнать и делать несчастными 70? В наше время, когда классные комнаты наши были переполнены народом, были у

нас ученики и слабые, и хорошие; но хорошие были и настолько хороши, что, не окончивши курса, сдавали экзамены и поступали в университеты. Ректор нашей семинарии, каждый раз, как только ученики, по окончании курса, поступят в духовную академию, получал или благодарность, или награду за хороших учеников. Стало быть, число учеников не имеет того вредного влияния на успехи, какое обыкновенно приписывают ему. Нам желательно было бы слышать: теперь, при таком малом числе учеников, все они отборные, лучшие ученики и наставники вполне довольны ими, всё это гении? Наверное, что из числа выгнанных были бы, наполовину, если не лучше, то и не хуже тех, которые удержались до окончания курса. Между тем они погибли и для себя, и для общества!...

Не так давно мне пришлось слышать ещё одно мнение: в 1879 году из Петербурга в наш край приехало одно высокопоставленное лицо, и оказало честь мне: сделало мне визит. В разговоре о штатах по учебным заведениям, гость мой выразил мне своё мнение так: «Предложение больше требования. Все лезут в учёные, но государству совсем не нужно такого огромного множества учёных. Наплоди их государство, и тогда беда с ними: все потребуют мест, все захотят жить как-нибудь полегче. Мы, скажут, народ учёный, ремесла никакого не знаем, давай нам место! Мест, между тем, нет, — и пойдут интриги, ропот, недовольство. Государство переполнится праздным, неспособным ни к какому труду народом, а правительство и возись с ним? Представьте себе, что на базар привезли столько картофеля, что он никому уже не нужен; ну, мужик, и вези назад, и девай его, куда знаешь. Сгнил он дома, — это его дело. Так поступает и государство: наехало со всех сторон тысячи в университеты, привалило в гимназии, прогимназии и пр. — государство отобрало себе, сколько ему

нужно, а остальные ступай куда знаешь. Нельзя же давать учёные степени всем кто захочет. Тогда все и мужики захотят быть учёными, докторами, философами».

— Мне кажется наоборот: если картофеля привезли на базар слишком много, то он понизится только в цене; но, за то, его раскупят бедняки, и будут сыты. Теперь докторов, например, до того мало, что когда открылась война, появилась чума, то даже столицы принялись за студентов, студенты потребовались и для войска; а для бедного класса они недоступны ни в какое время. Будь же их в пять, в десять раз больше, чем теперь, то они вместо 25 руб. за визит, были бы рады брать и по рублю, — и бедные люди пользовались бы их помощью. Правительство должно заботиться обо всех одинаково: взявши одних, нельзя же давать гибнуть и другим. Дайте возможность человеку приобретать себе пропитание, он к вам и не полезет. Учёный везде найдёт себе место и хлеб. Беда не с учёными, а с недоучками.

— Не беспокойтесь! Правительство хорошо обсудило это дело.

— Но куда же деваться с детьми нам, отцам?

— Надобно находить другой род жизни кроме учёной.

— В подёнщики?

Он рассмеялся:

— А разве подёнщик менее полезен обществу, чем учёный!

— Конечно, говорю я, вы говорите это не о своих детях?

Гость мой улыбнулся, — и разговор наш перешёл на другую тему.

Не принимают по тесноте классных помещений. Не распространяясь много, скажу: как было бы отраднo, если б люди,

взявшие на себя обязанности образования юношества, проникнуты были тем же человеческим чувством, какое выразил граф М.Т.Лорис-Меликов директору технического училища: «пусть потеснятся»!

Очень нередко бывает, что из учебных заведений исключаются за невзнос за слушание лекций. Но если юноша из-за невзноса оставляет даже заведение и, стало быть, теряет всю надежду на лучшую свою будущность, то это значит, что оставить заведение его заставляет крайняя нужда, что он слишком уже беден. Почему бы таким несчастным не делать снисхождения и не прощать им их долга?! По выходе из учебного заведения этих несчастных, заведение не прекращает же своего существования? Стало быть, оно также может существовать и в то время, когда они находились бы там, не внесши определённой суммы. И взнос, и невзнос немногих не имеют ровно никакого влияния на заведение. Было бы человеколюбиво, если бы молодым людям была дана возможность продолжать науки, и взнос, если уже не простить совсем, то отложить до получения места, по окончании курса. Взыскать можно всегда, где бы кто ни служил. Как тяжёл этот взнос, — это я знаю по себе, когда мне, в одно время, пришлось вносить за двоих сыновей в Петербурге и за двоих в местной гимназии.

XXXVIII

В гражданском ведомстве учреждены городские, уездные и губернские земские собрания. Постановления собраний представляются на утверждение начальников губерний. Хотя некоторые из них губернаторы и имеют право не утверждать, но, однако же, не все: собраниям оставлено широкое ещё поле для самостоятельности.

В общем движении и перестрое внутреннего порядка государства стыдно было бы отстать и нам; действительно, и нам дано **самоуправление**. Но наше самоуправление есть такая ничтожная, такая жалкая копия самоуправления общественного, что ничтожнее этого трудно что-нибудь и выдумать. И нам также дозволены и уездные, и епархиальные съезды; но **рассуждать** на них мы имеем право только о делах училищ, свечном своём заводе и эмеритальной кассе, — и только. И здесь опять мы имеем право не дело делать, а только **рассуждать**, — ничуть не более. При нашем «самоуправлении» епископ имеет право не утверждать не только ни одного нашего постановления, но даже не утвердить и избранного нами, только на время собрания, председателя. Епископ имеет право не дать нам, как говорится, разинуть рта, пикнуть. Уполномоченные, например, собрались и, прежде всего, избирают председателя и двоих кандидатов; но епископ имеет право утвердить из них того, кого пожелает он, но может не утвердить и никого из них и дать своего. При назначении председателя против желания духовенства епископ сразу становится в неприязненные отношения к духовенству. Далее: начинаются рассуждения, уполномоченные составляют, по известному предмету, постановление и представляют епископу на утверждение. Епископ не утверждает его, и даёт своё

«предложение», по которому съезду приходится только написать: «уполномоченные слушали резолюцию его преосвященства и положили исполнить...» По второму предмету, по пятому, по двадцатому, — то же самое. Таким образом съезду приходится иногда писать только «слушали и постановили исполнить, слушали, — и постановили исполнить», — и больше ничего. Пишут отцы святые: «слушали и постановили» каждый день, а между тем время идёт, человек 70 недели две уже прожили. Бог весть из-за чего. Поездка и житьё в городе духовенству стоят, по крайней мере, 1500 рублей, а толку ровно ни на грош. Соберутся отцы, проживутся, наслушаются архиерейских резолюций, напишут кипы журналов об исполнении их, — и разъедутся. Иначе дело это и идти не может, если съезд держится одного мнения, епископ другого, и решение принадлежит епископу.

Если должно делаться всё по воле епископа, то спрашивается, для чего же съезды? Для чего духовенство отрывается от приходов, от домашних занятий, от полевых работ и вводится в дорожные беспокойства и расходы? Если всё должно делаться по воле епископа, то пусть один он и делает всё. Духовенство будет исполнять все его распоряжения с обычной готовностью. Если же, напротив, духовенству дано право рассуждать о нуждах его детей, то пусть оно приводит в исполнение то, что находит оно нужным. Можно быть уверенным, что никто не может знать наши нужды лучше нас самих. И духовенство не настолько глупо, чтобы не сумело устроить судьбы детей своих без посторонней помощи, чьей бы то ни было. Мы нимало не хотим отнимать прав у епископов; но согласитесь, что наши съезды и наша толковня на них, без права исполнения, не имеют смысла.

При настоящих порядках, бывают такие случаи: уполномоченные, по известному предмету, делают постановление; мотивы же, руководящие уполномоченными, таковы, что они могут быть передаваемы одним другому только лично, но не могут быть ни высказываемы публично и ни, тем более, внесимы в журналы. Мотивы этих бывают иногда весьма серьёзные, но публично высказываемы быть не могут. Уполномоченные, например, постановили удалить из училища известное лицо и избрать другое; они находят невозможным излагать все причины удаления, — в журнале, публично; а между тем лицо, удаляемое ими, нетерпимо. Епископ, не видя в журнале съезда достаточных причин для удаления, устно же передаваемое ему членами совета находя неформальным, — постановления съезда не утверждает. При этом: как только возникает недоразумение между епископом и духовенством, сейчас же являются из-за скуфейки прихвостники и своими заявлениями, противными общему мнению духовенства, расстраивают епископа с духовенством окончательно: между епископом и духовенством является явная вражда.

Хотя и не так, но нечто подобное этому было в Саратовской губернии в 1879 году. Съезд уполномоченных нашёл необходимо нужным удалить начальницу епархиального женского училища. Не излагая всех причин в журнале, он постановил удалить и избрать другую. Заслуживала она удаления или не заслуживала, — я, как давно уже оставивший бывать на съездах, дела этого не знаю. Но преосвященный нашёл постановление съезда неосновательным, не утвердил его и положил решение таковое: «1) постановление саратовского епархиального съезда о замене нынешней начальницы саратовского женского епархиального училища М.А.Шимковой другою, как неосновательное и несправедливое, а потому и не делающее

чести депутатам, подписавшим такое определение, оставить без последствий».

«2) Членам совета названного училища, протоиерею Соколову и священнику Александровскому, как главным виновникам этого определения, сделать от моего имени замечание. Сверх того, протоиерею Соколову, проявившему особенно враждебные отношения к М.А.Шимковой, предложить испросить прощение у сей последней, если он желает продолжать службу при училище. В противном же случае его место в совете и по членству должен занять протоиерей Смельский...» (Саратов. Епарх. Вед. 1880 г. № 7).

Нам не довелось слышать потом, чем решилось дело отца протоиерея Михаила Александровича Соколова с начальницей училища: просил ли он у неё прощения, мы не знаем этого, но, во всяком случае, в лице отца протоиерея, бывшего профессора семинарии, и ныне законоучителя института благородных девиц и губернского градского благочинного, всему духовенству урок хорош!... Не забывайся!... Виноват же, между тем, тут кто? Положение о съездах. Нам дозволено рассуждать, решать, постановлять; а преосвященным дано право на всё это, как бы сказать это? — ну, да не обращать внимания. Зачем же, спрашивается опять невольно, все эти наши собрания, толки, постановления?! С полной покорностью мы исполняем и готовы исполнять все распоряжения наших владык; но коль скоро дано право делать и нам свои постановления, то зачем же не допускать их к исполнению? Зачем было давать духовенству **право без прав.**

Поэтому мы желали бы: или дать нам право постановления наши приводить в исполнение, или же отнять у нас совсем право собирать съезды и делать на них свои постановления. Многолетние опыты показали уже, что такого рода съезды

ведут лишь только ко вражде между епископом и духовенством, чего мы совсем не желали бы.

Нам не раз приводилось читать в светских журналах и газетах восхваления **расширению прав** духовенства, — что ему дано самоуправление; но, при этом, никто не потрудился вникнуть, что наше самоуправление есть не более, как пародия на земские собрания, — и мы-де не отстали, — и духовенству дозволены съезды! В наших съездах прямо, осмысленно, положен источник вражды между епископом и нами.

XXXIX

Сельское духовенство ведёт жизнь совершенно уединённую. В приходе его нет лица, равного ему ни по умственному развитию, ни по понятиям и ни по нравственным потребностям. С крестьянами, кроме обыденного хозяйства, говорить ему не о чем; если есть в приходе дворяне, то богатые из них смотрят на священника свысока и говорят с ним всегда покровительственным тоном; бедные же, хотя народ простой и добрый, но, по умственному состоянию от мужика отличаются очень немногим. И как ни богач и ни бедняк, наши деревенские дворяне не читают ровно ничего, кроме разве местной газетки, то и беседа бывает всегда с ними самая пустая. Если в приходе есть одно или несколько лиц с университетским образованием, то тут опять беда другого рода: эти люди смотрят на священника, часто, как на человека малообразованного и немогущего понимать их высоких суждений. Дружественная беседа и мена мыслей могла бы быть только там, где два, три священника живут в одном приходе; но настоятельство и помощничество — работа одного на другого, — всегда были и есть теперь источником обоюдной вражды: эти два-три священника непременно ссорятся между собою. Поэтому дружеских бесед между ними и быть не может. Днём дела у священника иногда очень много, но иногда целую неделю нет ровно никакого. Вечера и ночи свободны всегда. Развлечений, в безделье, никаких нет: священник не знает ни музыки, ни рисования, ни токарного или столярного и т. под. мастерства, и ему остаётся только читать. Но что читать? Правда, теперь все священники что-нибудь выписывают; но одна-две газетки, один-два журнала надолго ли станут? И человек, особенно в долгие зимние вечера, отдаётся совер-

шенной бездеятельности. Бездеятельность эта часто доводит его до такой апатичности ко всему, что он бывает не в состоянии подготовить даже к училищу собственных детей. Есть и такие приходы, где читать и есть что: и сами священники выписывают много журналов и есть что взять на стороне; но читать и читать одному, без живого слова, без передачи своих впечатлений другому и не слышать суждений лица постороннего, — делается работой какой-то механической и непринносящей надлежащей пользы, освежающей и возбуждающей душу. Нередко люди, не занятые и чтением, от праздности, одиночества и тоски, ищут себе развлечений в сообществе людей всякого сорта, без строгого разбора, тунеют и часто впадают в пороки — пьянство. Поэтому я нашёл полезным, чтобы священники, насколько возможно чаще, имели свидание между собою и вели беседы друг с другом. Имея в виду, что свидания священников могут приносить им большую пользу, я просил, однажды, своего преосвященного Иоанникия, ныне экзарха Грузии, дозволить нам, священникам моего благочиния, съезжаться несколько раз в году для дружеских бесед. Преосвященный выразил мне особенное удовольствие и съезды разрешил.

Зная, как нельзя лучше, умственное и нравственное состояние священников моего округа, я, по состоянию каждого из них, приготовил для них книги и пригласил к себе. В собрании я разъяснил, сколько гибели приносит нам наше одиночество и безделье, и цель съезда. Давая каждому книги, я слегка набросал содержание каждой, постарался заинтересовать ими и просил в следующий съезд рассказать в собрании то из прочитанного, что особенно найдёт каждый интересным или, может быть, непонятным. Были между нами два священника слабых и нередко позволяющих себе нетрезвость. Мы

сделали им дружеское увещание и взяли честное слово не пить до следующего нашего съезда. Тут же положили съехаться, через два месяца, у священника-соседа. Этот второй съезд был оживлённее первого: каждый из нас дал как бы отчёт в том, что сделано им в эти два месяца и каждый рассказал, что прочёл он. Мы говорили об обязанностях священника, отношениях к приходам, о сельских школах, о воспитании собственных детей и пр. И люди нетрезвые сдержали слово — не пили. Я был в восторге от этого съезда. Мы положили при этом устроить окружную благочинническую библиотеку. Два года мы съезжались через каждые два месяца. Но случалось, что или сильные дожди, или метели, или домашние какие-либо обстоятельства не давали съезжаться всем, особенно потому, что наши съезды были всего на один день. Кроме того, два села отстоят от меня в 50-ти верстах, а одно даже в 70-ти. Этих священников обременяла и самая отдалённость. А так как я только преимущественно наделял книгами и дом мой поместительнее домов других священников, то съезды, почти исключительно были у меня. Но, мало-помалу, охота к съездам охладела почти у всех и пошло: то тот под каким-нибудь предлогом, не приедет, то другой и, наконец, все священники стали просить меня, чтоб я не собирал их. И — съезды наши прекратились. Но я видел в них большую пользу и расстался с ними с крайним прискорбием.

Опытом узнавши пользу съездов, я советую моим собраниям, где местные условия более благоприятны, устроить подобные же съезды. Они много влияют на улучшение и умственного и нравственного нашего состояния.

В настоящее же время (1880), я надеюсь, съезды духовенства могли бы принести не малую пользу и для народа, и именно теперь, — когда во многих местах хлеба нет почти

совсем, и народ терпит страшную нужду, и когда, кроме правительства, мало людей, сочувствующих общему горю. Когда бедствовали босняки, герцеговинцы и другие славянские, и не-славянские народы Турции, — у нас явились целые полчища людей милосердых: по всем деревням и захолустьям рассылались воззвания, делались подписки, собирались пожертвования; в городах братья и сёстры милосердия, с кружками в руках, не давали проходу ни конному, ни пешему, до назойливости: толпились на каждом перекрёстке; в магазинах, вокзалах, станциях железных дорог и на всех открытых местах, чуть не на каждой тротуарной тумбочке были выставлены кружки. Возбуждение было лихорадочное; собирать на славян было модным делом, — и слова: «братья славяне», надоели всем до приторности. Но вот Господь послал бедствие и на нас самих: во многих местах люди чуть не мрут с голоду; многие селения поголовно разбрелись собирать милостыню, нужда крайняя, — и никто, кроме правительства, не отозвался на слёзы своего русского народа!... Нет ни воззваний, нет ни сборов, нет ни братьев, ни сестриц милосердия, — нет никого! Непонятная черта характера русского доброго народа: чужая беда, — и мы, как угорелые, бросаемся на помощь; беда своя, — и мы, как спим, и даже излюбленных комиссий не составляем. Вот теперь-то и следовало бы священникам обсудить меры к облегчению участи несчастных. И если б каждый из них спас хоть пять-шесть семейств от последствий голода, то и это было бы великой заслугой.

XL

Нас укоряют, что мы не имеем должных отношений к нашим приходам; что связь между нами и нашими приходами только официальная, внешняя; что близких, сердечных, радушных отношений между нами нет; что мы стоим от наших приходов особняком, далеко; вымогая из них средства к своему существованию, не обращаем внимания на их внутреннюю, духовную жизнь; что мы не больше как требоисправители, тогда как мы должны быть руководителями в их нравственной и религиозной жизни, должны составлять как бы душу, должны быть «солью земли» своих приходов; что от нашей отдалённости в приходях грубость, невежество, раскол, пороки, неуважение к религии и к нам самим и проч.

Отдалённость нашу от приходов одни производят от неправильной постановки нашего воспитания; другие — от нашей безличности и полной зависимости от приходов; одни, — что причиной тому кастовое наше положение; другие говорят: от того всё это, что попы сами и тупы, и глупы, безнравственны и жадны; говорят, наконец, одни, что это от того, что попы горды, что священник, особенно молодой, чувствуя себя стоящим по образованию выше массы, с гордостью относится к простому народу даже тогда, когда принимается учить его, и тем отдаляет себя от него.

Для сближения духовенства с прихожанами одни находят необходимым закрыть специальные духовные учебные заведения и устроить общие, всесословные; другие находят единственным средством вывести духовенство из крепостной зависимости от прихожан, обеспечить его материальный быт и расширить права самостоятельности; третьи находят радикальным средством порешить совсем с наличным духовен-

ством, избрать в служители церкви лиц из того же общества, в котором они служить должны, — чтобы духовенство для общества было «своё, родное», — плоть от плоти и кость от костей его; чтобы духовенство и образованием возвышалось только немногим над тем обществом, среди которого оно должно вращаться; что духовенство должно участвовать во всех крестьянских сходах, во всех приходских делах. Наконец, говорят нам: нужно иметь более смирения, более терпения и любви к пасомым, — поменьше чванства и побольше дела.

Во всё́м этом много горькой истины, но много и нелепости. Все говорят, что отношения наши к приходам ненормальны. Это хорошо знаем мы и сами. Ненормальность эту производят от различных причин и к устранению её предлагаются различные средства; но так как суждения об это деле происходят, большей частью, от таких людей, которые и сами не знают всех условий нашей жизни, то они или непрактичны совсем, или односторонни. Лица, стоящие во главе нашего управления, хотя и хорошо видят причины ненормальности отношений, хотя хорошо знают и средства к устранению их; но одних из средств не могут дать нам они сами, а других не исполняем мы. От администрации мы нередко видим распоряжения и советы самые разумные, самые практичные, самые беспристрастные; но мы привыкли смотреть на них, как на предписания казённые, не прилагаем их к нашему сердцу, не применяем к нашей жизни, стараемся исполнить одну форму, отписаться, — и остаёмся тем, чем были. Что же после этого делать? Тёплое слово, — слово братское, взятое с жизни, могло бы, кажется, указать нам самые практичные средства и повлиять на нас более всех других посторонних указаний и советов. Его могли бы высказать друг другу мы, священники; но священники, кроме проповедей по заказу консисторий и благочинных,

не пишут ничего. Поэтому я, делая почин, пролагаю путь лучшим силам. Я не навязываюсь в наставники — на это я не имею ни права, ни силы слова и не хочу оскорблять чьего бы то ни было самолюбия. Я хочу передать только личное моё мнение и то, как ведётся дело это у меня в приходе, и с удовольствием выслушал бы мнение и совет другого. Мена мыслей могла бы принести много пользы и нам самим, и делу нашего служения и, вместе с тем, показала бы людям, пишущим об нас, что мы не настолько безнравственны и бездельны, как разносят об нас по свету.

Наша рознь с приходами зависит, прежде всего, от нашего воспитания. В духовных училищах и семинариях стараются дать воспитаннику массу сведений, но никто и никогда не позаботился развить религиозно-нравственное чувство. В учебных наших заведениях строго следят, например, чтобы ученики неопустительно бывали у богослужения, и те воспитанники, которые, почему либо, хоть раз, опустят его, подвергаются наказанию, — большей частью им убавляется балл по поведению. В наше же время дело это велось даже так: не бывших у богослужения инспектор семинарии, иеромонах Тихон посылал в столовую казённокоштных учеников, заставлял там молиться и класть земные поклоны во всё время обеда или ужина. Семинарская столовая, — большая, длинная комната. Как только войдут, бывало, ученики и за ними Тихон, или Тиша, как его звали все, — виновные становятся в конце столовой в ряды и начинают креститься и кланяться в землю. Во всё время обеда Тиша ходил вдоль столовой, а виновные отвешивали поклоны. Часто случалось, что, в то время, когда Тихон шёл на другой конец столовой, оборотившись спиной к молившимся, те отдыхали и переставали кланяться. Некоторые проказники наставляли ему носы, а другие с умилением

вздыхали и чуть не на всю столовую зывали: «Боже, милостив буди ми грешному! Прости Господи мою леность!» К этим Тихон подходил и, за раскаяние, отпускал домой, если это был своекоштный, или приказывал сейчас же садиться и обедать, если это был казённый воспитанник. Но нередко случалось и так: идёт Тихон задом к молившимся на другой конец столовой, а вдруг, не дойдя до конца, и повернёт назад. Увидит, что те перестали кланяться, подойдёт, схватит за волосы и начнёт мотать во все стороны, да так, что искры из глаз посыплются. Перетрепавши всех, пойдёт опять отшагивать. Ученики давно уже отобедали, давно сидят, запрятавши и ложки по пазухам и куски по карманам, а Тихон ходит себе, взад и вперёд, да и только. Некоторым, таким манером, приходилось положить поклонов по 150–200, — до одурения. Однажды он одной артели, просто, велел положить по 100 поклонов. Ученики перекрестятся, поклонятся и скажут: «раз!» Перекрестятся, поклонятся, — «два!» Сперва молельщики вели счёт во весь голос, потом тише—тише и перестали молиться. Тихон подходит и спрашивает: «А что ж вы перестали молиться?» — Мы положили по 100 поклонов. — «Аж вы врёте (у него особенный был выговор), начинай с начала, я сам буду считать». — Ваше высокопреподобие! Помилуйте! — «Аж вам говорят: молись!» Отпустил обедавших, и стал сам считать. Училищное начальство поступало ещё проще: там поролы, иногда, на смерть. В семинарии же, у Тихона, если ученик не был только у одного богослужения, положим у обедни, то молился только во время обеда, но если не был у всенощной, то молился и в ужин. Такому наказанию подвергались все без различия, даже ученики богословского класса, люди лет 23–25, которые, месяца через три-четыре, или сами должны быть священниками, или ехать в академию.

Такого кощунства над религией и издевания над людьми ныне, вероятно, нет; но уменьшение баллов по поведению, в сущности, одно и то же. Это заставляет ученика бывать неопустительно при богослужении не из любви и расположения, а из страха и, стало быть, исполняется одна только формальность. И такая формальность отзывается на всей последующей его жизни. Истинная заслуга наставников и начальников наших учебных заведений была бы тогда, если бы они, с передачей юношеству знаний, употребляли все свои силы укрепить веру и внедрить любовь к делу служения в тех, кого готовят они быть пастырями народа и развить любовь к самому народу. Но в первом мы сомневаемся, а второе считаем даже невозможным. Переспросите воспитанников низших, средних и высших учебных наших заведений: у многих ли из них есть евангелие, а тем более библия? Прочли ли они всё это, хоть раз, не для класса, а по внутреннему расположению? Взгляните в книгу библиотекаря: много ли разбирается воспитанниками духовных журналов? Мы крайне сомневаемся, чтобы дело это шло успешно, — как следовало бы.

Бесчеловечно поступая с учениками при приёмных экзаменах, грубо обращаясь с ними в течении всего курса, выгоняя из заведения за каждую малость, за какую-нибудь недостающую 1/8 балла и вселяя, таким образом, только ожесточение и страх, — теплоты сердечной, любви к ближним наши семинарии в своего воспитанника вселить и не в состоянии. Наставник, не имеющий любви и даже снисхождения, конечно, не может сделать сердце его мягким, сострадательным, любящим. Словом: отношения наших наставников к их воспитанникам точно такие же, как и во всех светских, — чисто формальные, официальные. Поэтому и мы поступаем на должности священников с таким же официальным направлением, как

и всякий воспитанник светских заведений на свою должность, а грубое обращение семинарского начальства добивает его характер. Поэтому всякий ученик семинарии неминуемо должен видеть холодным эгоистом, ожесточённым, раздражённым. Я не говорю отнюдь, чтобы все ученики семинарии непременно выходили такими; нет, много людей выходят оттуда с прекрасным, добрым сердцем; но в этом семинарии неповинны, это происходит независимо от них; причиной доброты и мягкости сердца воспитанников — их родители и остатки домашнего воспитания.

Таким образом, чтобы изменить наши отношения к приходам нужно, прежде всего, изменить многое в самом воспитании готовящихся к сану священника.

XLI

Материальные средства к нашему существованию — доходы от требоисправлений. И в глазах нашего начальства, и в глазах общества составилось понятие о разделении приходов на «хорошие и плохие» и, конечно, не в нравственном их отношении, а исключительно по их доходности. Воспитаннику семинарии, не говоря уже о пономарстве, тотчас по выходе его из семинарии, «хорошего» места не даётся. Поэтому у него, если бы он и не знал всех наших порядков, невольно должно составиться понятие о приходах многодоходных и малоходных, — как об арендной, следовательно, статье. О нравственном слитии с приходом, о единении и т. п., тут не может быть и помину.

Поступивши во священника, человек сразу уничтожается: у него нет ни помещения, ни хлеба, ни денег, — ровно ничего. Первой его заботой, неизбежно, должна быть забота о своём существовании. При этом каждый знает, что и впереди его ждёт такая же нужда, как и теперь, что о нём не позаботится никто во всю его жизнь и что в старости его ожидает одиночество и нищета.

Прихожане же каждого нового священника стараются теснить, чтобы сбавить платы за требоисправления. Но одни из священников сами начинают теснить их и вымогать непомерную плату, не смотря ни на бедность, ни на просьбы и слёзы; ведут себя заносчиво, неприступно; другие же, будучи не в силах выбиться из-под такого давления, терпят страшную нужду; третьи, — спиваются. О внутренней связи с приходом и здесь не может быть и речи.

Таков порядок есть и должен быть при настоящей постановке дела: близких, сердечных отношений между пастырем и пасомыми и быть не может.

Но, однако же, нельзя сказать, чтобы не было совсем никаких уже средств к установлению хороших отношений, хотя отчасти. Такие средства есть. Я передам то, как дело это ведётся у меня в приходе.

Лжи и мелочного самохвальства я себе не позволяю. Это было бы и глупо, и не имело бы ровно никакого смысла. Я, — сельский священник, подобных которому в России более 20000; самохвальством добиваться известности из такой массы, где тысячи лучше меня во всех отношениях, значит признавать самого себя умопомешанным; не признавая же себя таковым, я скажу сущую правду.

Трудно встретить таких добрых прихожан, которые с таким почтением относились бы к своему священнику, как относятся мои ко мне: при встрече с крестьянином, я, первым словом, говорю ему раза три или четыре, чтобы он надел шапку. Иначе, говори с ним сколько угодно, он, во всё время, будет стоять без шапки. Иду я или еду по улице и, не говоря уже о том, что все взрослые издали встают и стоят без шапок, — вся мелюзга, — дети кричат мне со всех сторон: «Батюшка, здравствуй!» Иной ребёнок, лет трёх, не умеет ещё выговаривать, а, тоже, кричит за другими: «А! А!» и кланяется. Лошадей своих я не держу, и мне всё возят прихожане. Куплю, например, пятериков пять дров, вёрст за 20 от села, пишу деревенским старостам записки, — и на другой день подвод 80 привезут мне дров; куплю для коров сена, — привезут и это. Вычистить пригороду, куда выпускаются коровы, вывезти со двора снег, которого, случалось, наносило возов до 200, набить ледники и т. п., всё это делают мне прихожане. В прошлом

(1879) году я строился, — и из города, за 45 вёрст, мне вывезли 106 брусьев, известь и проч. — прихожане. Иногда случалось даже так: у меня при доме есть небольшой садик; копаешься, иногда, там, подойдёт мужичок, поглядит на цветники и говорит: «Песочком надо бы тут посыпать!» — Да, говорю, надо бы, да песку-то нет. — «Да разве нас у вас мало! Скажите десятнику, он и нарядит подводы две; а то я вот пойду и скажу старосте». — И на другой день мне возов шесть привезут песку. Перед свадьбами, по крайней мере на половину, идут ко мне за советом: взять ли за сына дочь у такого-то крестьянина, или отдать ли дочь к такому-то? Приколотит пьяный мужик свою жену, — и она идёт ко мне с жалобой. Крайне редки случаи, чтобы пьяный мужик прошёл мимо моего дома, — непременно постарается пробраться где-нибудь по закоулкам, чтобы я не видел его. Толпятся мужики около кабака, иду или еду я, издали увидят все, — и мгновенно все разбегутся. Слово моё в приходе есть закон. Конечно, всё это зависит от доброты моих прихожан; но и я дорожу этим расположением: насколько только возможно, я держусь правила: не ссориться ни с кем, ни при каких обстоятельствах, тотчас исполнять всякое требование каждого и быть, насколько есть сил, строгим к себе. За требы я, лично сам, не беру ничего, всё берёт мой дьякон. Но никогда и никого не теснит и он; поэтому пользуется и он большим расположением и пособиями. Другой священник получал бы, по всей вероятности, доходу втрое больше, чем мы; но мы не думаем, чтобы что-нибудь теряли и мы. Своим трудом прихожане навёрстывают нам то, чего не добавляют деньгами. Для крестьянина выгоднее съездить нам за дровами, чем отдать лишний рубль за требу, а для нас это всё равно. Взятый мною рубль я отдал бы ему же за подводу. Значит, что мы в барышах оба и, при этом, находимся в хороших отношениях.

Но это всё, что делается с моей стороны, о чём сказал я, есть, как бы, отрицательная сторона; положительная же, — в моих с прихожанами беседах. Летом, по праздникам, у утрени в церкви народу у нас бывает довольно много. После утрени я выйду на амвон, просто, без эпитрахили, прочту и объясню евангелие этого дня, прочту ещё что-нибудь, спрошу поняли ли, некоторых прошу и рассказать, что говорил я. В хорошую же погоду выйдем все на крыльцо церкви, — а церковь у нас большая, крыльцо тоже высокое и большое, — сяду, около меня посядутся все, обступят со всех сторон внизу, — я и читаю, и толкую с ними час или полтора. Тут дело идёт у нас запросто. Тут я выслушиваю вопросы и суждения каждого, — мы тут не стесняемся совсем друг друга. Самое же главное: после обедни я объявляю, что я приеду в такую-то деревню. Управившись в церкви со всеми молебнами, крестинами и пр., придёшь домой, напьёшься чаю, закусишь, а иногда и нет, — и поедешь. В назначенном доме меня уже ждут человек 20. Увидят в деревне, что я приехал, соберётся и ещё человек 50, иногда и больше, — и начнётся наша беседа. Тут мы совсем уже свои люди: и я без рясы, и слушатели мои в чём попало. Здесь я читаю, рассказываю, мне делают вопросы, я делаю, — и толкуем обо всём. Иногда говорят мне: недавно приезжали молokane, верст из-за 200, жили три дня и говорили вот что; или скажут: раскольники были и говорили вот что. Я, конечно, объясню на толки тех и других. (В моём приходе сектантов нет.) Тут толкуем мы и о хозяйстве, и о семейных делах, — обо всём. В 1879-м году мне передали даже такие вещи: «На прошлой неделе, говорят мне, шли два мужичка в Киев к св. мощам, чьи-то, говорят, дальние; один из них отбил ноги и они прожили у нас три дня. Всё расспрашивали они, как мы живём, много ли у нас земли, много ли платим податей; всё

жалели, что у нас земли мало (в д. Кувыке), что казённая земля дорого арендаторами сдаётся, что мы бедны. Разговорчивые какие! Скоро, говорили они, всю казённую землю раздадут по мужикам; что всем губернаторам прислана уже от Государя бумага, чтобы раздать всю землю, а податей брать только половину; что в Вологодской губернии всю землю роздали уже по крестьянам, а подати сбавили; что они приходили чрез эту губернию и сами всё это видели. Матвей К. (хозяин дома) сказал им: «Этого быть не может: где же будут деньги брать солдат содержать, чиновникам жалованья давать? Я был и в Турции, в Иерусалиме, — везде подати платят, и солдат держат, и жалованье чиновникам платят». Как они на него прикрикнул!...»

Рекомендую моим собратиям испытать это средство для сближения с прихожанами. Я нахожу это средство лучшим, если не единственным из всех. Не могу скрыть, что дело это очень, даже очень трудное; но в собрании, запросто, без всяких церемоний, видеть в народе эту веру, эту готовность и эту жажду слушать тебя, это доверие, — забываешь всякий труд и умиляешься сам до глубины души. Это лучшее средство и научить чему-нибудь.

Однажды, я, в годовичном отчёте, довёл до сведения преосвященного о своих беседах; преосвященный остался очень доволен ими, сделал распоряжение, чтобы все священники вели такие же беседы и, для контроля, излагали бы их в особых тетрадках, благочинным же вменено было в обязанность просматривать их. Дело приняло официальный вид. Меня за это все батюшки поругали, года два некоторые из них писали поучения, но бесед вели мало. В объезды епархии преосвященный сперва спрашивал у некоторых священников тетради с беседами, но потом перестал и он. Так дело это и пропало.

Другого исхода не могло и быть, потому что излагать на бумаге то, что говоришь и как говоришь, — нет никакой возможности. Поучения и теперь говорят многие, но это не то. Моя беседа, — просто беседа домашняя. Если б изложить в точности, дословно, всё, что и как говоришь тут, так это вышло бы такое произведение, за которое консистория не только что не представила бы к набедреннику, а ещё взыскала бы штрафов пять, по крайней мере. Тут я прочту и объясню что-нибудь из евангелия, побраню мужика, зачем он, да ещё с сыном вместе, ходит в кабак; прочту что-нибудь из св. истории, поговорю об урожае, падеже скота, о том, что нужно чаще ребят мыть, — мы говорим обо всём. Но это: «всё», безобразное, может быть, по форме изложения, лучше всякого «огненного» слова. В этом поверьте мне. Я узнаю тут всё, что делается у меня в приходе и, вовремя, могу подать посильный совет. В подобных беседах до фамильярностей мы не доходим, но мы друг с другом, как бы, роднимся, — это другого рода школа.

Кроме того, пока священник в деревне, ни один крестьянин нейдёт в кабак, боясь, чтоб не сказали ему и он не позвал бы к себе. А перехвативши, так сказать, самое горячее время, — от обеда до вечера, ночью мужик туда уже не пойдёт. Да, эти простые беседы, — великое дело! Но... полнейшая зависимость от приходов, нередкие случаи злоупотребления неприязнательностью моего дьякона, плата за требоисправления и пр. отравляют всё дело, пуще всякого яда...

После этого можно только сказать: несчастны те люди, которые, даже при всём своём желании, не могут выполнить своего долга!...

XLII

Благочинным, большей же частью, их помощникам, нередко поручается делать справки по церковным документам, дознания и производства следствий.

Какой-нибудь мещанин просит выдать ему метрическое свидетельство, для утверждения его в правах наследства. Консистория, не справляясь с метриками, имеющимися в её архиве, предписывает благочинному или его помощнику сделать справку по церковным документам, и представить ей со своим удостоверением, что представляемая справка с церковными документами верна. Нередко случается, что село, где нужно взять такую справку, находится от благочинного или его помощника верстах в 70. Предписывать духовенству выслать справку к нему благочинный не может, так как он сам должен видеть документы, чтобы засвидетельствовать её точность, он должен ехать туда сам. Но так как подобных дел бывает множество, и часто случается, что съездивши в село, дня чрез два—три, приходится ехать туда же опять, то благочинный и не торопится ехать. Чрез месяц консистория подтверждает: «Поспешить представлением справки». «Ну, думает благочинный, делать дело не так легко, как предписывать! У меня ещё сено не убрано; оно может погнить; и это будет стоить мне больше 100 рублей. Жнецов или косцов артель, — я за ними глядеть должен, — дожди, зимой вьюга, метель... Ехать нет возможности. Если эта справка консистории нужна непременно, неотложно, то метрики у неё под руками». Чрез некоторое время консистория опять: «Представить справку с первой отходящей почтой, в противном случае...» Чуть не виселица! Благочинный нанимает на свой счёт лошадей до первого села, там духовенство нанимает до второго, там — до места, где

нужно взять справку. Приезжает благочинный, прикажет сделать в три строки выписку из метрики, посмотрит саму метрику, — и домой. Местное духовенство нанимает ему лошадей до ближайшего села, там до следующего, а тут — до места жительства благочинного.

Таким образом то, что можно было бы сделать в консистории в 10 минут, тянется целые месяца, консистории обременяют перепиской и себя, обременяют и вводят в хлопоты и расходы и благочинных, и духовенство совершенно невинно, Бог знает из-за чьего дела.

Жителю С.-Петербурга трудно понять наши порядки и, вообще, горожанин не поймёт их. Чтобы уяснить себе наши порядки разъездов по делам службы, представим это нагляднее. Представим, что какому-нибудь мирному гражданину, живущему своим трудом где-нибудь около Невской Лавры и никогда не помышляющему о судопроизводстве, велено сделать дознание близ института горных инженеров. Ему приказали, — и он, не зная, как и приняться за порученное ему дело, бросает все свои домашние занятия, единственное средство к его существованию, — нанимает извозчика и едет до Знаменской гостиницы. Является в гостиницу, там предлагают ему стакан чаю и лёгонькую закуску, но он, не заплативши ни за что денег, требует, чтоб ему наняли извозчика до дома Белосельской-Белозёрской. Здесь заезжает в чей-нибудь дом, отрывает хозяина или управляющего домом от дела, и требует, чтобы его довели до Казанского собора. (О конной железной дороге мы не говорим потому, что они лежат не по всем улицам Петербурга.) Здесь заезжает хоть в дом Корпуса и требует лошадь до Конногвардейской улицы. Там заедет в дом духовенства Исаакиевского собора и требует лошадь до академии художеств. Отсюда требует лошадь до Горного институ-

та. Здесь, сделавши своё дело, он требует, чтоб хозяин дома довёз его обратно до академии художеств, оттуда до дома Исаакиевского духовенства, и так далее, — до своей квартиры — к Лавре. В то же время назначают лицу влиятельному, могущему сделать всякому какую-нибудь гадость, произвести следствие. Лицо это живёт на Обуховском проспекте, положим хоть в доме Жукова, а следствие произвести нужно около Семёновских казарм. Этот следователь, как начальство, едет уже не так: в счёт подчинённых, своих сослуживцев, нанимает карету и едет на Лиговку в д. Воронина. Не обращая внимания, — днём ли это, ночью ли, — он взбудоражит весь дом, потребует чаю, водки, закуски, взятку и карету до дома В.А.Полетики на Литейном проспекте. Оттуда ударит на Самсоновский проспект в д. Васильева; от него к Тучкову мосту на Петербургскую сторону; отсюда на Каменный остров; с Каменного к почтамту, отсюда уже к Семёновским казармам. Проживши на следствии дня два, он отправляется в Кушелёвку, там — в Лесной институт, оттуда на Чёрную речку и т. д. и т. д. Исколесивши весь Петербург и обеспокоивши 40–50 домов, он возвращается домой с набитыми животом и карманами. Чрез два-три месяца, а может быть и два-три дня, в эти же дома вваливает другой, подобный этому, следователь, там третий и — без конца. Что сказали бы жители Петербурга, если б у них были такие порядки? Что сказали бы они, если б все члены полиции, мировые судьи, экстренные и обыкновенные судебные следователи так беспокоили мирных граждан столицы? Такие порядки, прямо, невозможны, скажет всякий. Это были бы не порядки, а неурядица, какой не может быть не только ни в одном благоустроенном государстве, но даже нигде, во всём свете. И действительно, этого и нет нигде, во всём свете, кроме нас, православного русского духовенства! Такие порядки

возможны именно только у нас одних. У нас: назначают рядовому священнику произвести следствие или сделать дознание, — он, несчастный, не зная, как и приняться за порученное ему дело, бросает дом, приход и хозяйство, нанимает от себя лошадку и едет до ближайшего села. Там напоят его чайком и дадут лошадёнку до следующего и т. д. Через несколько дней он, голодный, возвращается тем же путём домой и, убитый нравственно, отсылает консистории результаты своей поездки. Нередко случается, что, за неполноту следствия, получает выговор и снова едет для дополнения. Но если едет великое начальство, — благочинный или, и того горше, член консистории, в роде Дмитрия Акимовича Крылова, то тут уже не то: тут взбудоражится всё, — всех поднимут на ноги и, — день ли это, ночь ли, здоровы ли в доме, больны ли — всё равно, хозяин гостя ублажи, упой, накорми, в карман ему положи, тройку лошадей дай, самого в экипаж уложи и — распрощайся. После таких гостей хозяева, обыкновенно, не скоро приходят в нормальное состояние. Если едет благочинный, то он едет, по крайней мере, по прямому направлению; но если он в роде Д.А.Крылова, так он и исколесит всю епархию, — и везде нужно, даже вынуждено духовенство, принять, угостить, дать и за подводу заплатить 3–4 рубля. Да, скажем опять: это у нас только и возможно! Как это ни нелепо, как ни бессмысленно, как ни тяжело духовенству, как ни грустно всё это, — но это считается у нас порядком, — что это так и быть должно...

Но мы, начальство, широки только между своими, духовными: крестьяне, привыкшие, по старым традициям, смотреть на чиновника, как на притеснителя, беспрекословно исполняют его приказания, только боясь палки; наши же требования они исполняют только после долгих и многих хлопот с нашей

стороны: при наших следствиях много приходится употреблять хлопот, чтобы вызвать к себе мужика к допросу.

Из множества таких дел, скажу об одном. Однажды, летом, только что приехал я домой из села за 65 вёрст, куда ездил я из-за метрической справки, как получаю указ ехать туда же опять, по делу о пропуске по метрикам одного мужика, у которого сын подлежал отдаче в солдаты. Я нанял лошадей за 3 рубля и поехал до ближайшего села. Там духовенство наняло лошадей до следующего, оттуда — до места следствия. Я нарочито приехал в праздник, чтобы застать крестьян дома. Священник уехал в город, а крестьяне, хотя были и не в поле, но, за то, все в кабаке. Несчётное число раз посылал я и дьячков, и церковного сторожа и за сотским, и за десятником, и за старостой, — нейдёт никто, да и только. «Нам, говорят, не до поповских дел, у нас свои дела, поважнее ихних». Ночью приехал священник, до света ещё послал за старостой, — и крестьяне явились все, кроме одного, который до света уехал в поле. «Что вы, говорю, не пришли ко мне вчера? Ведь напрасно только задержали и меня вчера, и себя теперь». — «Да признаться, все были выпивши, идти-то к вам и стыдно было». Крестьянин, уехавший в поле, был мне нужен. Я послал за ним причетника отыскать его в поле. Но крестьянин не хотел бросить своей работы, и явился ко мне поздно уже вечером. Кончивши дело, я еду обратно домой: местный причт нанимает мне пару лошадей до ближайшего села, в этом нанимают до следующего, там — до моего дому. Таким образом моя поездка, из-за чужого дела, духовенству, ни в чём неповинному, стоила 14 рублей, а мне 3 рубля и четыре дня времени. И это случится в течение года не один раз...

Производство следствий поручается, большей частью, частным священникам, — кому-нибудь из ближайших к под-

судимому. Но если и мы, старые благочинные, нередко путаемся при следствиях, то рядовой священник, никогда и не помышлявший о производстве их, не знает, большей частью, как к делу и приступиться.

На месте следствия, прежде всего, нас затрудняет квартира. Останавливаться на общей чиновничьей взъезжей квартире нам неудобно, так как туда, во время следствия, могут приехать гражданские чиновники по своим делам и мы стали бы мешать один другому. Поэтому следователь останавливается, обыкновенно, в церковной сторожке. Формально известивши тяжущиеся стороны о своём приезде, просит отвести ему квартиру, по обоюдному согласию сторон и выслать туда депутатов. В этой переписке проходит день, а иногда и больше. При производстве следствия случалось, и не раз, что иной сутяга ни за что не даст ответа ранее трёх суток. А там: то того крестьянина нет дома, то другой нейдёт. Бьёшься-бьёшься, иногда, уедешь домой и просишь полицию и волостное правление обязать подпиской нужных ко спросу крестьян явиться к известному дню. Полиция и волостное правление вышлют подписки, приезжаешь, — а крестьяне приезжать, на место следствия, и не думали. Побьёшься дня четыре, и опять уедешь домой. Однажды, мне привелось прожить на следствии более трёх недель, по самому пустому делу. Долго бьётся следователь; тяжущиеся стороны, во всё время производства следствия, молчат; наконец, закончишь дело и предъявляешь им его. Те в подписке, излагают всё, что находят нужным для пополнения. Большая же часть пишет только, что противозаконных действий, со стороны следвателя, ими не замечено. И дело представляется в консисторию.

Если следователь не сам лично представляет свою работу в консисторию и не переговорит наедине со столоничальни-

ком, то штрафа ему не избежать: или записка составлена неполно, или листы тетради не перенумерованы, или белый полулистик угодил между писанными, или спрошено лицо под присягою, тогда как приводить его к присяге не следовало; или, наоборот, спрошено без присяги, тогда как следовало бы спросить под присягою; или не спрошено лицо совсем, тогда как показание его оказывается нужным и т. п. За всё это следователя штрафуют. Правда, ныне порядки эти изменились несколько к лучшему: ныне, по крайней мере, укажут в чём неполно следствие и чем дополнить его, хотя и оштрафуют, или сделают выговор; но прежде делалось так: представишь следственное дело, а тебе возвращают его, и пишут: «Так как следствие неполно, то консистория приказали: дополнить его нужными сведениями». Но чем дополнить, — понять не можешь. Поедешь опять, сделаешь спрос одному кому-нибудь, — почти, кто попадёт под руку, — отошлешь дело в консисторию, пятишницу столоначальнику, — и выйдет всё и полно, и по форме сделано. Ныне этого уже нет.

В решении дел нельзя похвалиться особенной скоростью; но если, при обсуждении дел и в окружных наших судах, где суд «скорый и милостивый», подсудимым, часто, приходится сидеть в острогах, неповинно, до решения дела, целые годы, — при новом, организованном судопроизводстве, — то нам тянуть дела и Бог простит, на нас нельзя и взыскивать. У нас, и действительно, дела решаются не скоро, особенно если канцелярские чиновники видят, что около просителя можно малой толикой поживиться. Находчивость, чтоб протянуть дело и вытянуть какой-нибудь двугривенный, бывает, иногда, замечательная, хотя, конечно, всё это крайне грустно. Однажды, прихожу я в консисторию и, вместе со мной, подходит к столоначальнику Г. старушка, вдовая священническая жена, и

просит его написать ей поскорее билет в Киев. «Ваше благородие, взывает старушка, сделайте милость! Я хожу ведь третью уже неделю...» Столоначальник вскочил, как с горячей сковороды, обращается ко мне и говорит: «Послушайте, отец благочинный! Она просит билет в Киев!...» И, при этом, с жаром, вытянул руку в сторону. — «В Воронеж!...» И протянул другую руку, в другую сторону. — «В Москву!...» И указал в третью сторону. «Видите куда! Да и дай ей сейчас билет!... Пошла прочь!»

— Ваше благородие!

— Тебе говорят, что этакого дела сделать скоро нельзя! Россия велика.

И это говорилось таким тоном и с такими жестами, как будто ему приходилось ходить за ней самому по всей России.

— Ваше благородие!

— Нужно ещё запросить по всем столам, нет ли за тобой дел!

— Какие же за мной дела? Пожалуй, запросите.

— Надобно запросить и градского благочинного, ты здесь давно шляешься; может быть, что-нибудь в городе наделала, что и билета дать нельзя!

— Что ж, пошлите чиновника и к благочинному, спросите и его.

Один из писцов огрызнулся: «Собака тебе чиновник-то, будет бегать за тебя по городу!»

И пошла, несчастная, в свой угол.

Следователь представляет дело со своей запиской. Столоначальник читает дело и записку следователя и по ним составляет свою записку. Но привычка не обращать внимания на положение людей много приносила горя людям, состоящим

под судом. Человек, например, лишён места, ни он, ни семья его не имеют куска хлеба, угла, куда преклонить голову, — а столоначальник, рассматривающий дело, тянет целые месяцы из таких пустяков, которые, положительно, не имеют значения. Из множества известных мне случаев скажу об одном. Священник Ж. удалён был от места. Бедняк и без того, он более месяца ходил в консисторию и умолял столоначальника Г. приняться за рассмотрение его дела. Обобравши его до нитки и опивши раз десять, Г., наконец, взял дело в руки, стал перелистывать и видит, что следователем не приложено записки, — извлечения из дела. — «Записки нет, оборотить к следователю для составления записки», завопил столоначальник! Насилу товарищи его, другие столоначальники, могли уговорить его не волочить дела и сжалиться над несчастным Ж., и то под тем условием, что один из столоначальников взялся составить записку сам, — вместо следователя.

Сказать к слову: Г. за время своей долголетней службы так набил руку на взятки, что, однажды, не дал спуска даже своему родному отцу.

Однажды отец его, дьячок, перемещался в другой приход и должен был взять в его столе переместительный указ. Дня четыре отец ходил в консисторию, и сынок всё отговаривался, что дела по горло, указ писать некогда. Наконец, приходит отец, сынок встал и говорит: «Ты, тятинька, я вижу, хочешь выехать «на сухих»! У меня положено три целковых за переместительный указ; борозды не порть и ты; а то, на тебя глядя, и другие не станут давать. Ты, тятинька, не обсевок в поле, три рубля выложь!»

— Ах ты!...

— Ты, тятинька, не ругайся, а то секретарь услышит, велит тебя вывезть, и мне будет стыдно за тебя.

Отец поругал-поругал да и отдал три рубля, а сынок вынул из ящика приготовленный уже указ.

Что Г. был негодяй, — это ещё ничего бы, негодяев много везде. Но странно, даже обидно, то: неужто отцы члены консистории не знали, что между их столоначальниками есть такие негодяи!...

В прежнее время столоначальники рассматривали следственные дела, и они же писали и самые решения. Членам консистории приходилось только списывать и исправлять грамматические ошибки столоначальников. А недавно умерший член консистории В.И.Жуков, в начале своего членства, как только дело, мало-мало, серьёзное, то возьмёт его на дом и отправляется с ним к благодетелю своему, помещику-дельцу Протопопову; тот напишет ему мнение, Жуков перепишет и несёт в консисторию.

Теперь дела изменились к лучшему, нет спора, но, однако же, до сих пор консистории решают все дела, основываясь исключительно на том, что есть в следственном деле. Они не требуют никаких личных объяснений или разъяснений дела, не входят в обстоятельный рассматр причин того или другого поступка; пред ними исписанная бумага, — и по ней решается участь человека, тогда как полагаться исключительно на эту бумагу крайне сомнительно, потому что следователь, если не имеет возможности дать вид следствию совершенно по своему произволу, то всегда может или сгладить, или увеличить значение вины подсудимого. И на этих-то, неверно выставленных, фактах основывается решение дела. Скажу об одном случае из собственной практики.

В одной из деревень С. губернии жил помещик, некто В. Оставшись малолетним после отца, он лет 5–6 потолкался около гимназии, записался в канцелярию губернатора, полу-

чил чин, — и зажил на славу. Слишком более 12 тысяч рублей он проиграл в карты, однажды, в день похорон своей матери. Неразлучными друзьями и спутниками во всех кутежах и безобразиях его были особенно два члена провиантской комиссии С. и Д. Однажды компания друзей, человек в 15, ввалила в театр, в то время, когда народ выходит уже из него, вошла в ряды кресел и В. закричал: «Тысячу рублей! Начинай с начала!» Компания подхватила: «Мы даём другую тысячу, с начала начинай!» И, минут через 15, занавес поднялся. В середине второго или третьего действия В. заорал: «Довольно! Иди все в Барыкинскую гостинницу!... По тысяче рублей на рыло: пляши русскую, в чём мать родила!» И каждое рыло получило по 1000 рублей.

О В. можно было бы сказать многое, но я скажу только это, чтоб дать понятие, что это был за господин.

Рядом с В. по имению жил некто старик В.П.И. Это была знаменитость другого рода. О нём, тоже, нужно сказать слова два-три.

В селе Г. жила старушка-барыня К. Это была, как две капли воды, Гоголевская Коробочка, но только барыня была богатая, хотя и безграмотная. Я был у неё в доме раза три, и знал её хорошо. У неё был дочка Машенька, и такая же простенькая, как её матушка, как она звала её.

По какому-то случаю родственники покойного мужа К. стали отбивать у неё часть имения, — село, крестьян и земли около 2000 десятин. Переполошилась старуха, и поскакала в город С. Там сказали ей, что дело её пропащее, и что помочь ей может разве один только П., как известный делец. Она к нему.

— Отдайте за меня Машеньку, и в приданое село Н. Иначе отобьют его!

— Помилуй, отец родной! Ты и не из дворянского роду, и старик, возможно ли это! Бери денег, сколько хочешь, а Машеньку не отдам.

— Ну, как знаешь!

Ходоком с противной стороны был он же; П.И. имение отбил. Барыня в отчаянии скачет опять в С. и бросается к П.

— Бери за себя мою Машеньку, бери всё, но отсуди вотчину! Пропадай всё, лишь бы только не досталось им!

Снова П. начал будоражить дело, снова началась бесконечная переписка, — и суд решил возвратить имение К. Прилетает П. с радостной весточкой к наречённой своей теще: «Ну, говорит, теперь дело за свадьбой! Дело наше порешено, велено имение возвратить вам...»

— Нет, В.П., бери денег, сколько хочешь, а Машеньку за тебя не отдам!

Поспорили, покричали, и расстались.

П. поднимает снова дело, и имение отбил. Прилетает старуха к П.

— Что ты, изверг, кровопийца, сделал со мной! Опять отбил!

— Отбил. Отдай Машеньку, всё твоё опять будет.

— Ну, бери, кровопийца!

— Нет, теперь уж не обманешь. Давай сперва повенчаемся.

Побилась-побилась старуха, да и выдала свою Машеньку.

П. начал дело снова, долго тянулось оно, но, наконец, всё-таки, имение отбил, и сделался помещиком села Н. Напротив церкви он выстроил хороший дом, отделал два запущенных сада и развёл пчёл. В конце 1840-х и в начале 1850-х годов в

этом селе был священник некто Д., мужчина грубый до крайности. Однажды, рой барских пчёл и привейся на колокольню. Поп с лукошком, барин с роевней туда! Один кричит: «У меня улетел, — мой!» Другой орёт: «Ко мне привился, — мой!» — Да и сцепились... Оба были высокого роста, здоровенные, но только священник, по летам, годился барину во внуки. Долго ломали они рёбра друг другу; наконец, священник, как-то, изловчился, да и пырнул барина взашей с лестниц, — и завладел роем.

Не желая простить такой обиды священнику и, вместе, не желая компрометировать себя из-за роя, П. и подговорил соседа своего В. подать на него прошение и требовать вывести его из прихода.

В. подал прошение такого рода (дословно): «Священник Д. несвоевременно крестит, несвоевременно венчает, несвоевременно хоронит, несвоевременно служит обедни и несвоевременно исправляет требы. Поэтому покорнейше прошу, ваше преосвященство, вывести его из нашего прихода». Мне велено было произвести следствие.

Кляузы неприятны какому бы то ни было следователю, не люблю их и я. Но тут жалуются на священника такие люди, в которых, самих-то, нет ни стыда, ни чести, ни совести... И я положил себе, ещё заранее, оправдать его во что бы то ни стало, хотя бы даже и оказались за ним какие-нибудь проступки.

В. выслал мне своего старосту депутатом, с барской печатью. Но, к счастью священника, у старосты была в это время, какая-то родственная свадьба; я в первую же ночь отпустил его погулять, чему он был радёхонек. Утром он пришёл ко мне в квартиру пьяный, и весь день проспал. Ночью я отпустил его опять, — и так целую неделю. Он отдал мне свою печать, — и я

писал, что знал и прикладывал её, где нужно. Священник вышел у меня чуть не святым. Правда, что за ним не было никаких важных проступков; он только, вообще, грубо по временам обращался с прихожанами и иногда заставлял по долгу ждать себя при требоисправлениях.

По следствию консистория нашла священника невинным и оставила на прежнем месте.

Я, конечно, не единственный в мире следователь, который не ставил каждого слова в строку. Множество следственных дел, и по более важным делам, которые производятся несравненно ещё более пристрастно. Консистории же, не имея под руками ничего, кроме исписанной бумаги, по необходимости должны решать многие дела несправедливо, по несправедливо произведённому следствию, — это неизбежно. Будь гласное судопроизводство, тогда и следователи были бы осторожнее, и дело выяснилось бы точнее, и решения были бы справедливее. Теперь же у нас много значит и личное отношение судей к подсудимым, и потому случается иногда: консистория решит дело так, а Св. Синод, при беспристрастном обсуждении всех обстоятельств, перерешает совсем иначе. Нам, например, известен такой случай: один священник повенчал солдатку вторым браком по удостоверению полиции о смерти её первого мужа. После оказалось, что муж её жив. Консистория определила послать его на четыре месяца в монастырь, Св. же Синод определил сделать ему за неосмотрительность замечание, — и только. Правда, что и в гражданском гласном судопроизводстве существует не даром целая лестница судебных инстанций, и на каждой ступени дела решаются по- своему; но думается, что при открытом судопроизводстве менее бывает ошибок в решении, чем при закрытых дверях, — втихомолку. Будь закрытый суд и самый справедливый, он

всё-таки внушает к себе недоверие, даже при всём беспристрастии его и всём желании судей быть справедливыми. Прежние злоупотребления глубоко залегли в душу и память о них изгладить не легко. А если что-нибудь всплывает наверх и ныне из старой закваски, то бывает даже обидно пред другими сословиями.

В прежнее время бывали и такие случаи, что, при решении дела, все обстоятельства, служащие к обвинению подсудимого, выпускались и выставлялись одни лишь оправдывающие его — и подсудимый выходил чист. Бывало и наоборот. То и другое делалось смотря по особым обстоятельствам. Один, например, следователь писал показания от крестьян об их дьяконе такого рода: первый крестьянин показывает: «Отец дьякон наш, хотя и шибко выпивает, но он человек смиренный и худого про него я сказать не могу ничего». Другой говорит: «Отец дьякон наш, хоть иногда в кабачке и повздорит с кем, пожалуй и подерётся, но на нетрезвом человеке взыскивать нельзя. В службе же он хорош, голосистый, служит каждую обедню». Третий: «Наш отец дьякон предобрейший человек; он запросто обходится с малым ребёнком; хлебосол такой, что людей таких мало. На праздник иди к нему все. Обнимется с нашим братом, запросто, да по улице и пойдёт закатывать песни. Не отставай, говорит, ребята, валяй! Простой человек, что людей таких мало» и т. п. Консistorия в записке своей означила: «По показанию прихожан дьякон N. человек смиренный, про которого ничего худого сказать нельзя; в службе хорош, имеет хороший голос, служб церковных не опускает, человек предобрый, обходительный, хлебосол» и пр., словом: дьякон вышел, хоть в святцы записывать — и таким образом мало того, что оставлен на месте без всякого наказания за безобразия, но ему дан повод ещё к худшим безобразиям.

В одном селении ближайшей к Саратову губернии прихожанин подал прошение на священника, что тот взял с него за свадьбу 5 рублей и что он, священник, вообще теснит прихожан при требоисправлениях. Консистория предписала благочинному сделать дознание. Все прихожане единогласно одобрили священника и обвинила крестьянина. Консистория потребовала запись братских доходов и положила определение такого рода: «Из представленной благочинным записи братских доходов причта села N. видно, что причт берёт за все обязательные требоисправления, как-то: крещение, брак и др., так под числом... значится: получено за свадьбу с крестьянина NN. 3 рубля, за крещение... и пр. Но так как в указе св. Синода... изложено, что Государем Императором Высочайше повелено воспретить брать за обязательные требоисправления, то консистория приказали и его преосвященство утвердил: оштрафовать причт села N. десятью рублями подоходно с внушением, что причтам разрешается брать плату только за запись браков, крещения и других таинств в метрические книги, но не за совершение самых таинств».

Нам известен и такой случай: при спросе благочинным о поведении одного дьякона, все крестьяне под присягой показали, что дьякон их N. поведения не хорошего. Благочинный и пишет: «Крестьянин А. показал, что дьякон N., поведения не хорошего. Крестьянин Б. показал то же, что и А. Крестьянин В. показал то же что и А. Крестьянин Г. показал то же, что и А.» И так 24 человека. Частицу не он нарочито от слова хорошего отставил и потом на неё, как будто ненарочно, чернилами капнул. И вышло таким образом, что дьякон N. поведения хорошего.

Будь гласное судопроизводство — такого мошенничества не было бы.

Вообще же у нас имеет большое значение, при решении дела, то, если подсудимый лично попросит о своём деле всех служащих в консистории, начиная с писца.

XLIII

Благочинные и простые рядовые священники бывают депутатами и при производстве следствий гражданскими чиновниками.

В начале 1850-х годов, около Саратова, развились грабежи и разбои до того, что не было ни проходу и ни проезду ни днём, ни ночью. В одно лето, в это время, было ограблено три церкви, ближайšie к городу моего округа и, при одной из них, зарезаны сторож и жена его, при другой зарезан сторож и при третьей сторож убит. Так как совсем не было проезда и не было покоя окрестным деревенским жителям, то во многих местах, около города, по дорогам были поставлены пикеты из казаков; но казаки, как говорили тогда, грабили ещё больше, так что пикеты их были скоро сняты.

Саратов стоит на правом берегу Волги, окружённый высокими горами с обрывами, глубокими оврагами, поросшими лесом и густым кустарником. Ущелья гор всегда были притоном всякого сброду. Все знали, что и теперь грабители скрываются там же, но найти их было не легко, потому что и горы и лес идут широкой полосой и, кроме того, караульщики садов и раскольничьи скиты по ущельям гор всегда, волей-неволей, укрывали бродяг и оказывали им содействие. Чтобы найти их, взято было две роты солдат и более 3000 мужиков из окрестных селений, и сделана облава. От начала гор, — мужского монастыря, — облавщики растянулись вёрст на 10, к селу Разбоевщине (по другую сторону гор, под лесом) и пошли по горам и оврагам, по направлению вдоль (вниз) Волги. Возов 10 найдено было по оврагам разного хлама: крестьянских полубубков, чапанов, рубах, сарафанов и т. под. и даже такого тряпья, которое годилось разве только на бумажные фабрики;

но людей не найдено никого. В одной только избёнке захватили одного человека, который, увидя народ, бросился в окно, но завяз в нём, — и был пойман. В село Разбоевщину (по преданию: разбойничий стан) привезли всё, найденное в лесу, привели пойманного человека, и прислали за мной, как за благочинным, для присутствования при снятии показаний от пойманного. Приезжаю и вижу огромные кучи разного хламу; исправник Серапион Петрович Васильев, становой пристав, чиновник, не припомню теперь, кто он был, и писаря делают опись хламу. Исправник и пристав были со мной коротко знакомы. Тотчас при мне вывели из конюшни закованного по рукам и по ногам арестанта. Арестант, — это был такой богатырь, что я не видывал в жизнь свою, — ни прежде, ни после, — ничего, даже подобного: целой четвертью выше трех аршин ростом, плечистый, мускулистый, и с умным лицом, гордой осанкой, — это слон перед нами! Лапища, — два кулака самых здоровенных мужиков, не стоили одной его лапы. Глядеть любо, что за мужчина. Немудрено, что такой великан завяз в окне караулки! Въезжая квартира, где мы были, состояла из двух изб, соединённых общими сенями. В переднюю вошли мы, туда же ввели и арестанта, за ним вошло человек двадцать десятских. Исправник был человек маленький, кругленький, совершенно безволосый и по пояс арестанту.

— Ты, скотина, кто такой? — спрашивает исправник арестанта.

— Я человек, а не скотина.

— Мы все люди, и я человек. Тебя спрашивают не о том.

— Ну, ты человек! Какой же ты человек! Если я скотина, то ты крысёнок, да ещё бесхвостый!

Вспыхнул, вспрыгнул исправник, поднял кулачишки и забегал около него: «Убью, убью!» Уморительно было смотреть: ну, точно шпанский петушишка ерошился около гуся! Бегает, кричит: «Убью!», а тот стоит посматривает на него вниз и ухмыляется.

— Слушай, исправник что ли, кто ты там такой, я не знаю, но я говорю тебе: если ты ударишь меня, то я так щёлкну тебя, что ты в другой раз не ударишь уже никого!

Арестант говорит, а тот себе петушится: убью, убью! Насилу-то, наконец, угомонился блюститель порядка, сели и стал спрашивать: кто ты, откуда и пр., но на все вопросы был один ответ: «не помню».

Васильев и говорит нам: «Теперь до вас дела нет, пожалуйте в ту избу». И мы, все трое, ушли в ту избу, что через сени.

Слышим: у исправника возня: стук, треск, крик, а визг исправника покрывает всех: «Ломай его, крути!...» На минуту всё умолкло и вдруг отчаянный, крепкий голос: «А!... А!...» Потом минут на десять всё смолкло. Приходит писарь и просит нас к исправнику. Входим, и исправник читает нам, что арестант объявил, что он беглый солдат NN полка, зовут его...

— Я тебе не говорил ничего! А я всем вам заявляю, что исправник велел повалить меня, сам надел мне на голову петлю из верёвки и палкой стал крутить её. Я свету Божьяго не взидел, глаза повыскакали-было, голова чуть не треснула. Вот он рубец-то какой на лбу. У меня голова болит теперь на смерть. Он удушил было меня, я заявляю вам, я буду жаловаться. Может быть что-нибудь в беспамятстве и сказал, я не помню, но я не беглый солдат.

Исправник опять затопал, запрыгал, и потом говорит нам: «Ну, теперь я допросов делать ему более не буду; теперь

поговорю с ним так, наедине, а вы ступайте все в ту избу». Но лишь только мы все вышли, как за нами изнутри тотчас заперли дверь.

Не успели мы войти в избу, как у исправника поднялась возня опять. С полчаса была возня и раза три были отчаянные крики арестанта. Потом всё смолкло и слышно было только: «О!... О!...» Около квартиры нашей толпилось всё село. Спустя час писарь позвал нас к исправнику. Входим, — арестант сидит в углу, весь в крови, привалившись к стене.

— Смотри, отец, что исправник сделал со мной; гляди-ко руки и ноги! Он велел стянуть мне руки верёвкой, выше локтей, назад и крутить палкой. Руки впереди в кандалах, и он крутит их назад. Совсем переломал было кости.

— Врёшь, никто тебя не крутил!

— Молчи, исправник, я говорю со священником, перебивать меня при нём не смеешь, и бить при нём не смеешь. Вы, батюшка, не уходите от меня, пока я здесь; он удушит меня. После этого десятские развязали меня и верёвкой втащили на перекладину палатей, положили животом поперёк бруса, привязали вон эти чурбаки к ручным и ножным кандалам и вытянули все мои жилы. Головой вниз, с чурбаками на руках и на ногах, у меня свет помутился. Я думал, что тут мой и конец. Я буду жаловаться, и заявляю вам.

— Врёшь, разбойник, я не трогал тебя!

— А кто же мне вытянул и руки и ноги, откуда эти рубцы? А кровь-то из носу полила от чего? Видишь, я весь в крови?

— А ч... тебя знает от чего! Может быть тебе поломали и руки и ноги на разбое.

— Руки и ноги рвут разбойники, а не разбойникам.

Я отзываю исправника в другую избу и говорю ему: «Да, вы, любезнейший, что делаете? Пытаете? Вас за это самих пошлют протоптать ту же дорожку, по которой пойдёт этот арестант, да и мне достанется с вами. Я сейчас уеду и донесу, что я здесь вижу и слышу».

— Я не пытал, он, мерзавец, врёт.

— Наедине со мной вы этого не говорите.

— Да как же допытать его? Он ничего не говорит, только и твердит: знать не знаю, ведать не ведаю!

— Не говорит, так и не трогайте его; предоставьте допросить другим. Может быть за ним есть такие дела, за которые его следует расстрелять. Так и будет он рассказывать вам?

Я вышел, и тотчас же велел закладывать лошадей. Арестанта тотчас же увели в конюшню и, пока закладывали мне лошадей, отправили в острог. Я поехал домой, а исправник за арестантом, в город, жаловаться на меня преосвященному.

В первой же почтой преосвященный (Афанасий Дроздов) вызвал меня, не принял от меня никаких объяснений и, за то, что я вмешался в действия полиции, задал мне здоровую гонку.

Жаловался ли арестант на пытку исправника, или нет, — я не знаю; но меня официально об этом никто не спрашивал. Лет чрез 9, потом мы с этим исправником ездили по сёлам объявлять Высочайший манифест 19-го февраля 1861 года.

В Самарской губернии, по берегам р. Иргиза некогда было много раскольничьих монастырей. Места эти считались раскольниками святыней. В одном месте, по берегам одного довольно большого озера, стояло два монастыря, на одном берегу мужской, на другом женский. По принятии некоторыми монастырями единоверия и по закрытии совсем других,

землёй стал владеть город Николаев. Город сдал озеро купцу для рыбной ловли. В первую же тоню, как запустили невод, вытащили шестнадцать, объединенных раками, ребят. Назначено было следствие, прибыло временное отделение, от духовного ведомства назначен был депутатом благочинный Н.Ф.П. Все следователи поместились в женском монастыре. Дело было летом. Долго жили следователи, много делали и, как-то, однажды вечером, вышли все на крыльцо подышать чистым воздухом, поболтать и закурить трубки, закурил и благочинный. Как увидели преподобные матери благочинного с трубкой, так и всполошилась вся обитель. На другой же день матушка-игуменья послала жалобу к преосвященному, что благочинный осквернил святыню, — и благочинный тотчас же был удалён от должности.

XLIV

Униженное положение священников горько отзывается на их характере. Городской священник, не смотря на его внешний лоск, приличную церковную квартиру, знакомство с людьми средних слоёв общества, — терпит такие же унижения, как и сельский: он также ходит по дворам прихожан и, под видом молитвословий, выпрашивает подаяния; также под его носом хозяева запирают двери, и хохочут, смотря в окна; также терпит выговоры и платит консисторские штрафы, как и всё остальное духовенство, — он унижен всеми. Но как только делается он членом консистории, то тотчас же заявляет духовенству, что он теперь уже не то, что был он, — что он теперь власть, и имеет возможность и карать и миловать, как ему угодно. И, если не первая, то одна из первых подписанных им бумаг, будет с выговором или штрафом. Долго, потом, практикуется он над выговорами, штрафами и самыми нелепейшими придирами и потом уже, после многих лет такой практики, начинает постепенно, мало-помалу, утихать и приходить в состояние обыкновенного формалиста.

Очень может быть, что некоторые осудят меня за резкость слова, в таком случае я скажу, что я имею право сказать что осуждающий меня не знает нашей организации и наших распорядков. Будьте тем, чем мы, то хоть кого возьмёт горе и не удержится от резких выражений. Представьте себе какое-нибудь министерство, где, кроме самого министра и директоров департаментов, — начиная с вице-директоров и кончая швейцаром, — были бы штрафованы все до единого, — все без исключения! Есть ли такое учреждение или присутственное место, где были бы штрафованы все, и проскользнул бы разве, как-нибудь, какой-нибудь один бабушкин внучек? Конечно,

этого нигде нет и быть не может. Действительно этого нигде и нет, потому что это возможно только у нас. У меня, например, в округе, начиная с меня, — благочинного, и кончая последним пономарём, штрафованы все, — до единого. Не штрафован только один священник, и только потому, что священником всего два года, но, конечно, не ускользнуть и ему. Точно так и по всей губернии. Встретившись с любым священником на улице, в вагоне железной дороги, — где угодно, спросите, из любопытства: были вы штрафованы? Скажет: «Был». — За что? — «Да я и сам теперь не помню, за какие-то пустяки, кажется за то, что какому-то заезжему баричу долго не высылал статистических сведений. За это я отдал только рублёвку, но, помнится, за что-то взяли и трёшницу». — И в формулярах значатся у вас эти штрафы? — «Нет, это у нас делается отечески: «соймя рубашку, вежливенько плетью с наказанием», — в формуляры вносятся штрафы только за вину, а эти налагаются, просто, для собственного удовольствия. В училищах учителя пороли нас от скуки, для собственного развлечения и потехи, а теперь консистории штрафуют для собственной потехи».

Так как штрафы и выговоры за недоразумение, мнимую ошибку, мнимую вину и обременение перепискою не практикуются нигде, ни в одном управлении, и только у нас, и служат к унижению, а отчасти разорению, духовенства, то мы остановимся на этом и покажем за что штрафуется духовенство.

Нет сомнения, что я беру не все консистории России, всех я и знать не могу, но, однако же, я знаю их не мало, в течение моей жизни мне привелось быть губерниях в двадцати. И одни из консисторий я знаю по личному моему знакомству с духовенством тех губерний, другие по их епархиальным ведомостям и газетам, третьи по разговору с людьми светскими. Из того же, что известно мне, можно вывести заключение

такого рода: там особенно консистории тяжелы духовенству, где преосвященный особенно добр, доверчив и о составе консистории судит по себе. Не делая зла никому сам лично, он думает, что и члены консистории его агнцы. А между тем эти агнцы, забравши власть в свои руки, сильно злоупотребляют ею.

Вот образцы, — факты, — за что штрафуются духовенство «отечески». В одной, известной нам, губернии сын одной пономарицы-вдовы, бурсак, мальчик лет 12-ти, на масляной неделе, когда кончились уже классы уехал домой без билета, стосковавшись по матери. Мать, узнавши, что сын без билета, не давши ему отогреться, тотчас же отвезла его обратно в училище. Училищное начальство донесло консистории о своевольной отлучке ребёнка, — и консистория приказали: так как пономарица N.N. брала к себе в дом сына без дозволения училищного начальства, то оштрафовать её двумя рублями. Та дала письменное объяснение благочинному, что сын её уезжал домой без её ведома и что она тотчас же, по прибытии его к ней в дом, отвезла его обратно, но консистория снова приказали: за неисполнение распоряжения епархиального начальства благочинному сделать выговор, без внесения сего в его формулярный список; а за сопротивление власти штраф увеличить рублём и взыскать со вдовы N. N. вместо двух рублей, — три.

От одного приходского священника, старичка лет 75-ти, обучавшегося, когда-то, во втором классе училища и совершенно не знающего канцелярских порядков, потребовалась метрическая справка о времени рождения одного его прихожанина. Часто случалось, что благочинный его, чтобы не писать особого предписания, предъявлял ему какой-нибудь указ консистории, просил по нему исполнения и просил, чтобы был возвращён ему и самый указ. Старичок так и знал, что

указы надобно возвращать. Получается указ на его имя, и он со справкой возвращает и самый указ. За возвращение указа консистория оштрафовала его двумя рублями. Вина ли это, преступление ли? Ничуть не бывало. Он, просто, не знал, куда девать этот указ и возвратил его по привычке. Между тем старичок этот живёт в крайне бедном приходе и ему дорога каждая копейка.

В годичный отчёт от благочинных требуются, между прочим, ведомости о школах, имеющихся при церквях. Однажды благочинные одной епархии, только что выбранные по новой баллотировке, и не знавшие дела, поместили в ведомости школ все школы, какие были у них по приходам. Ну, и заплатились же они, горемычные, за это такими штрафами, что, наверное, и рождественские и крещенские труды ходьбы по приходам их не покрыли этих штрафов. С них взяли от 3 до 25 рублей. А между тем нужно было бы только пояснить, что сведения нужны только о тех школах, кои содержатся на средства церквей. Но каких бы то ни было пояснений у нас не полагается, у нас полагается только кара. У нас по консисториям порядки те же, что было и в училищах прежних времён: не выучил мальчик урока по лености, — пороть, по непониманию, — пороть, по болезни, — пороть, словом: в причины незнания не входили, — не знает, значит виноват.

Вот обширное поле для штрафов: приходят крестить младенца; вы спрашиваете имя, отчество и фамилию отца и восприемников. Вам говорят, что фамилии нет никакой, или говорят, положим, Гвоздев. Вы так и записываете. Спрашиваете: нет ли ещё какой-нибудь фамилии? Говорят, что нет. После подают прошение в консисторию о выдаче метрического свидетельства Медведеву. Делается запрос, производится следствие, оказывается, что проситель не имеет фамилии никакой

и выдумал её при подаче прошения, или имеет до пяти и в прошении означил ту, какая взбрела ему на ум, — и духовенство непременно штрафуют.

Что выходит из того, что консистории наше безустанно штрафуют духовенство и делают выговоры? Мы думаем, что их можно сравнить с помещиками при крепостном праве. Помещики, властвуя над крестьянами, показали, что они не умеют управлять людьми иначе, как с кнутом в руках и своим бесчеловечием унижали не тех, конечно, кого пороли они, а прежде всего, и исключительно, себя самих, и оставили за собою позорный след на веки. Так и наши консистории, штрафую, и за дело и без дела, нас — благочинных, служащее духовенство, вдов и сирот унижают пред обществом, прежде всего и более всего, не тех, кого штрафуют они, а себя самих, унижают собой организацию духовного управления; затем унижают благочинных пред подведомым им духовенством, духовенство пред прихожанами и ставят себя во враждебные отношения к духовенству.

Руководством всем администраторам, и в особенности нам — пастырям, должно быть слово Божие: «Братие! Аще и впадет человек в некое прегрешение, вы, духовнии, исправляйте такового духом кротости». Многие же консистории этого апостольского наставления, как будто, и не читывали: они штрафуют не только тех, кои впали в прегрешения, но даже и тех, кои не впадали в него.

XLV

Нам привелось раз слышать отзыв одного преосвященного о консисториях такого рода (мы можем указать на лицо этого достоуважаемого архипастыря): «Как только приносят из консистории дела, то уже наперёд предполагаешь: непременно есть тут, — в этой куче, — какая-нибудь плутня! И, действительно, вникнешь в каждое слово, — плутня».

Спрашивается: почему же не все преосвященные и не всегда вникают во все дела с полным вниманием? — У преосвященных наших столько дела, что они не всегда бывают и в состоянии вникать во все подробности каждодневной работы. Случается так, особенно осенью и между Крещеньем и сырной неделей, что они проводят по несколько часов каждодневно за самым бессмысленным делом, и тратят и время и здоровье. Осенью в особенности бывает, что им подаётся до восьмидесяти прошений, каждодневно, крестьянами о дозволении вступить в брак несовершеннолетним или родственникам. Восемьдесят прошений преосвященный должен прочесть и восемьдесят раз написать: «1881 года октября N дня. Повенчать приходскому духовенству разрешается, если нет других, показанных в прошении, препятствий. N. епископ N.N.» Извольте написать это восемьдесят раз! Да ведь тут, не то, что отобьётся охота серьёзно заниматься делами, а тут, с такой работой, надобно с ума сойти! Если бы даже на какую-нибудь каверзу или штраф преосвященные и обратили иногда внимание, то консистория так размалюет штрафуемого, что преосвященный невольно призадумается и скажет своему секретарю: «Консистория слишком добра! Человека нужно повесить, а она только штрафует и даже без внесения в послужной список». И тот, пригнувшись, поддакнет: «Да, ваше преосвященство, консистория

совсем распустила духовенство! Оно осмеливается находить беспорядки даже в самих консисториях и печатать свои статьи в этом революционном журнале — «Церковно-общественном Вестнике». Этих в особенности, борзописцев, возмутителей духовенства, нужно бы...»

В сельском духовенстве нужда страшная: оно брошено, унижено, задавлено. Каждая копейка нужна священнику, и ещё более пономарю: она добыта им трудом и потом; у него, может быть, в училище сидит сын без хлеба, дома дети босы, сам оборван, а консистория штрафует его в пользу бедных. Что может быть беднее, несчастнее вдовы-пономарицы? Она сама чуть не умирает с голоду, а её штрафуют в пользу бедных. Это значит с нищей содрать рубашку и подать её в милостыню другой нищей. Консистории, таким образом, давая пособие сиротам, утирают их слёзы слезами других сирот. Но об сиротстве, поддержке их, пособии им, при наложении штрафов никто и не думал...

Говорят и пишут, что духовенство «и тупо, и глупо, и безнравственно, и имеет развращающее влияние на народ»; тут нужно бы стараться поддержать себя, — показать обществу, что мы вовсе не таковы, как говорят об нас, что мы заслуживаем лучшей участи и больших симпатий общества, — а мы позорим и душим сами себя, — и унижаемся и разоряемся своим собратом, которому следовало бы быть первым защитником духовенства. При таком состоянии дела трудно духовенству дойти до сознания собственного достоинства и заслужить хорошее о себе мнение в обществе.

Консистории, штрафую всех за всякий вздор, и сами ведь не безгрешны, даже с формальной стороны. Та, например, консистория, которая смылила благочинных 20–25-рублёвым штрафом за то, что в ведомости церковных школ внесли все

имеющиеся школы при приходах, уделала раз такую штуку: во время последнего польского восстания были делаемы сборы и пожертвования «в пользу понесших разорение от восставших поляков». Написали в консистории представление и подали преосвященному. Тот взглянул, и расхохотался. Оказалось, что написано: пожертвования и сбор в пользу понесших разорение восставших поляков. Слово: от, опущено. Бумага прошла руки писца, столоначальника, членов, секретаря, регистратора, — и все были так внимательны к делу, что никто и не заметил. Будь также невнимателен к делу преосвященный, — и вышел бы курьёз. Это консистория; но сделай такую описку благочинный, в лице которого одного вся канцелярская работа и которого отрывает от дела беспрестанно приход, — ну, и задали бы ему такую встряску, что и своих бы не узнал!...

Обвиненного у нас часто посылают в монастырь в наказание на один месяц, на два, на полгода и бессрочно — до исправления, если лицо это уже не раз было судимо за нетрезвость.

Виновный посылается в монастырь. Монастырь, по своему значению, есть место отшельников, оставивших мир для спасения души; место уединения, где, кроме труда и молитвы, нет другого дела. Посторонние посетители могут приходиться туда, но, также, только для тихой, уединённой молитвы и то на самое короткое время. Монастырь — это обитель мира, тишины и невозмутимого спокойствия. Ушедшие туда забывают весь мир и его злобу; их цель — уединение и подражание жизни отшельников, первых веков христианства. Представьте же: в обители мир, тишина... Живут иноки и тихо, безмятежно молятся о мире всего мира и благодарят Господа, что он взял их от суеты и злобы мира и что они могут теперь с чистою душою, покойным сердцем окончить труженическую жизнь

свою... Но вот, в один злосчастный день, являются туда два-три попа, три-четыре дьякона, пять-шесть дьячков, посланных туда в наказание за пьянство и на исправление в поведении. Является человек десять-пятнадцать таких молодцов, которые не то, что мирную обитель, но любой кабак в десять минут опрокинут вверх дном! И — тотчас: гам, крик, ругань, пьянство... Через 10 минут каких-нибудь вы не узнаете уже этой тихой обители...

Посылка в монастырь есть наказание. Она, действительно, и есть наказание, но только не гостям, а хозяевам его. Обитатели монастырей видели, знали и, может быть, испытали на себе всё, что творится дурного в мире, — и ушли оттуда для тихой, безмятежной жизни. Но наблюдающее за ними и охраняющее их начальство и здесь не даёт им умереть покойно. Оно посылает к ним и туда, куда ушли они, таких людей, которые способны мгновенно извратить всё тихое и святое. Для людей самой строгой жизни эти непрошенные гости — тяжёлое бремя. Если же монашествующие, как люди вышедшие из мира, погрязшего в пороках, и сами не укрепились ещё в добродетельной жизни, то этот пришлый народец послужит им непременно к явной их гибели, так как страсти, после некоторой сдержанности, разгораются ещё сильнее, чем было это прежде («Русская Старина», изд. 1880 г., июль, стр. 473).

Коль скоро в монастыри посылаются люди порочные, в наказание, то монастыри делаются острогами, а этим унижается достоинство и монастырей, и монашествующих.

XLVI

Лица духовного звания поступают за штат по старости, болезни и суду.

У нас, духовных, всё по-своему, — так и здесь: то, что у гражданского лица называется «выйти на покой», у нас значит лишиться покоя совсем. Мы в миру, как антиподы во всём. Гражданское лицо, прослуживши известное число лет, может оставаться на службе, получать жалованье и, в то же время, пользоваться пенсией. У нас этого не бывает: пенсия выдаётся только тогда, когда человек оставляет совсем службу. Чиновник, заведывающий не больше, как только каким-нибудь столом, или учитель небольшой какой-нибудь школы, получают настолько достаточные пенсии, что могут безбедно существовать весь свой век. По выходе в отставку, они могут жизнь свою назвать вполне «покоем». Священник же, учитель не ничтожной какой-нибудь школы, а целых тысяч народу, сколько бы он ни служил, — во время службы пенсии не получает. Оставить же службу и выйти за штат для него то же, что, выражаясь словами евангелия: взять чашу, полную оцта, смешанного с желчью, и пить её до последнего вздоха; всё горе, вся нужда, все притеснения и бесславие, какие нёс человек в жизни, с поступлением за штат, увеличиваются ему тысячею раз, и он должен терпеть это горе до самой смерти. С оставлением должности человек лишается и того скудного и горького куска, какой имел он в течении своей многострадальной жизни.

Стоя на должности, мы можем ходить по миру и выпрашивать подаяния; вышедши же за штат мы лишаемся и этой горькой возможности к своему существованию; заштатным никто уже не подаёт, доходы за требоисправления прекраща-

ются, конечно, совсем, — и человек, буквально, остаётся без куска хлеба. Поэтому мы и стараемся сидеть на должностях до последней возможности, — когда болезнь и дряхлость истощат последние уже наши силы.

Состоя на должностях, по неимению церковных и общественных домов для квартир, мы вынуждены бываем строить дома свои, но так как продажной земли под усадьбу в сёлах не бывает, то мы и строим их на земле или церковной, или общественной. Пока мы служим, — мы живём в них; но как только оставляем службу, — нас заставляют очистить место и убираться, куда угодно, — и мы продаём их на снос, или своим наместникам и прихожанам за бесценок. Очень часто случается, что за дом не берётся и десятой доли его стоимости. И разорённый, может быть больной и дряхлый старик, не знает, что ему делать и куда идти ему теперь. Если село состоит из государственных крестьян, то они хоть в конце села где-нибудь поставят келью, место дадут наверное. Впрочем бывают случаи, что не дают места даже штатным священникам («Русская Старина», 1881 г., том XXX, стран. 73–74). Дадут место, наверное, и крестьяне, бывшие крепостными, но получившие полный надел, хотя и сопьют «ведёрку». Но если в селе однодесятинники, которые и сами согнуты в бараний рог отцом-благодетелем, которым и самим некуда выпустить курицы, то выпросить место тут не легко. Если усадьба помещицы, и помещик дал крестьянам полный надел, то старикам, и священнику и дьячку, даст место и он; но если землевладелец почитает себя образованным, передовым, гласным земства, предводителем дворянства и кричит на каждом переулке о прогрессе, свободе, цивилизации и пр. и пр., и крестьян своих усадил поуютнее, — на десятинку, — то милости тут уже не жди. Что остаётся тогда делать брошенным всеми стари-

кам? Отыскивать каких-нибудь, хоть дальних, родственников и перетаскиваться к ним, — там поставить себе келью и существовать тем, что Бог пошлёт.

Если священник и дьякон не были под судом, то, чрез год или два, им дадут единовременное пособие из Св. Синода, рублей 50–70 священнику, и рублей 50 дьякону; рублей 25 дадут и причетнику. Но при этом спросят предварительно благочинного: «Имеет ли просящий пособия нужду в пособии и заслуживает ли он его по своему поведению». Отзыв же благочинного не всегда даётся даром.

Если священник и дьякон прослужили не менее 35 лет, то им дадут, чрез несколько лет, и пенсию: священнику 130 рублей, дьякону 65 рублей в год. Пенсия эта есть единственное средство к их существованию. Правда, пенсия совершенно постная, но спасибо и за это. До 1866 года пенсии никому не полагалось совсем; с 1866 года священникам было положено по 90 рублей в год, с 1879 года увеличена до 130 рублей, дьяконам же положена всего только с 1880 года. Причетникам же пенсии не полагается вовсе, хотя бы они и не был под судом и хотя у него весь век его вычитается из его 24–36 рублей годового жалованья по 2% в пенсионный капитал.

Правда, причетнику даётся пособие из попечительства епархии о бедных духовного звания; но опять при условиях: если не состоял под судом и если не имеет родственников, состоящих на службе. И сколько же даётся? 3–4 рубля в год! Извольте существовать на них!

Хороша участь всех заштатных священников; красива перспектива впереди и у меня, если я протяну свой век до дряхлости; но заштатный причетник, — это несчастный из несчастных...

XLVII

Пенсия даётся только тем священникам и дьяконам, как и в гражданском ведомстве, как сказал уже я, кто не был под судом. Правительство, делая такое постановление, конечно, имело основание; но ему должно быть известно и то, что не все, имевшие несчастье быть под судом, — люди порочные и злонамеренные, и не все честны и благонамеренны те, кои под суд не попадали. Всем известно, что попадают под суд или, просто, по доверчивости, неосмотрительности, — по своей простоте, или по милости какого-нибудь негодяя; негодяи же остаются чистыми и, «за беспорочную службу», получают и награды, и пенсии. Тяжело нести наказание до конца жизни и быть лишенным покровительства правительства и поддержки на старости лет и по действительной вине; но в тысячи раз тяжелее нести это невинно. Невинно же попасть под суд и быть осуждённым ничего нет легче, и именно потому, что судьи-то наши часто напоминают собою известную тираду из Феклуши: «Говорят, такие страны есть, где и царей-то нет православных, а салтаны землёй правят. В одной земле сидит на троне салтан Махмут турецкий, а в другой — салтан Махмут персицкий; и суд творят они, милая девушка, надо всеми людьми, и, что ни судят они, всё несправедно. И не могут они, милая, ни одного дела рассудить праведно, такой уж им предел положен. У нас закон праведный, а у них, милая, несправедный; что по нашему закону так выходит, по-ихнему всё напротив. И все судьи у них, в ихних странах, тоже всё несправедные; так им, милая девушка, и в просьбах пишут: — суди меня, судья несправедный! А то есть ещё земли, где все люди с пёсьими головами».

Мне хорошо известны таких, например, два господина, каких вряд ли найдётся и у самих салтанов, которым так и пиши: «суди меня судом неправедным», которые, если б и захотели судить судом праведным, — так не могут: «такой уж предел им положен», даром, что и родились, и живут на русской земле, даром, что и «закон у нас праведный». Один делал зло из жадности к деньгам, а другой делает его, просто: «такой уж, должно быть, предел ему положен». Попадись к таким под суд, — ну, и пропал на веки.

В одной губернии, конечно, не в нашей, помещик А. продавал однажды часть своего имения в несколько сот десятин, и продавал одну только безлесную его часть; но соседу его, Б., хотелось, во что бы то ни стало, купить и лежащую рядом рощу, десятин в 200. Как ни ухитрялся соседушка, но А. не поддавался ни на какие доводы. Тогда Б. отправляется к секретарю гражданской палаты, некоему Пр., с которым А. был в самых дружеских отношениях, и говорит ему: «Помоги, брат, уговори его, чтобы он продал и рощу! Вы с ним друзья, он послушает тебя».

— Не спорь с ним, покупай, что продаёт; давай мне 3000 рублей и роща будет твоя.

Б. отдал деньги и ждёт. В известный день в гражданской палате прочитали условия покупки, внесли в книгу, А. и Б. подписались, Б. получил купчую крепость и, бешеный, летит к секретарю: «Что ты сделал со мной?» — орёт он. — «Взял 3000 рублей и не уговорил А. продать мне лес?» Секретарь преподойно взял у него купчую крепость и мгновенно изорвал её в клочья.

— Что ты делаешь? — закричал Б.

— Подавай заявление в полицию, что ты потерял купчую крепость и проси гражданскую палату выдать тебе копию с актовой книги.

— Зачем? Как?

— Подавай, делай что велят.

Подал, и ему выдали выпись из актовой книги. А. ничего этого не знает. Приезжает полиция с понятыми на место продажи делать ввод во владение, и оказывается, что в копии купчей крепости значится проданным не только лес, но и близ находившаяся водяная мельница. Дело, кажется, невозможным, но оно просто: секретарь хорошо знал, что всякий уверен, что то, что пишется в купчей крепости, пишется и в книге, и поэтому не смотрит и не читает её никто. Он и велел внести в книгу всё, что ему было нужно, — и лишних 200 десятин лесу и мукомольную мельницу; в купчую же крепость этого не поместили. А., прочитавши одну купчую крепость, остался, конечно, доволен; он и не подозревал, что в книге совсем не то, что в купчей. А. побился — побился, да так всё и ухнуло.

Этот же Пр. подговорил писца украсть у столоначальника какое-то очень важное дело. Столоначальник попал под суд и был выгнан, а Пр. нажил дома, получает теперь пенсию и благодушествует.

Другой господин. Один благочинный, конечно, опять не нашей губернии, служащий благочинным лет тридцать или более, сначала давал подачки всем консисторским, начиная со сторожа и кончая членами, но потом увидевши, что хоть давай, хоть не давай, — честь одна: самые нелепейшие придирки в каждом указе, беспрестанно, — он и махнул рукой: так нет же, говорит, вам ничего! И не стал давать никому ни копейки. Консистерия так на дыбы и поднялась, так и готова

была проглотить его целиком; но и провинностей-то больших не было за ним; и духовенство было хорошо расположено к нему и выбирало его постоянно в благочинные и, часто, единогласно; и он сам не любил выносить сора из избы, — и мирил враждовавших не доводя до суда; и преосвященные благоволили к нему, как к человеку, нелюбящему кляуз. По милости преосвященных он получил и камилавку, и наперсный крест, и орден, и протоиерейство. Нельзя проглотить его консистории никоим образом да и только! Но вот представляется случай, — собирается епархиальный съезд. Один из членов консистории состоит членом попечительства о бедном духовенстве и членом других некоторых комитетов, о состоянии которых он должен был дать отчёт съезду. Является в собрание, даёт отчёт и заявляет, что благочинным Z.Z. не представлено ни за одни год и никуда ни одной копейки. Как так, думает уполномоченный этого округа, быть не может, чтобы нашим благочинным не было представляемо денег! Берёт лошадь и скачет к казначею, тоже протоиерею. «Неужто, спрашивает он, наш благочинный не представлял никогда и никуда ни одной копейки?» Тот улыбнулся, и показывает ему письмо своё к члену, — тому, что на съезде. В письме говорится (дословно): «Я в смущении, что сделали относительно Z.Z. Вчера, по возвращении из попечительства, я поусумнился и стал припоминать, что им представлено много и по книгам оказалось: представлено в 1879 году 100 рублей, в феврале... итого 436 рублей 81 копейка». Внизу письма написано членом: «Придержите это до окончания съезда». Письмо опять возвратил казначею; казначей отдал его уполномоченному. Уполномоченный является на съезд, публично показывает письмо, обращается к члену и говорит: «Как же вы, N.N., говорили, что нашим благочинным не было представляемо денег, когда он

представил 436 рублей 81 копейку?» Вот письмо к вам отца казначея с вашим приказанием ему «придержать» его. Член поблел, и не сказал ни слова. С недоумением взглянуло на него и всё собрание и никто не сказал ни слова в обвинение благочинного, увидевши такую недобросовестность своего начальника, — члена консистории.

Уполномоченный говорит потом члену: «Как же это вы доложили собранию, что благочинным нашим не было представляемо денег, когда им представлено всё, что следовало?»

— Он..., я терпеть не могу его! Он весь век шишикается со своим духовенством, и не доносит ни об одном деле.

— Так это делает ему честь, что он умиротворяет нас, не раздувает ссоры и не доводит нас до разорения!

— И этому дали протоиерейство в моём храме!... В то время, когда у меня был храмовой праздник, когда архиерей служил у меня, — его произвели в протоиереи! Я трясся, как в лихорадке, во всё время обедни; я отомщу ему, во что бы то ни стало.

Так как не всегда бывает удобно называть всякую вещь своим именем, то я и не скажу, где и когда это было... Мы уверены, что член, к крайнему нашему сожалению, найдёт случай повредить в настоящем и будущем отцу благочинному. Если он так бесцеремонно поступает с ним пред собранием в 70–80 человек, то кто и что помешает ему делать зло за консисторским столом или у себя в кабинете?! И он сделает его; достанется и отцу уполномоченному. Да, не у одних салтанов судьи неправедные, есть они и у нас и много гибнет несчастных от этих судей... Не снести своей головы и этому благочинному. И будут писать про несчастного: «состоял под судом» и

— пенсия пропала. И носи, убитый, горькую долю до самой
могилы...

XLVIII

Долго у духовенства держался обычай сдавать места свои желающим взять в замужество дочерей или близких родственниц. Член причта выдавал дочь свою или ближайшую родственницу в замужество, выходил за штат, а зять поступал на его место. Или: отец удаляется за штат, а сын поступает на его место. Бывало и так: старик хорошего, — по средствам к содержанию, — места уступал его лицу из бедного прихода и выговаривал, при этом, платить ему, — старику, рублей 30–50 в год. Тот поступал на его место и выдавал ему условленную плату или известное число лет, или до его смерти. Такая передача мест теперь воспрещена. Светская литература с восторгом подхватила такое распоряжение, и чего-то, чего-то не писалось на эту тему! Она увидела в этом распоряжении возвышение не только нравственности, но даже и самой религии. Духовная же литература, по обыкновению, молчала. Она, когда и хвалят нас, молчит; когда и колотят, — ни слова. Ей «уж такой предел положен», должно быть.

Прежде, чем высказать своё мнение, я нахожу нужным сказать, что нет у меня ни дочерей и ни родственниц, мужьям которых я имел бы в виду передать своё место; сыновья мои все в гражданском ведомстве; не имею в виду уступать своего места и за выдачу мне пожизненной платы. И думаю, поэтому, что взгляд мой на это дело беспристрастен, взят с жизни и справедлив.

В последние 10–15 лет много сделано в среде духовенства и народа, в учебном и религиозно-нравственном отношениях; но во всём, что сделано, — решительно во всём, — виден недосмотр. Так, например, в прежнее время в каждом селении и в каждой деревне были маленькие, простенькие школы, —

без затей и именно такие, какие необходимы крестьянину: приютится какой-нибудь унтер-офицер, дворовый человек, мещанин, дьячок, наберёт себе десятка два ребят и учит их читать, писать, выкладывать на счётах, первым правилам арифметики, — и выходило, что крестьянин знал, что знать ему необходимо, и учитель-старик имел кусок хлеба. Теперь подобные школы запрещены; но, за то, устроены форменные, — с учёными учителями и учительницами, с попечителями, надзирателями, училищными советами, инспекторами и пр. и пр., словом: начальства наставлено столько, что, в иной школе, и учеников нет наполовину, сколько начальства. И что же? 10–20 мальчиков учатся, а 200 остаются безграмотными.

Найдено необходимо-нужным для благоденствия отечества изучать языки развалившихся государств, и классицизм так и заел юношество: мало своих классиков, повытаскали к себе чуть не всех братьев-чехов; мало и этого, — устроили фабрику выделывать их за границей. И что же? И классиками-то юношей не поделали, и по-русски-то не всех писать научили. Печатно оповещено миру, что многие «зрелые» не могут написать и пяти строк со смыслом.

Установили псаломщичество, но штаты по классам училищ и семинарий сократили, запретили семинаристам поступать в высшие учебные заведения, — и опустошили семинарии до того, что теперь уже чувствуется недостаток в служителях церкви.

Чтоб увеличить содержание причтов, закрыли многие церкви, — и сотни тысяч христиан лишены возможности бывать в храмах Божиих.

Сокращены штаты причтов, — и храмы оставлены без чтецов и певцов.

При многоштатных церквах установили настоятельство и помощничество, — и вселили вражду между членами причтов.

Устроили епархиальные съезды, — и внесли вражду между епископом и духовенством.

Точно так и здесь, — в запрещении передавать места свои родственникам. Те, которые запретили это, а за ними и литература, не поняли нашей организации и прировняли нас к себе! Но у нас нет ничего и подобного тому, что есть в ведомстве гражданском. В гражданском ведомстве часто случается, особенно в провинции, что университетан несколько лет сидит помощником столоначальника, а столоначальником, секретарём и даже советником, какой-нибудь некончивший курса гимназии или семинарии. В должностных местах разнообразие страшное; самые места получают сколько по образованию, способности и труду, но, не много менее того, и по родовому происхождению, связям и протекциям. Дети чиновников живут или с ними вместе или, по крайней мере, в том же городе. Старику нет и надобности домогаться, чтоб сын или зять занимали его должностное место, вся его забота только о том, чтоб они имели достаточный кусок хлеба. Если есть у него свой дом, то это святыня, к которой никто посторонний не может и подумать прикоснуться, тем более продавать его за бесценюк и выгонять его. Нет своего, — он всегда имеет возможность иметь удобную, по своим средствам, квартиру. У него есть, более или менее, обеспечивающая его существование пенсия. У него есть, может быть, даже свой клочок земли, дающий ему доход, сад и т. под. Наконец, в случае болезни, — дети и родственники его, конечно, если есть они, всегда здесь и помогут ему.

У нас, напротив, только два рода службы и два рода кандидатов на неё. Служебные места: священническое и псалом-

щическое, или попросту, дьяческое; кандидаты на них: окончивший курс семинарии и неокончивший. Окончил курс, — значит непременно кандидат на священническое место; не окончил, — дьячком будь весь век; во священники такой не попадёт уже никоим образом. Точно также окончивший курс остаётся дьячком только по исключительному случаю, — по дурному поведению.

Лица духовного звания если и имеют детей, то все они разлетаются в разные стороны, при стариках не остаётся никого, они остаются одинокими и, при нужде и болезни, беспомощными.

Дом отнимут, — заставят продать за бесценок или снести с места, словом: из дому выгонят; квартир у крестьян можно встретить только очень у редких, в большей же части селений их нет совсем. Состоя на службе грабить прихожан не доставало совести, — и денег для обеспечения себя на старости не нажито.

Что ж остаётся делать дряхлым и больным старикам?!
Пить горькую, горькую чашу...

Скажу опять про себя лично: когда не вдумываешься в то, что ждёт меня впереди, если я протяну ещё лет десяток, то всё идёт, как будто, ладно; но когда посмотришь на жизнь людей, которые, когда-то, были тем, что я теперь, и представишь себе, что и меня ждут те же нужда и горе, то куда-то становится грустно, — так грустно, что долголетия совсем не желается. К чему послужат мне, грустишь, моё протоиерейство, к чему мои кресты!!

Эти-то причины и заставляли духовенство сдавать места свои детям или близким родственникам, именно: нужда, горе и бесприютность были этому причиною.

Кому отдавать места? Всегда и исключительно тем, которые по закону имели право на них. Окончивший курс семинарии поступал на священническое место, исключённый из семинарии или училища на дьяческое. Не было примера, чтобы исключённый из семинарии поступал на место отца или тестя во священники. Поступавший на место тестя или отца был доволен тем, что он поступал в готовый дом, делался полным его хозяином, — он обеспечивался всем, и не мыкал горя по церковным гнилым сторожкам и крестьянским избам, как мыкал его я. Успокоивались и старики: никто не гнал их из дому, кусок хлеба они могли иметь до гроба, при болезни имели уход родных, — и век свой они могли доживать покойно. Про такую отставку от должности и духовенство могло сказать: «идти на покой».

Укажу на два примера. В селении В. был когда-то священником некто, носивший фамилию по селению, тоже В. При генеральном межевании он получил в собственность небольшую усадьбу и развёл сад. После смерти этого священника на его место поступил его сын. У этого сын окончил курс семинарии лучшим учеником, и имел, конечно, право на любое священническое место; но отец, старик и вдовец, уступил ему своё место. Есть ли что-нибудь тут безнравственное и противурелигиозное? По нашему мнению: нет ничего. А между тем старик упокоен, а сын поступил в готовый, старинный дом и теперь получает 300–500 рублей от саду годового доходу. Поступи сын в другое село, — сад был бы продан и деньги прожиты, теперь же он имеет вечный кусок хлеба.

Другой пример. В селе П. больной, немолодой уже и вдовый священник имел дочь. К ней присватался один из окончивших курс семинарии некто С. Священник и воспитанник подали общее прошение преосвященному, — что один уступа-

ет место, а другой берёт в замужество его дочь, чтоб поступить на место будущего тестя. Преосвященный сделал по их желанию. Что и здесь вредного для религии и нравственности? Воспитанник С. всё равно получил же бы где-нибудь место, если не в П., то в каком-нибудь Б. или Д. И может быть, взял бы в замужество ту же самую девицу, которую взял, поступая в П. Не уступи этот священник места зятю, его прогнали бы с его домом, с места, пришлось бы умирать с голоду в мужицкой избе; а теперь он покойно дожил век и умер на руках дочери и зятя. Так точно передавали места свои дьяконы, так предавали и дьячки. Другое дело, если б места передавались людям, недостойным этих мест, — если б на священническое место со взятием в замужество дочери священника поступал ученик, исключённый из семинарии или училища, которому без этого способа священником не быть никогда, — это порицать следовало бы, здесь запрещение имело бы законное основание и было бы разумно. Но подобных передач, как я сказал, не было никогда и нигде. Передачи мест делались свободно, без всяких с чьей-либо стороны принуждений. Преосвященные иногда давали предложения такого рода, «не пожелает ли кто-либо из воспитанников семинарии поступить во священники в село N. со взятием в замужество сироты Б., или дочери священника В.?» Если желающие находились, то женились и получали место; если же желающих не находилось, то место отдавалось без всяких обязательств.

Но говорят, что «распоряжение это сделано в видах улучшения материального состояния духовенства, — чтобы новые члены причтов не были обременяемы старым хламом, — тестем, тещей и т. под., были совершенно свободны от всяких обязательств и тем желалось правительству привлечь к поступлению в духовное звание воспитанников семинарий»; но

многолетние опыты показали уже, что и сокращение штатов, и сокращение самых приходов, а равно и эта мера, не послужили ровно ни к чему: семинарии опустели, а свободных мест при церквях открывается с каждым годом всё более и более, не смотря на сокращение этих мест.

Притом: если правительство высказывает заботливость в этом о тех, кои не служили ещё, то едва ли справедливо лишать некоторых удобств к жизни, на старости, тех, которые служили уже обществу, и служили весь свой век? И опять: не дети те, кои вступают в подобные браки; наверное, что они понимают своё состояние лучше всякого постороннего лица.

Говорят опять: «Воспитанники семинарий брали в замужество дочерей своих предместников не по сердечному расположению, а только из-за мест, жили потом дурно в семейном отношении и это вредно отражалось на служебной их деятельности». Браки из-за мест, действительно, бывали, но если некоторые из таковых супругов жили дурно, то неизвестно, лучше ли они жили бы при других условиях брака? Может быть дурная жизнь их зависит, просто, от их характера и других обстоятельств. Если есть дурные священники при обязательных браках, то мы можем сказать, что их много и при свободных. Много, очень много причин, и помимо брака, у сельского священника, губящих его! Напротив, нам известны не один священник, которые поступили на места своих предместников со взятием дочерей их, и которые, однако же, и примерные отцы семейств, и достойные пастыри церкви.

Где, в каком звании, нет браков по расчёту? Некоторые из таких супругов живут весь век, как нельзя желать лучше; но некоторые, конечно, живут неладно. Один мой товарищ по семинарии, некто П.Добронравов, окончивши в семинарии курс, поступил на гражданскую службу. Малый был он не

глупый, но выпить любил. Чрез год, чтоб поправить своё состояние он женился на одной довольно состоятельной купеческой дочке. Повенчался, а на другой день утром мать молодой жены его и подводит к нему двух своих внучек просить у тятиньки ручку. С этого же дня спился горемыка совсем, и ушёл в солдаты. Я знал одну помещицу, которая, живши замужем лет 15, овдовела и потом вышла замуж во второй раз за такого молодого человека, тоже дворянина, который родился в тот день, когда она овдовела. Пожили несколько недель в ладах, потом молодой муж всё имение старухи спустил, десятка два—три раз отколотил её и прогнал. А мало ли нежных, любящих друг друга супругов, у которых, однако ж, и у мужа целый десяток жён на стороне и у жены дюжина мужей! И ничего: мужчины похочут, выпьют за удаль; дамы посплетничают, позавидуют втихомолку, а рьяные поборники свободы совести возведут подобный образ жизни в догмат — и только. Но случись несчастный брак между духовенством, сейчас зазвонят во все колокола: нравственность падает, религия в опасности и, Боже мой, чего-то не накричат со всех сторон! Всякому случаю в духовенстве, обыкновенному в других сословиях, у нас придаётся всегда особенное значение; на случаи эти не замедлят явиться и законы. Но как, по пословице, нет правила без исключения, то нет и закона, которого нельзя было бы обойти.

На псаломщические места нет теперь доступа ученикам, исключённым из училищ. Поэтому, желающие быть псаломщиками, поступают в крестовые церкви в послушники. Чрез два-три года им дают дьяческие места, как людям, находившимся под непосредственным надзором преосвященных и испытанным в поведении и знании предметов должности их. Поступивши на место, они тотчас женятся на дочерях стари-

ков-дьячков достаточных приходов и подают общее прошение о перемещении их одного на место другого. Получивши переместительные указы, старик тотчас подаёт прошение об увольнении за штат и, таким образом, старик принимает к себе зятя и живут вместе. Под предлогом перемены мест передают свои места и старики-священники своим родственникам.

За дочерьми умерших священников места теперь не зачисляются. Но преосвященные, по просьбе вдов, сдают такие предложения: «Предложить учителям духовных училищ и воспитанникам семинарий, находящимся на местах псаломщиков: не пожелает ли из них кто-нибудь поступить на священническое место в село N.» О невесте тут не говорится ни слова; но народна молва давно уже разнесла по свету, в чём тут дело. Словесно назначается и срок, до которого преосвященный будет ждать. Выищется жених в определённый срок, — хорошо; не выищется, — место отдаётся по усмотрению преосвященного. Что есть и в этом безнравственного и противорелигиозного? По нашему мнению, преосвященных, за их отеческую заботливость о сиротах, нужно только искренно благодарить.

XLIX

Окончивши мои «Записки», я прошу извинения у тех, кого я, против желания, может быть, обидел. Обличать и обижать кого бы то ни было я совсем не имел намерения. Цель «Записок Сельского Священника», сказать правду, и только правду, и не моя вина, поэтому, если пришлось мне сказать о чьих-либо слабостях или пороках. Очень может быть, что я нажил даже и врагов. Но скажу: духовенство, хотя разбросано по всему огромному пространству нашего отечества, но оно составляет свой особенный мир, со своей особенной организацией, со своими законами, со своими правилами и обычаями и со своими хорошими и дурными качествами и, не смотря на то, что живёт среди общества и беспрестанно соприкасается со всеми его членами, — общество не знает его. В последнее время сделано много изменений в организации духовенства; светская литература предлагает множество проектов к устройству быта его, многое пишется о духовенстве; но всё, что ни делается и что ни пишется, делается людьми, слишком далеко стоящими от нас, слишком мало знающими нас и, поэтому, очень многое из того, что сделано уже, и что предлагается делать, крайне непрактично. Поэтому я желал познакомить общество с духовенством, — показать каково духовенство само в себе, каково отношение его к обществу, и каково отношение к нему самого общества. Истина же может быть раскрыта только тогда, когда человек говорит беспристрастно, не стесняясь ничем и никакими, могущими случиться с ним, неприятностями, — я и говорил, не стесняясь. Не мудрено, поэтому, если мне пришлось отозваться о ком-нибудь и не особенно лестно. Но это не есть укор, и не обличение, это есть не более, как пример к сказанному. Так «Записки» мои и

поняли люди высокообразованные и высокопоставленные, каков, например, светлейший князь Италийский, граф Александр Аркадиевич Суворов-Рымникский. В одном месте «Записок» я говорил о прихожанах известного мне прихода и о бедственном состоянии священника того прихода, — светлейший князь Суворов-Рымникский так и понял меня и выразил сочувствие священнику присылкою ему ста рублей серебром. Если ж в «Записках» моих увидит кто себя, то да будут «Записки» мои уроком: пусть примет тот к сведению, — что не всё может проходить безнаказанно.

«Записки» мои не есть учёное исследование, — это есть не более, как очерк, взятый с жизни. Поэтому я не заботился ни о строгом изложении мыслей и фактов в систематическом порядке, ни об обработке речи.

Желательно было бы, чтобы люди, занимающиеся вопросом о духовенстве и пишущие свои предположения об изменении быта его, глубже изучили этот быт. Желательно, вместе, чтоб и само духовенство содействовало обществу к изучению нашего быта, дабы общество могло увидеть, что духовенство не настолько «тупо, глупо и безнравственно», как пишут о нём и, при этом, постаралось бы не подавать повода к нареканиям.

Хотел было положить перо, но уважаемый редактор «Русской Старины», М.И.Семевский, просил, чтобы я сделал ряд выводов или свод моих пожеланий и указаний на то, осуществления чего, по моему крайнему разумению, желательно видеть в возможно близком будущем. Исполняя это требование, я представляю перечень этих пожеланий, к которым (я в том твёрдо убеждён) присоединилась бы вся многотысячная семья представителей белого сельского духовенства в России, если бы только её спросили — как желает она

исправить веками скопившееся зло в организации его управления, во всех условиях его печального положения:

I. Специальные духовные учебные заведения необходимы. Ученики могут жить и на квартирах, и в казённых домах. Квартиры должны быть вблизи учебных заведений, комнаты должны быть чистые, светлые, просторные и сухие. Право принимать к себе на квартиры должны иметь люди только хорошо известные училищному начальству за людей вполне благонадёжных. Ни один отец и ни один ученик не должны брать квартиры без одобрения её училищным начальством. Ученики, не имеющие возможности иметь хорошей квартиры, должны жить в казённом доме, с платой за содержание. Желательно было бы, чтоб и в казённом доме не было той казарменности, грязи и неряшества, какие приводится видеть там во многих из них и до сего времени.

II. Так как училища содержатся на средства церковей, — и мужские и женские, — духовенство даёт от себя на содержание их слишком не много, а между тем сироты и дети беднейших родителей пользуются или половинным, или даже полным казённым содержанием, то было бы, кажется, справедливым, чтобы пользование казённым содержанием было предоставлено подобным же ученикам и других сословий. Такая мера побудила бы, вероятно, поступать в духовные училища детей других сословий.

III. Особенное внимание училищного начальства должно быть обращено на воспитание: чтобы не было той формальности, официальности, сухости и не только жестокости, ниже суровости в обращении с учениками, и тем более несправедливых взысканий со стороны училищного начальства, что впилося в плоть и кровь большей части воспитателей учебных

заведений. Напротив, желательно было бы, чтобы воспитанию придавался характер более семейный, — чтобы справедливость, откровенность, сердечная теплота были руководящими правилами воспитателей; чтобы воспитатели старались сделать питомцев своих сперва христианами, добрыми, честными и трудолюбивыми людьми, потом уже учёными; старались внушить убеждение, что жизнь наша есть, прежде всего, служение обществу, потом уже — жизнь для себя; старались укрепить веру в Бога и любовь к людям.

IV. Классные штаты должны быть уничтожены.

V. Ученики, обучавшиеся в духовных училищах, должны быть принимаемы в семинарии без экзаменов.

VI. От начальника заведения хозяйственная часть должна быть взята совершенно. Его обязанностью должно быть исключительно воспитание и образование. Сам он обязан посещать классы каждодневно. Он должен изучить и наставников, и каждого ученика. За преподаванием, успехами учеников и постановкой баллов он обязан следить в течении всего года. При таком порядке шли бы лучше и преподавание, и успехи учеников, вернее делалась бы оценка успехам учеников, а потому и формальные, ныне существующие, экзамены, напрасно губящие множество юношества, были бы лишними. Ученики могли бы быть переводимы из класса в класс по годичным баллам наставника и личному знанию ученика начальником заведения. Вся работа должна делаться в классе, на дом же должно даваться или только повторение говоренного наставником, или только самая небольшая часть работы. Работа, даваемая на дом, должна быть регулируема между преподавателями.

VII. Должны быть введены в духовные училища гимнастика, рисование, музыка и, обязательно, какое-нибудь мастерство.

VIII. Ученики семинарии должны приучаться к объяснению Св. Писания и произношению поучений без предварительной подготовки.

IX. К слушанию богословской науки должны быть допускаемы лица всех сословий и возрастов, дабы таким путём в обществе пополнялась недостаточность духовного просвещения.

X. Посылка учеников, кончивших курс семинарии, в псаломщики должна быть безусловно отменена.

XI. Если заштатное духовенство не будет обеспечено в своём существовании, то людям больным и безродным должно позволить уступать места свои наместникам, со взятием в замужество их дочерей или близких родственников.

XII. Сделать пересмотр приходов и закрыть только те из них, где пожелают того православные прихожане.

XIII. На должности псаломщиков допускать всех способных и достойных этой должности.

XIV. Посылаемым на места священнослужителям должны выдаваться прогонные деньги и третное жалованье.

XV. Квартира и отопление в приходе должны быть от церкви, как для штатного, так и для заштатного духовенства, а равно вдов и сирот. Штатное духовенство должно иметь обеспеченное содержание, которого одна часть должна идти от казны, другая от прихода. Заштатное духовенство должно получать пенсии, равные жалованью. Лица, состоявшие под

судом, но прослужившие узаконенное число лет, не должны быть лишены пенсии. Жалованье должно быть получено из казны и волостных правлений ежемесячно, по предъявлении указов на должность.

XVI. Доходы между настоятелем и его помощниками должны делиться поровну.

XVII. В приходах многолюдных и богатых жалованье должно быть меньше противу приходов малолюдных, бедных и заражённых расколом; — чем беднее приход, тем жалованья от казны должно быть больше, чтобы таким образом, по возможности, уравнивать приходы по их доходности.

XVIII. Плата за требоисправления обязательные: крещение, исповедь, причащение, брак, елеосвящение и погребение, а равно и за молебствия по случаю общественных бедствий: голода, эпидемии и т. под. должна быть воспрещена.

XIX. Сбор по приходу натурою: зерном, крупой, мукой и т.п. должен быть воспрещён безусловно. Рождественская и крещенская ходьба с крестом по приходу должна прекратиться, что при исполнении предыдущих пунктов исполнится само собою.

XX. Аренда мельниц, земли, отдача денег под залоги и т. под. барышничество должны быть воспрещены.

XXI. Земледелие может быть допущено только в самых малых размерах, — 3–5 десятин.

XXII. Епископ есть пастырь, священник — его помощник, приход — паства. Помощник епископа, как и сам епископ, должен быть независим от паствы. Епископ, насколько возможно, должен чаще бывать в учебных заведениях и в приходах, и, как возможно ближе, быть знакомым и с учениками, и с

приходами. Священнические места должны даваться по соображению нужд приходов и качеств кандидатов на места. Лицо, раз найденное соответствующим нуждам прихода, перемещается из одного прихода в другой быть не должно, ни по воле того же епископа и ни по желанию прихожан. Добровольная мена приходами, по обоюдному согласию, должна быть по возможности прекращена. Просить же перемещения на места свободные духовенство должно иметь право только в крайних случаях.

XXIII. Священник, — пастырь и руководитель духовной жизни прихожан, — обеспеченный материально, независимый от прихожан и имеющий, поэтому, возможность говорить правду, не боясь мщений, как наставник учебного заведения, независимый от учеников, должен всю жизнь свою, все силы свои и способности всецело посвятить приходу: кроме поучений в храме во время богослужения, он обязан вести беседы, по праздничным дням, и в после-обеденное время, — или в том же храме, или школе и, по очереди, по всем деревням его прихода, если они есть у него. Должен делать краткие поучения восприемникам при крещении, при браке, погребении и проч. Он должен быть непременно и законоучителем приходских школ.

XXIV. По указанию священника должны вести чтения народу и псаломщики. Они же должны быть и учителями простого церковного пения в школах. Им же можно поручить и первоначальное обучение чтению и письму.

XXV. Цензура проповедей должна быть уничтожена.

XXVI. Поучения народу должны быть изустные, живым и удобопонятным языком и о религиозно-нравственных пред-

метах самых близких к жизни. Священник и псаломщики должны поставить себя, насколько возможно, ближе к народу.

XXVII. Каждая церковь должна выписывать несколько периодических, духовных и исторических, журналов. При каждой церкви должна быть библиотека из книг по Св. Писанию, религиозно-нравственного содержания, по гигиене, сельскому хозяйству и истории России. Где позволяют местные условия, должны быть устроены читальни. Книги должны быть даваемы для чтения, на дом, на время и продаваемы по своей цене, а беднейшим даримы. Должен быть устроен склад хороших, но дешёвых икон.

XXVIII. Священник, псаломщик, церковный староста и два лица от прихожан должны составлять хозяйственный комитет. Чрез своих уполномоченных прихожане должны иметь полные сведения о состоянии церковного хозяйства. На комитете должна лежать забота о благолепии храма и поддержке церковных домов. В случае несогласия между собою членов, епископ даёт окончательное решение. Покупка свеч, ладану, бланков и т. под. должна производиться церковным старостой, по указанию настоятеля, без соглашений с членами комитета; расходы же свыше 50 рублей — кроме свеч — должны производиться по соглашению членов. Церковная сумма и свечи поверяются комитетом ежемесячно.

XXIX. Церковные старосты не должны служить более трёх лет ни в каком случае.

XXX. Рассылка епархиальным начальством по церквам бланков, книг, брошюр и т. под., без согласия на то настоятелей церквей, должна быть прекращена.

XXXI. Священники, селений 10–15-ти, должны собираться, раза три—четыре в год, для обсуждения о возвышении умственного, нравственного и материального состояния духовенства и о развитии умственного, нравственного и материального состояния прихожан. Постановления свои должны вносить в журналы.

XXXII. Раз в год должен быть собираем съезд и епархиальный. Предметы обсуждений епархиальных съездов должны быть те же самые, что и окружных; но здесь рассуждения должны вестись под руководством епископа. Здесь же должны быть прочитаны полные отчёты о состоянии приходоу, духовенства и деятельности окружных съездоу. Замечательные места отчётоу должны быть печатаемы в Епархиальных Ведомостях для сведения и руководства всего духовенства. Второстепенными же предметами, как то: рассматриванием смет, определением и увольнением лиц, служащих при училищах и т. под., епископы обременяемы быть не должны. Занятия епископа на съездах духовенства должны касаться исключительно прямой обязанности епископа — религиозно-нравственного состояния духовенства и паствы.

XXXIII. Должности благочинных должны быть упразднены.

XXXIV. Графа в формулярах духовных лиц для отметок в поведении должна быть уничтожена.

XXXV. Должно иметься лицо, священник, с правами мирового судьи, — один судья на уезд, — для разбора дел, до духовенства касающихся.

XXXVI. Члены консистории должны избираться духовенством на три года и утверждаться Св. Синодом. Судопроизвод-

ство должно быть устроено по образцу окружных судов. Консistorия должна быть не более, как и всякое присутственное место, и на духовенство не должна иметь никакого влияния, а потому и штрафы её должны быть прекращены.

XXXVII. Епископ должен быть освобождён от чтения и утверждения каких бы то ни было журналов, определений консистории и т. под. дел. Утверждению его должны подлежать только дела, касающиеся веры и нравственности паствы, и запрещения и удаления от должности лиц духовного звания, чтоб тем дать ему возможность заняться его существенными обязанностями.

XXXVIII. По всем делам, не касающимся веры и нравственности народа, гражданские ведомства должны сноситься с консисториями. При большей самостоятельности духовенства, мировых судей и консисторий, дела упростились бы и уменьшилась бы самая переписка, и сам епископ не был бы заваливаем всяким бумажным хламом.

XXXIX. Лица духовного звания, неодобрительного поведения, должны быть удаляемы от должностей. Посылка священников в пономари должна быть прекращена, и, наконец,

XL. Должности домашних архиерейских секретарей должны быть закрыты.

Сельский Священник,

протоиерей и благочинный в одной из приволжских губерний, близ большого губернского города.